ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ,

философский и общественно экономический журнал.

Год издания второй.

ВЫХОДИТ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:

А. Деборина, В. Невского,

Д. Рязанова, А. Тимирязева и др.

книгами не менее 12 листов.

НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМЕЮТСЯ:

№ 3, № 5—6 (ограничено),

№ 7—8, № 9—10 и № 11—12.

АДРЕС: — Воздвиженка, Крестовоздвиженский переулок, д. № 9, кв. № 13.

Телефон № 2-34-53.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

МАТЕРИАЛИСТ

Вышла и поступила в продажу книга

ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ

ПРИНЦИПЫ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

перевод *Я. Виткинд*

с приложением статьи

А. М. Деборина — „ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ".

В ближайшие дни выйдет книга

А. М. ДЕБОРИН

Людвиг Фейербах.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 2—3

ФЕВРАЛЬ—МАРТ. 1923.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
МАТЕРИАЛИСТ.

Вышла и поступила в продажу книга

А. М. ДЕБОРИНА.

ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ

ЛИЧНОСТЬ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Предисловие.

I. Фейербах, как человек и мыслитель.
II. Критика идеализма.
III. Основные принципы философии Фейербаха.
IV. Критика религии и обоснование атеизма:
1) Метод исследования.
2) Натуралистические религии.
V. Духовные религии и критика христианства.
VI. Проблема бессмертия.
VII. Этические и общественные взгляды Фейербаха.
VIII. Заключение.

С ПРИЛОЖЕНИЕМ

двух портретов, гравюра на дереве

ИВ. ПАВЛОВА.

Цена 1 р. зол. по кот. ком.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:
А. Деборина, В. Невского, Д. Рязанова, А. Тимирязева и др.

№ 2—3

ФЕВРАЛЬ—МАРТ 1923

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ“
МОСКВА

Главлит № 8447. Тираж 9.000 экз.

„Мосполиграф" 20-я типография—„Красный Пролетарий", Пименовская ул., д. 1/16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Д. Рязанов.—Вступительные замечания к статьям Маркса и Энгельса 5

Фр. Энгельс.—Похороны Карла Маркса 10
„ —Маркс и „Новая Рейнская Газета" 21
К. Маркс и Фр. Энгельс.—Процесс „Новой Рейнской газеты" 29
К. Маркс.—Подвиги Гогенцоллернов 45
Фр. Энгельс.—О критике политической экономии Карла Маркса 48
К. Маркс.—Письмо Кугельману о Лассале 58

Ф. Мерин.—Маркс и младогегельянцы 63
И. Разумовский.—Понятие права у Маркса и Энгельса 68

А. Тимирязев.—Теория „квант" и современная физика 98
М. Планк.—Возникновение и постепенное развитие теории „квант" 121
Вл. Невский.—Современное естествознание и материализм Маркса и Энгельса . . . 133

В. Ванаян.—Г. В. Плеханов: 1. От народничества к марксизму 153

И. Степанов.—Смерть страха смерти, как итог моей полемики с тов. Покровским . . 192
М. Н. Покровский.—История религии на холостом ходу 202

В. Мотылев.—К вопросу об общественно-необходимом рабочем времени 212

Трибуна.

Материалист.—Трусливый оппортунизм будущего профессора 218

Сообщения и заметки.

Н. Карев.—На путях изучения марксистской философии 223
З. Цобель.—Об Институте К. Маркса и Фр. Энгельса 226

Библиография.

Е. Грановский.—К постановке проблемы распределения у Маркса 232
В. Р.—К. Маркс—мыслитель, человек, революционер—Сборник статей 241
В. Р.—К. Маркс—Сборник статей 241
Б. Щ.—А. Ю. Финн-Енотаевский—Карл Маркс и новейший социализм 242
Сп. Кривцов.—К библиографии Маркса 243

Периодическая печать о юбилее Маркса 247
В. В—Б. Горев.—Первый русский марксист—Г. В. Плеханов 250
В. В-ин.—О первом, втором, третьем, четвертом и пятом Съездах Партии 251
Ширвин.—Сарабьянов—Исторический материализм 253
И. Лапшол.—В. Засулич—Жан-Жак Руссо 255
Н. Попов.—Проф. Рожицын—Первобытный коммунизм 257
Б. Горев.—Изложение учения Сэн-Симона 259
Ц. Фридлянд.—А. Дживелегов—Революционная армия и ее вожди 260
Теодорчик.—С. Т. Конобеевский—Строение веществ 263

Вступительные замечания к статьям Маркса и Энгельса.

Как я уже писал в ответе слушателям Института красной профессуры, редакция нашего журнала решила публиковать, еще до выхода соответствующих томов собрания сочинений Маркса и Энгельса, их наиболее ценные статьи, заметки и письма, рассеянные в разных журналах и газетах. Таким путем можно будет предоставить в распоряжение наших молодых марксистов много новых фактов из биографии Маркса и Энгельса, а также материалов для оценки их научной и публицистической деятельности.

Три статьи Энгельса, напечатанные в „Социал-Демократе“ сейчас же после смерти Маркса, носят чисто информационный характер, но представляют очень большой интерес, как исторический документ.

У могилы Маркса собралось всего несколько десятков человек. Поражает отсутствие английских рабочих. Старые товарищи Маркса по Генеральному Совету к этому времени или умерли, или окончательно ушли в лагерь буржуазии. Группа Гайндмана только в сентябре 1883 г. осмелилась переменить свое название и из просто демократической федерации превратиться в социал-демократическую. Английская наука представлена была Рэем Ланкастером, знаменитым зоологом, после директором естественно-исторического отделения Британского музея. Присутствовал еще известный химик Шорлеммер, натурализовавшийся в Англии немец.

За то среди немногочисленных приветствий обращают на себя внимание приветствия русских студентов и студенток (из Питера, Москвы и Одессы).

В статьях Энгельса нужно отметить еще следующие пункты: речь его на могиле Маркса, подробности о ходе болезни Маркса, письмо, в котором Энгельс, в связи с заявлением Моста, формулирует взгляд марксизма на государство и политическую организацию рабочего класса, а также письмо, в котором Энгельс в первый раз бичует итальянского экономиста Лориа, чтобы через 11 лет вернуться к этому вопросу в предисловии к третьему тому „Капитала“.

Статья Энгельса о Марксе, как редакторе „Новой Рейнской газеты", дает не только новые подробности о Марксе, но и проливает свет на ту тактику, которой оба друга держались во время революции 1848 – 1849 г.г. Для Мерингa она послужила руководящей нитью при изложении соответствующего периода в биографии Маркса. Мы не можем здесь подвергать критическому разбору показания Энгельса и ограничиваемся пока указанием, что, как и другие статьи 80-х годов, в которых Энгельс излагает события 40-х годов, она написана была с поучительной целью и намеренно, а иногда и в силу естественной забывчивости, оставляет без рассмотрения и упоминания ряд очень важных фактов.

Лучше всего это доказывает впервые опубликовываемый мною процесс „Новой Рейнской Газеты", оставшийся совершенно неизвестным Мерингу, который слишком доверчиво отнесся к рассказу Энгельса и просмотрел таким образом напечатанный в „Новой Рейнской Газете" отчет об этом процессе.

В своем введении к брошюре „Карл Маркс перед судом присяжных в Кельне" Энгельс упоминает об этом процессе, но хотя он вместе с Марксом был одним из обвиняемых, он совершенно забыл, чем был вызван этот процесс. У него выходит—и это ввело в заблуждение Мерингa,— что оба процесса вызваны были одним и тем же поводом. 20-го ноября было опубликовано воззвание, призывавшее не платить податей. Оно было подписано Марксом, Шаппером и Шнейдером. На другой день они были вызваны к следственному судье. В результате два процесса: один против „Новой Рейнской Газеты", другой против комитета Рейнских демократов.

В действительности же первый процесс не имеет ничего общего со вторым, хотя они следовали непосредственно один за другим. Первый возбужден был против „Новой Рейнской Газеты" за статью, напечатанную еще в № 35 от 5 июля 1848 г. Она была направлена против обер-прокурора Цвейффеля, предписавшего арест Готшалька и Аннеке, и против жандармов, выполнивших этот приказ с необыкновенной грубостью. Марксу и Энгельсу предъявлено было обвинение в оскорблении обер-прокурора и жандармов. Это обстоятельство определяет главный характер речей Маркса и Энгельса. Но оно же указывает и на одну особенность „Новой Рейнской Газеты", которая заслужила ей ненависть всех представителей старого режима и которая так великолепно формулирована в заключении речи Маркса.

„В чем причина крушения мартовской революции? Она преобразовала только политическую верхушку, оставив нетронутыми основы ее: старую бюрократию, старую армию, старую прокуратуру, старых, родившихся, выросших и поседевших на службе абсолютизма судей".

Мы видим, как уже опыт революции 1848—1849 г.г. приводил Маркса к мысли, что основной задачей пролетариата после овладения политической властью является разрушение старой бюрократически-полицейской машины, всего административного аппарата старого режима.

Мы не можем подробно останавливаться на тех арестах в Кельне, которые подали повод к статьям в „Новой Рейнской Газеты". Имена Готшалька и Аннеке, в особенности первого, связаны с историей Кельна и в особенности с историей Кельнского Рабочего Союза, без которого нельзя понять ни деятельность Маркса и Энгельса в Кельне, ни историю „Новой Рейнской Газеты". Оставив без критической проверки показания Энгельса, Мерингa лишил себя возможности осветить один из наиболее интересных эпизодов германской революции вообще, и в развитии Маркса в частности. Достаточно заглянуть в вышедшую недавно докторскую диссертацию Ганса Штейна, посвященную истории Кельнского Рабочего Союза, чтобы увидеть, какая огромная масса материалов для истории рейнского социализма еще ждет внимательных и добросовестных исследователей, как слабо использована Мерингом даже „Новая Рейнская Газета" [1]).

Чтобы дать представление о том, как Маркс выполнял то, что он в своей речи называет первой обязанностью печати—подкопаться под все основы существующего строя,—мы перепечатываем впервые его статью „Подвиги Гогенцоллернов". Мерингу не имел возможности цитировать ее даже в своей последней биографии Маркса, которая вышла еще в то время, когда в Германии продолжал восседать на троне один из наиболее гнусных представителей дома Гогенцоллернов. Это была одна из тех статей, которые вызывали тогда негодование всей благомыслящей печати. „Крестовая Газета", орган прусского юнкерства, писала, что дерзость „Новой Рейнской газеты" превосходит по своим размерам Чимборасо и затмевает по своему тону филиппики газет великой французской революции против Капетов.

Статья Энгельса о книге Маркса „К критике политической экономии", оставшаяся, к сожалению, неоконченной, была напечатана в газете „Das Volk", выходившей в Лондоне (№№ 14 и 16, август 1859 г.). В ней мы встречаем впервые термин „материалистическое понимание истории" и она же впервые указывает на связь марксова метода с гегелевским методом, при чем последний противопоставляется рационалистически-метафизическому. „Маркс был и остается единствен-

[1]) В Институте Маркса и Энгельса имеется отдельное издание обоих процессов, оставшееся неизвестным всем биографам Маркса и Энгельса „Zwei politische Prozesse, verhandelt vor den Februar Assisen in Köln. Verlag der Expedition der Neuen Rheinischen Zeitung, Köln 1849. В „Новой Рейнской Газете" отчет об этом процессе помещен в № 221 (14 февраля 1849 г.).

ным, который мог взять на себя задачу выделить из гегелевской логики то ядро, которое содержит в себе действительные открытия Гегеля в этой области и выработать диалектический метод, освобожденный от его идеалистической оболочки, в той его простой форме, в которой он только и является правильной формой развития мысли". Уже в этой статье Энгельс подчеркивает отличие диалектического материализма от вульгарного, естественно-исторического материализма не только Фогта и Бюхнера, но и Молешотта, сочинения которых начали пользоваться особенной популярностью именно со второй половины 50-ых годов.

Письма Маркса к Кугельману, которое мы печатаем впервые с фотографии оригинала, имеющейся в Институте Маркса и Энгельса, было уже опубликовано Каутским в 1918 г. в очень мало распространенной корреспонденции („Socialistische Auslandspolitik"), издававшейся для немецких газет [1]).

Как известно, при жизни Лассаля, Маркс, несмотря на все разногласия с своим старым учеником, несмотря на все настояния товарищей и друзей в Германии, строго сохранял „нейтралитет". Только в примечании к первому тому „Капитала" он впервые указал на эти разногласия. Письмо по поводу Готской программы, в которой он подвергает резкой критике специфические черты лассальянства, было опубликовано только в 1891 г. Но еще в 1902 г. и Меринг, издавший письма Лассаля к Марксу, и Каутский, издавший письма Маркса к Кугельману, не считали возможным напечатать всю правду об отношениях между Лассалем и Марксом.

Но все эти соображения потеряли свою силу после опубликования переписки между Марксом и Энгельсом. Хотя издатели ослабили, где только могли, резкость выражений по адресу Лассаля, они не могли скрыть, что между Марксом и Энгельсом, с одной стороны, и Лассалем с другой, существовало глубокое расхождение почти по всем вопросам внутренней политики и тактики рабочего движения. Печатаемое нами теперь письмо Маркса по резкости своих отзывов уступает его письмам к Энгельсу, но оно представляет огромный интерес именно потому, что оно суммирует рассыпанные в переписке замечания в одну общую характеристику политической деятельности Лассаля.

Она звучит очень резко, но, несмотря на некоторые преувеличения в частностях, объясняющиеся недостаточной информацией, она отчетливо выясняет коренную разницу между тактикой Маркса и Лассаля. Классовая организация пролетариата, непримиримая борьба с классовым государством, использование всякой вырванной у господ-

[1]) Уже во время набора этой книжки получился марксовский номер „Kampf'a". Оказывается, что Каутский в статье „Маркс и Лассаль" вновь опубликовал это письмо.

ствующих классов уступки в интересах социальной революции, с одной стороны, и превращение партии рабочего класса в одну из партий буржуазного общества, борющихся за увеличение доли своего влияния в государстве, идеализация этого государства и заигрывание с ним в интересах „реальной политики"—с другой. Критический пересмотр истории немецкой социал-демократии с 1863 г. покажет, что ревизионизм, оппортунизм, социал-патриотизм являлись только превращенными формами „испытанной" тактики Лассаля и Швейцера, которые, в отличие от „заграничников" и „доктриверов", всегда умели якобы лучше разобраться в „конкретных", „реальных" условиях данного момента в истории Пруссии и Германии.

Д. Рязанов.

Похороны Карла Маркса.

В субботу, 17 марта, Маркс был похоронен на Гайгетском кладбище, в той же могиле, в которую пятнадцать месяцев до того была положена его жена.

На могиле Г. Лемке возложил от имени редакции и экспедиции „Социал-Демократа" и лондонского Коммунистического Просветительного рабочего союза два венка с красными лентами на гроб.

Затем Ф. Энгельс произнес на английском языке речь, приблизительно следующего содержания:

„14 марта, без четверти три после полудня, величайший из живущих мыслителей перестал мыслить. Мы оставили его одного только на две минуты; когда же мы вернулись, мы застали его в кресле спокойно спящим—спящим вечным сном.

„Нет возможности определить размеры того, что потерял, со смертью этого человека, борющийся европейский и американский пролетариат, что потеряла историческая наука. Но вскоре даст себя знать та зияющая пустота, которую оставила после себя смерть этого титана.

„Подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органической природы, так Маркс открыл закон развития человеческой истории—тот простой, но заслоненный до сих пор идеологическими наслоениями, факт, что люди должны есть, пить, иметь жилища, одеваться, прежде чем заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д., и что, следовательно, производство непосредственных, материальных средств существования и, соответственно, степень экономического развития народа или эпохи образуют ту основу, из которой должны быть выведены, а, значит, и объяснены (а не, как это делалось до сих пор, наоборот) государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления людей.

„Но это не все. Маркс открыл также специальный закон развития теперешнего капиталистического способа производства и порождаемого им буржуазного общества. Открытие прибавочной стоимости внесло в эти вопросы сразу яркий свет, тогда как все прежние исследователи

одинаково — и буржуазные экономисты, и критики социалисты—блуждали в потемках.

„Двух подобных открытий должно было бы хватить на одну жизнь. Счастлив уже тот, кому суждено сделать одно такое открытие. Но в любой области, в которой работал Маркс – а их было очень много, и ни одной из них он не коснулся только мимоходом,—в любой области, даже в математике, он сделал самостоятельное открытие.

„Таков он был, как человек науки. Но научная деятельность не составляла даже и половины его существа. Наука была для Маркса исторически движущей, революционной силой. Ему доставляло чистейшую радость всякое новое открытие в какой нибудь теоретической области, практического приложения, которого, может быть, даже нельзя было еще усмотреть. Но совсем другого рода радость он испытывал, когда дело шло об открытии, революционизировавшем промышленность и вообще историческое развитие. Так, он внимательно следил за развитием открытий в области электричества, в последнее время еще за работами Марселя Депре.

„Ибо Маркс был прежде всего революционером. Содействовать, тем или иным способом, падению капиталистического общества и созданных им государственных учреждений, содействовать делу освобождения современного пролетариата, которому он впервые вдохнул сознание своего положения и своих потребностей, сознание условий своего освобождения,—таково было его действительное жизненное призвание. Борьба была его стихией. И он боролся со страстью, с упорством, с успехом, как немногие. Первая „Рейнская газета" 1842 г., парижский „Форвертс" („Вперед") 1844 г., Брюссельская „Немецкая газета" 1847 г., „Новая рейнская газета" 1848—49 г.г., „Нью-Иоркская трибуна" 1852—61 г.г. и, помимо этого, масса боевых брошюр, работа в парижских, брюссельских и лондонских организациях, пока, наконец, великое Международное Товарищество Рабочих не увенчало всего—это было таким итогом, который мог преисполнить гордостью сердце его автора, если бы даже он не сделал ничего другого.

„Но именно поэтому Маркс был самым ненавидимым и самым оклеветанным человеком своего времени. Его высылали одинаково и абсолютные правительства, и республиканские, его взапуски старались опозорить все буржуазные партии, консервативные и крайне-демократические. Он сметал это, точно паутину, со своего пути, не обращал на это внимания, отвечал на это лишь в случае крайней необходимости. И он умер, почитаемый, любимый, оплакиваемый миллионами революционных рабочих, рассеянных по всему свету, от Сибирских рудников через всю Европу и Америку до Калифорнии. И я могу смело сказать: он мог иметь еще не одного противника, но вряд ли хотя бы одного личного врага.

„Его имя и его творения—будут жить века!"

Затем Лонге, зять Маркса, прочел следующие, полученные на французском языке, адреса:

1) Возложено на могилу Маркса от русских социалистов:

„От имени всех русских социалистов я шлю последний прощальный привет наиболее выдающемуся среди всех социалистов нашего времени учителю. Опочил один из величайших умов, умер один из энергичнейших борцов против эксплоататоров пролетариата.

„Русские социалисты склоняются перед могилой того, кто сочувствовал их стремлениям во время всех превратностей их страшной борьбы, борьбы, которую они будут продолжать, пока окончательно не восторжествуют принципы социальной революции. На русском языке появился первый перевод „Капитала", этого евангелия современного социализма. Студентам русских университетов выпало первым на долю услышать сочувственное изложение теорий могучего мыслителя, которого мы теперь потеряли. Даже те, кто расходились с основателем „Международного Товарищества Рабочих" в практических, организационных вопросах, должны были всегда преклоняться перед всеобъемлющими знаниями, перед мощной силой мысли, сумевшей вскрыть сущность современного капитала, развитие экономических общественных форм и зависимость всей человеческой истории от этих форм развития. И даже самые яростные противники его, из рядов революционных социалистов, не могли не внять кличу, брошенному им 35 лет, вместе с другом всей его жизни:

„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

„Смерть Карла Маркса оплакивается всеми, умевшими понять его мысли и оценить его влияние на наше время.

„И я позволю себе еще прибавить, что она еще больше оплакивается теми, кто знали Маркса в интимной жизни, особенно теми, кто любили его, как друга.

Париж, 15 марта 1883 г.

П. Лавров".

2) Телеграмма:

„Парижская секция французской рабочей партии выражает свое горе по поводу потери мыслителя, материалистическое понимание истории которого и анализ капиталистического производства создали научный социализм и современное революционное коммунистическое движение. Она выражает далее свое уважение к Марксу, как к человеку, и свое полное согласие с его учением.

Париж, 16 марта 1883 г.

Секретарь *Лепин*".

3) Телеграмма:

„От себя лично и как делегат испанской рабочей партии (мадридская секция) я присоединяюсь к беспросветной скорби друзей и дочерей Маркса при столь жестокой потере великого социалиста, нашего общего учителя.

Париж, 16 марта 1883 г.

Хозе Меза и Леомпарт".

Вслед за тем Либкнехт произнес следующую речь на немецком языке:

„Я прибыл из Центральной Германии, чтобы выразить свою любовь и благодарность незабвенному учителю и верному другу. Верному другу! Его старейший друг и соратник назвал только что Карла Маркса самым ненавидимым человеком своего века. Это так. Он был самым ненавидимым, но он был также и самым любимым человеком. Самым ненавидимым он был угнетателями и эксплоататорами народа, самым любимым—угнетенными и эксплоатируемыми, поскольку они сознали свое положение. Народ угнетенных и эксплоатируемых любит его, ибо он любил народ. Покойник, чью потерю мы оплакиваем, был так же велик в своей любви, как и в ненависти. Его ненависть вышла из любви. Он имел не только великий ум, но и великое сердце. Это известно всем, знавшим его.

„Но я являюсь здесь не только учеником и другом; я являюсь здесь также представителем германской социал-демократии, поручившей мне выразить чувства, испытываемые ею к ее учителю, к тому человеку, который создал нашу партию, поскольку можно в этом отношении говорить о создании.

„Было бы неуместно, если бы я стал здесь витийствовать. Ведь не было более страстного ненавистника фразы, чем Карл Маркс. Его бессмертная заслуга заключается именно в том, что он освободил от фразы пролетариат, партию трудящегося народа, и дал ей несокрушимую основу науки. Революционер науки, революционер благодаря науке, он поднялся на высочайшие вершины науки, чтобы спуститься оттуда к народу и сделать науку общим достоянием народа.

„Наука есть освобождение человечества.

„Естествознание освобождает нас от бога. Но бог на небе продолжает жить даже после того, как его убила наука.

„Обществознание, которое Маркс сделал доступным народу, убивает капитализм, а вместе с ним также тех идолов и господ земли, которые, пока они живы, не дают умереть богу.

„Наука—не немецкая по своему существу, она не знает ни-

каких границ, а в особенности границ национальности. И поэтому-то творец „Капитала“ должен был естественно стать творцом Международного Товарищества Рабочих.

„Научный фундамент, которым мы обязаны Марксу, дает нам возможность не бояться никаких нападений врага и продолжать со все растущими силами начатую нами борьбу.

„Маркс превратил социал-демократию из секты, из школы в партию, в партию, которая, непобедимая уже теперь, борется и завоюет победу.

„И это относится не только к нам, немцам. Маркс принадлежит пролетариату. Вся его жизнь была посвящена пролетариям всех стран. Способные мыслить, мыслящие пролетарии всех стран относятся к нему с благодарной почтительностью.

„Нас постиг тяжелый удар. Но мы не скорбим. Умерший не мертв. Он живет в сердце, он живет в голове пролетариата. Его память не изгладится, его учение будет все дальше и дальше распространяться.

„Вместо того, чтобы скорбеть, мы будем поступать в духе великого покойника. Мы будем из всех сил стремиться осуществить, по возможности скорей осуществить то, чему он учил и к чему он стремился. Так мы лучше всего почтим его память.

„Умерший, живой друг! Мы будем итти указанным тобою путем к конечной цели. В этом мы клянемся на твоей могиле!“

На могиле, кроме вышеназванных, были, между прочими, другой зять Маркса—Поль Лафарг, Фридрих Лесснер, осужденный в 1852 г. в Кельнском процессе коммунистов к пяти годам заключения в крепости, Г. Лохнер, тоже старый член союза коммунистов. Естествознание было представлено двумя первоклассными знаменитостями зоологом—профессором Рэем Ланкастером и химиком—профессором Шорлеммером, членами Лондонской Академии Наук (Royal Society).

Фр. Энгельс.

I.

По поводу смерти Карла Маркса.

Впоследствии мною были получены еще некоторые заявления, касающиеся смерти Маркса, которые доказывают, как всеобще было участие, и относительно которых я должен представить отчет.

20-го марта Элеонора Маркс получила от редакции „Daily News“ следующую телеграмму, посланную на французском языке:

„Москва, 18 марта. Редакция „Daily News“, Лондон. Просим

оказать любезность передать господину Энгельсу, автору „Трудящихся классов в Англии“, интимному другу умершего Карла Маркса, нашу просьбу возложить на гроб незабвенного автора „Капитала“ венок с следующей надписью: „Защитнику прав рабочих в теории и в осуществлении их в жизни“ студенты Петровской Сельско-Хозяйственной Академии в Москве“.

„Господина Энгельса просят сообщить свой адрес и стоимость венка; расходы будут ему немедленно возвращены.

„Студенты Петровской Академии в Москве“.

Телеграмма запоздала, так как похороны происходили 17 марта.

Далее друг П. Лавров прислал мне 31-го марта из Парижа чек на 124.50 фр. =4—18—9 ф. стерл., присланных студентами Петербургского Технологического института и русскими учащимися женщинами тоже для венка на могилу.

В-третьих, „Социал-Демократ“ сообщил на прошлой неделе, что одесские студенты тоже желают возложить от своего имени венок на могилу Маркса.

Так как полученных из Петербурга денег с избытком хватило на все три венка, то я позволил себе купить на них венки от Москвы и Одессы.

Ввиду того, что изготовление надписей, являющееся здесь необычным делом, вызвало некоторую оттяжку, то возложение венков произойдет лишь в начале будущей недели; тогда же я дам в „Социал-Демократе“ отчет об израсходовании полученных денег.

Из Золингена получился через посредство Коммунистического Просветительного Рабочего Союза большой, красивый венок: „На могилу Карла Маркса от рабочих индустрии ножниц, ножей и шпаг в Золингене“. Когда 24 марта мы его возлагали, мы увидели, что какая-то святотатственная рука отрезала и похитила длинные концы красных шелковых лент от венков „Социал-Демократа“ и Коммунистического Просветительного Рабочего Союза. Поданная Совету Управления жалоба нисколько не помогла делу, но, вероятно, обеспечит охрану на будущее время.

Один славянский кружок в Швейцарии „надеется, что памяти Карла Маркса будет воздвигнут особый памятник, путем основания носящего его имя международного фонда для помощи жертвам великой освободительной борьбы и для содействия этой борьбе“, и он посылает первый взнос, который я пока сохраняю у себя. Разумеется, судьба этого проекта зависит, главным образом, от того, встретит ли он сочувствие. Поэтому я опубликовываю его здесь.

Чтобы парализовать фактами помещенные в газетах ложные

слухи, я сообщу нижеследующие краткие данные о ходе болезни и смерти нашего великого теоретика и вождя.

Почти совершенно излечившись от застарелой болезни печени, благодаря троекратному лечению в Карлсбаде, Маркс страдал только от хронической болезни желудка и нервного переутомления, выразившегося в головных болях и особенно в упорной бессоннице. Оба эти явления более или менее исчезли, после летнего пребывания на морских купаниях, и снова обнаружились лишь после Нового года. Хроническая болезнь горла, кашель, тоже вызывавший бессонницу, и хронический бронхит докучали в общем меньше. Но именно от них ему суждено было погибнуть. За четыре или пять недель до смерти своей жены, он схватил вдруг жестокий плеврит, осложненный бронхитом и начинающимся воспалением легких. Болезнь была очень опасна, но протекала благоприятно. Затем его отправили сперва на остров Уайт (в начале 1882 г.), а потом в Алжир. Погода во время путешествия была холодная, и он приехал в Алжир с новым плевритом. При обычных обстоятельствах это еще было бы не очень скверно, но зима и весна были в Алжире холодными и дождливыми, как никогда. В апреле делали тщетные попытки протопить столовую. Таким образом, в итоге, вместо улучшения общего состояния, получилось ухудшение его.

Посланный из Алжира в Монте-Карло (Монако), Маркс приехал туда, вследствие холодного и дождливого переезда, с третьим, но более легким, плевритом. И здесь тоже упорно стояла скверная погода, которую он как будто нарочно привез с собой из Африки. Таким образом и здесь, вместо укрепления сил, получилась борьба с новой болезнью. В начале лета он поехал к своей дочери г-же Лонге в Аржантейль и воспользовался серными ваннами соседнего Энгиена, для лечения своего хронического бронхита. Несмотря на упорно дождливое лето, лечение, хотя и медленно, но подвигалось вперед, к удовлетворению врачей. Последние затем отправили его в Веве на Женевском озере, и здесь он настолько поправился, что ему разрешили зимнее пребывание, правда не в Лондоне, но все же на южном берегу Англии. Здесь он собирался, наконец, начать снова свои работы. Когда в сентябре он приехал в Лондон, он выглядел здоровым и часто взбирался со мною, ни на что не жалуясь, на гемпстедский холм (около 300 фут. выше, чем его жилище). Когда стали надвигаться ноябрьские туманы, его отправили в Венгнор, южную оконечность острова Уайта. Но и здесь погода была дождливая и туманная, а в результате этого—новая простуда, кашель и т. д., словом, ослабляющее заключение в комнате, вместо подкрепляющего движения на свежем воздухе. Тут умирает г-жа Лонге. На следующий день (12 января) Маркс приехал в Лондон и уже с настоящим бронхитом.

К этому вскоре присоединилось воспаление гортани, которое сделало для него почти невозможным глотание. Он, умевший сносить с стоическим равнодушием величайшие страдания, предпочитал выпивать литр молока (к которому всю свою жизнь питал отвращение), чем принимать соответствующую твердую пищу. В феврале обнаружился нарыв в легких. Лекарства перестали оказывать действие на этот организм, напичканный за последние 15 месяцев всякого рода медицинскими снадобьями. Они вызывали лишь ослабление аппетита и деятельности пищеварения. Он худел на глазах с каждым днем. Тем не менее, болезнь в целом протекала сравнительно благоприятно. Бронхит почти прошел, глотание стало легче. Врачи стали надеяться. И вот, когда я пришел—лучшее время, чтобы видеть его было между двумя и тремя—я нашел весь дом в слезах: он так слаб, он кончается. И, однако, утром, он с аппетитом выпил вино, молоко, поел суп. Старая, верная Ленхен Демут, воспитавшая всех его, детей с колыбели и сорок лет живущая в доме, идет в его комнату, но тотчас же возвращается: „зайдемте, он наполовину спит". Когда мы вошли, он спал совсем, но уже вечным сном. Нельзя пожелать себе более легкой смерти, чем ту, которую нашел Карл Маркс в своем кресле.

А теперь в заключение хорошая новость:

Рукопись 2-го тома „Капитала" целиком сохранилась. Я не могу еще судить, насколько она в данном виде пригодна к печати, в ней более 1000 страниц крупного формата. Но „Процесс обращения капитала и формы совокупного процесса" закончены в обработке, относящейся к 1867—1870 годам. Имеется начало позднейшей обработки и обильный материал в виде критических извлечений, особенно о русских земельных отношениях, откуда, может быть, кое-что удастся использовать.

Согласно устному распоряжению, он назначил свою младшую дочь Элеонору и меня своими литературными душеприказчиками.

Фридрих Энгельс.

Лондон, 28 апреля 1883 г.
„Социал-Демократ", № 21, 17 мая 1883 г.

II.

По поводу смерти Карла Маркса.

От эрфуртских социал-демократов получился в Аржантейль прекрасный венок с надписью на красных лентах; к счастью, нашлось случайно лицо, чтобы доставить его; когда его возложили на могилу, то оказалось, что красные шелковые ленты золингенского венка опять украдены.

В это время были изготовлены уже три венка от Москвы, Петербурга и Одессы. Чтобы воспрепятствовать дальнейшему похищению лент, мы вынуждены были сделать маленькие надрезы на краю их и сделать их таким образом непригодными для дальнейшего употребления. Венки были возложены вчера. Ливень испортил эрфуртскую ленту и благодаря этому ее не похитили.

Эти три венка стоили каждый по 1,18 ф. ст., т.-е. вместе 3,50 ф. стерл. Таким образом, из присланных мне 4, 18, 9 ф. ст. осталось 1, 13, 9 ф. ст., которые я переслал Лаврову, чтобы он распорядился ими по воле жертвователей.

Смерть великого человека является для маленьких людей отличным поводом сколотить себе политический, литературный и наличный капиталец. Здесь я приведу лишь несколько примеров, имеющих общественный интерес; о многих других, носящих частный характер, я не буду вовсе говорить.

Филипп Ван Паттен, секретарь Central Labor Union в Нью-Йорке, писал мне (2-го апреля т. г.) следующее:

„В связи с недавней демонстрацией в честь Карла Маркса, объединившей все фракции в выражении их уважения к почившему мыслителю, Иоганн Мост и его друзья заявили во всеуслышание, что он, Мост, был близок с Карлом Марксом, что он популяризировал в Германии его сочинение „Капитал“, и что Маркс одобрял пропагандистскую деятельность Моста. Мы очень высокого мнения о талантах и деятельности Маркса; но мы не можем поверить, чтобы он сочувствовал анархическим, дезорганизирующим теориям и работе Моста. Поэтому я просил бы Вас высказаться насчет отношений Маркса к вопросу: анархия и социал-демократия? Несвоевременная и нелепая болтовня Моста внесла уже слишком много сумятицы в умы и нам очень неприятно быть вынужденными слушать, что столь авторитетное лицо, как Маркс, одобрял подобную тактику“.

На это я ответил 18-го апреля нижеследующим, приводимым мною в немецком переводе, письмом:

„Мой ответ на Ваш запрос от 2-го апреля по поводу отношения Карла Маркса к анархистам вообще и Иоганну Мосту в частности будет краток и ясен:

„Маркс и я с 1845 года придерживались той точки зрения, что одним из заключительных результатов будущей пролетарской революции будет постепенное исчезновение политической организации, называемой государством. Главной задачей этой организации было всегда обеспечение, с помощью вооруженной силы, экономического угнетения трудящегося большинства имущим меньшинством. Вместе с исчезновением этого имущего меньшинства исчезает и необходимость в вооруженной силе угнетения, в государственной силе.

Но одновременно с этим мы всегда придерживались того взгляда, что рабочий класс, для достижения этой и других, гораздо более важных, целей будущей социальной революции, должен сначала захватить организованную политическую власть государства, сломить с ее помощью сопротивление класса капиталистов и наново организовать общество. Это можно прочесть уже в „Коммунистическом Манифесте“ от 1847 года (вторая глава, заключение).

„Анархисты ставят все на-голову. Согласно им, пролетарская революция, должна начать с того, чтобы уничтожить политическую организацию государства. Но единственная организация, которую пролетариат застает в готовом виде после своей победы—это и есть, именно, государство. Это государство может нуждаться в очень серьезных изменениях прежде, чем оно сумеет выполнять свои новые функции. Но бессмысленно разрушать в такой момент то орудие, с помощью которого победивший пролетариат может использовать завоеванную им только что власть, сокрушить своих капиталистических противников и произвести ту экономическую революцию общества, без которой вся победа должна была б закончиться новым поражением и массовой резней рабочих, подобно резне после Парижской Коммуны“.

„Необходимо ли мое категорическое заявление, что Маркс боролся с этим анархистским тупоумием с того самого дня, в которой оно было преподнесено в своем теперешнем виде Бакуниным! Вся внутренняя история Международного Товарищества Рабочих свидетельствует об этом. С 1867 года анархисты пытались, пользуясь самыми гнусными средствами, захватить руководство Интернационалом,—главным препятствием на их пути был Маркс. Пятилетняя борьба закончилась на Гаагском конгрессе в сентябре 1872 года исключением анархистов из Интернационала; больше всего способствовал этому исключению Маркс. Наш старый друг Ф. Зорге в Гобокене, бывший делегатом на конгрессе, сможет сообщить Вам, если вы того желаете, больше подробностей.

„А теперь перейду к Иоганну Мосту.

„Если кто-нибудь утверждает, что Мост с тех пор, как он стал анархистом, находился в каких-нибудь сношениях с Марксом или получал как-е-нибудь содействие со стороны Маркса, тот или обманут, или сам умышленный обманщик. После появления первого номера лондонской „Свободы“ Мост посетил Маркса или меня раз или два, не больше. Не были и мы у него. Мы даже случайно не встретили его нигде ни разу. Под конец мы даже перестали подписываться на его газету, потому что в ней решительно ничего не было. К его анархизму и его анархистской тактике мы относились с тем же презрением, что и к людям, у которых он научился этому.

„Когда Мост находился еще в Германии, он опубликовал „по-

пулярное“ извлечение из „Капитала“ Маркса. Готовя второе издание, он попросил Маркса просмотреть его. Эту работу я проделал совместно с Марксом. Мы нашли, что если не желать написать наново с начала до конца всю вещь, то остается лишь выбросить самые крупные ошибки Моста. Маркс позволил воспользоваться его поправками лишь под условием, что его имя никогда не будет связано даже с этим улучшенным изданием компиляции Иоганна Моста.

„Вы можете опубликовать это письмо, если вам угодно.

„От Америки перейдем теперь к Италии.

„Года два назад один молодой итальянец, господин Ахилл Лорио из Мантуи, прислал Марксу составленную им книгу о земельной ренте вместе с написанным по-немецки письмом, в котором называл себя его поклонником и учеником; некоторое время он еще переписывался с ним. Летом 1882 года он приехал в Лондон и дважды навестил меня. Во второе посещение я ему высказал серьезно свое мнение по поводу того, что в одной появившейся в это время брошюре он бросил Марксу упрек, будто тот умышленно неверно цитирует.

„Теперь этот человечек, заимствовавший свою мудрость у немецких катедер-социалистов, написал статью о Марксе в „Nuova Antologia“ и имел бесстыдство послать оттиск ее мне, „своему высокоуважаемому другу“ (!!). В чем заключалось его бесстыдство, объяснит нижеследующий перевод моего ответа ему (я написал ему на его родном языке, ибо его немецкий был еще хуже моего итальянского):

„Я получил вашу брошюру о Карле Марксе. Вы, конечно, вольны подвергнуть его учение вашей строжайшей критике и даже совсем не понять его. Вы вольны написать биографию Маркса, представляющую чистейшую фантазию. Но в чем вы не вольны, и чего я вам никогда не позволю, так это оклеветать характер моего покойного друга.

„Уже в одной предыдущей работе вы позволили себе обвинить Маркса, будто он умышленно неверно цитировал. Когда Маркс прочел это, он сравнил свои и ваши цитаты с оригиналами и сказал мне, что его цитаты верны и что, если кто здесь умышленно неверно цитирует, так это вы. И когда я вижу, как вы теперь цитируете Маркса, как у вас хватает бесстыдства заставлять говорить его о „прибыли“ там, где он говорит о „прибавочной стоимости“—где он к тому же неоднократно предупреждает против ошибочного мнения, будто это одно и то же (что, впрочем, господин Мур и я сказали устно вам уже здесь, в Лондоне), то я знаю, кому я должен верить и кто умышленно неверно цитирует.

„Но все это мелочь по сравнению с вашим „твердым и глубоким убеждением... что над всеми ими (учениями Маркса) царит сознательный софизм“; что Маркс „не удерживался от ложных

заключений, отлично зная, что они ложны“; что „он был часто софистом, стремившимся, за счет истины, к отрицанию существующего строя“ и что он, по выражению Ламартина, „играл ложью и истиной, как дети играют в бабки“.

„В Италии, являющейся страной античной цивилизации, все это, может быть, способно сойти за комплимент. И среди катедер-социалистов это, возможно, является большой похвалой, так как эти милые профессора не могут сочинить своих бесчисленные системы иначе, как за „счет истины“. Мы же, революционные коммунисты, смотрим на дело иначе. Мы считаем подобные утверждения бесчестящими, а так как мы знаем, что они солганы, то мы швыряем их обратно их автору, который бесчестит самого себя подобными выдумками.

„Мне кажется, вы обязаны были сообщить читателям, в чем собственно заключается этот знаменитый „сознательный софизм“, парящий над всеми учениями Маркса. Но я ищу этого напрасно. Nagott (энергичное ломбардское выражение для: ровно ничего).

„Какую нужно иметь ничтожную душонку, чтобы вообразить себе, будто такой человек, как Маркс, „постоянно угрожал своим противникам вторым томом“, написать который „ему и в голову не приходило“; что этот второй том просто „хитрая уловка Маркса, чтобы укрыться от научных аргументов“. Этот второй том у меня на руках и вскоре будет опубликован. Тогда, может быть, вы поймете, наконец, разницу между прибавочной стоимостью и прибылью.

„Немецкий перевод этого письма появится в ближайшем номере Цюрихского „Социал-Демократа“.

„Имею честь ответить вам всеми теми чувствами, каких вы заслуживаете“.

На этом сегодня довольно.

Фридрих Энгельс.

Лондон, 12 мая 1883 г.

Маркс и „Новая Рейнская Газета“ (1848—49).

Когда разразилась февральская революция, немецкая „Коммунистическая партия“, как мы ее называли, состояла из маленького кадра, именно из организованного в тайное пропагандистское общество „Союза Коммунистов“. Союз был тайным, ибо в то время в Германии не существовало права союзов и собраний. Союз Коммунистов, помимо рабочих кружков за границей, из которых он рекрутировался, имел в самой Германии около тридцати общин или секций, и, кроме того, насчитывал отдельных членов во многих местах. Но у этой незначительной рати был, в лице Маркса, первоклассный

вождь, которому все охотно подчинялись, и была еще, благодаря ему, принципиальная и тактическая программа, сохранившая все свое значение и до сих пор—Коммунистический Манифест.

Здесь для нас важнее всего, в первую очередь, тактическая часть программы. Она в общей части гласила следующее:

„Коммунисты не составляют какой-либо особой партии, противостоящей другим рабочим партиям.

„У них нет таких интересов, которые не совпадали бы с интересами всего пролетариата.

„Они не выставляют никаких особых принципов, сообразно которым они хотели бы формировать движение пролетариев.

„Коммунисты отличаются от других рабочих партий только тем, что, с одной стороны, в движении пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают общие, независимые от национальности, интересы всего пролетариата; с другой стороны—тем, что на различных стадиях развития, через которые проходит борьба пролетариев против буржуазии, они всегда защищают общие интересы движения в его целом.

„Таким образом коммунисты на практике представляют собой самую решительную, всегда толкающую вперед, часть рабочих партий всех стран, и в теоретическом отношении они имеют перед остальной массой пролетариата то преимущество, что понимают условия, ход и общие результаты рабочего движения".

А для немецкой партии в частности мы читаем следующее:

„В Германии Коммунистическая партия борется совместно с буржуазией,—как только она выступает революционно,—против абсолютной монархии, против феодального землевладения и мелкой буржуазии.

„Но ни на минуту не перестает она вырабатывать в умах рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата, чтобы немецкие рабочие могли сейчас же использовать общественные и политические условия, которые должно принести с собой господство буржуазии, как оружие против нее же самой, чтобы сейчас же после крушения реакционных классов в Германии, началась борьба против самой буржуазии.

„На Германию коммунисты обращают главное свое внимание, потому что она находится накануне буржуазной революции" и т. д.

Никогда тактическая программа не оправдалась в такой мере, как данная. Выставленная накануне революции, она выдержала испытание этой революции; если с тех пор какая-нибудь рабочая партия отступала в своей деятельности от нее, то за всякое отступление она платилась; и ныне, после почти сорока лет, она служит руководящей нитью для всех активных, самосознательных рабочих партий Европы, начиная с Мадрида и кончая Петербургом.

Февральские события в Париже форсировали предстоявшую немецкую революцию и видоизменили, благодаря этому, ее характер. Германская буржуазия победила не собственными силами, а тащась на буксире французской рабочей революции. Не успев еще окончательно справиться со своими старыми противниками, абсолютной монархией, феодальной земельной собственностью, бюрократией, трусливым мещанством, она должна была противопоставить фронт новому врагу, пролетариату. Но здесь обнаружились немедленно следствия сильно отсталых, по сравнению с Францией и Англией, экономических отношений и столь же отсталых, благодаря этому, классовых взаимоотношений в Германии.

Немецкая буржуазия, начавшая только что строить свою крупную промышленность, не имела ни силы, ни мужества, ни принудительной необходимости добиваться безусловного господства в государстве; пролетариат, столь же мало развитый, привыкший к полному духовному подчинению, неорганизованный и неспособный еще даже к самостоятельной организации, лишь смутно чувствовал глубокую противоположность своих интересов интересам буржуазии. Поэтому, будучи по существу угрожающим буржуазии противником, он, с другой стороны, оставался ее политическим придатком. Буржуазия, напуганная не тем, чем был немецкий пролетариат, а тем, чем он грозил стать и чем был уже французский пролетариат, видела свое спасение в каком угодно, даже жалчайшем, компромиссе с монархией и дворянством; пролетариат, не сознавая еще своей собственной исторической роли, должен был в своей подавляющей массе занять на первых порах место передового, крайне левого крыла буржуазии. Немецкие рабочие должны были раньше всего завоевать себе те права, которые были необходимы им для самостоятельной организации в классовую партию: свободу печати, союзов и собраний—права, которые должна была бы завоевать буржуазия в интересах собственного господства, но которые, из страха перед рабочими, она стала теперь оспаривать у них. Несколько сот разрозненных членов союза исчезли в огромной, приведенной внезапно в движение, массе. Таким образом немецкий пролетариат появился впервые на политической арене, как крайняя демократическая партия.

Этим предначертывалось для нас, когда мы основывали в Германии большую газету, определенное направление и давалось соответствующее знамя. Им могло быть только знамя демократии, но демократии, выдвигавшей повсюду, в конкретных случаях, свой специфически пролетарский характер, которого она не могла еще выставить раз-на-всегда на своем знамени. Если бы мы не пошли на это, если бы мы не захотели ухватиться за данный на-лицо, наиболее прогрессивный, фактически пролетарский конец движения, чтобы

толкать его вперед, то нам оставалось бы только проповедывать коммунизм в каком-нибудь захолустном листке и основать, вместо большой партии действия, маленькую секту. Но для роли проповедников в пустыне мы уже не годились: для этого мы слишком хорошо изучили утопистов. Не для этого мы составили свою программу.

Когда мы приехали в Кельн, мы застали там приготовления со стороны демократов, а отчасти и коммунистов, к изданию большой газеты. Ее хотели сделать узко-местной, кельнской, а нас удалить в Берлин. Но не прошло и 24-х часов, как мы, благодаря Марксу, победили: газета стала нашей, под условием включения в редакцию Генриха Бюргерса. Последний написал (в № 2) одну статью, и этим и ограничилась его литературная деятельность в газете.

Мы решили оставаться именно в Кельне, а не ехать в Берлин. Во-первых, Кельн был центром Рейнской провинции, которая проделала французскую революцию и в которой, благодаря Code Napoléon, сохранились современные юридические воззрения; в ней была наиболее развита крупная промышленность и вообще во всех отношениях она являлась тогда самой передовой частью Германии. Мы по собственному опыту слишком хорошо знали тогдашний Берлин с его едва зарождавшейся буржуазией, его злоязычным, но трусливым и раболепным, мещанством, его совершенно еще неразвитыми рабочими, его бесчисленными бюрократами, придворной и дворянской челядью, со всеми его специфическими особенностями „резиденции“. Но решающее значение имел тот факт, что в Берлине действовало жалкое прусское земское право и политические процессы разбирались профессиональными судьями; на Рейне же действовал Code Napoléon, не знающий никаких процессов печати, ибо он предполагает цензуру; совершивший политическое преступление—не проступок—имел там дело с судом присяжных; в Берлине после революции молодой Шлёффель за пустяки был осужден на год, на Рейне же у нас была безусловная свобода печати—и мы ее использовали до последней капли.

Мы приступили к делу издания газеты 1-го июня 1848 г. У нас был очень небольшой акционерный капитал, из которого была выплачена только небольшая часть; сами акционеры были более, чем ненадежны. После первого же номера половина из них покинула нас, а к концу месяца не остался ни один из них.

Конституция редакции сводилась к простой диктатуре Маркса. Для большой ежедневной газеты, которая должна выходить в определенный час и которая хочет проводить определенные взгляды, иная конституция и невозможна. Но здесь вдобавок диктатура Маркса была чем то само собой разумеющимся, бесспорным, и все охотно признавали ее. Благодаря, главным образом, его проницательности

и твердости его взглядов, газета стала самой замечательной немецкой газетой революционных годов.

Политическая программа „Новой Рейнской Газеты“ состояла из двух главных пунктов:

Единая, неделимая, демократическая немецкая республика и война с Россией, предполагавшая восстановление Польши.

Мелко-буржуазная демократия делилась тогда на две фракции: северо-германскую, желавшую демократического прусского императора, и южно-германскую—тогда почти совсем специфически баденскую—видевшую для Германии идеал в федеративной республике по образцу Швейцарии. Мы должны были бороться с обеими фракциями. Интересам пролетариата одинаково противоречило как опруссачение Германии, так и увековечение ее распадения на ряд мелких государств. Интересы пролетариата повелительно требовали объединения Германии в одну нацию и очищения таким образом от всякого исторического мусора той арены, на которой пролетариат и буржуазия должны были померяться силами. Но они не допускали прусского возглавления; прусское государство со всем своим устройством, своей традицией и своей династией было именно единственным серьезным внутренним противником революции в Германии, и революция должна была сокрушить его; кроме того, Пруссия могла объединить Германию, только разорвав ее, только исключив из нее немецкую Австрию. Поэтому разложение прусского государства, развал австрийского государства, действительное объединение Германии в виде республики—только такой могла быть наша ближайшая революционная программа. И осуществить ее следовало путем войны с Россией, и только таким путем! К этому пункту я еще вернусь.

Тон газеты не был вовсе торжественным, серьезным или восторженным. У нас были сплошь жалкие противники, и мы обращались со всеми ими, без исключения, самым презрительным образом. Конспирирующая монархия, камарилья, дворянство, „Крестовая Газета“, словом, вся „реакция“, вызывавшая такое нравственное негодование у филистера, служили для нас предметом насмешек и сарказмов Но не лучше относились мы и к новым, появившимся вместе с революцией, кумирам: мартовским министрам, франкфуртскому и берлинскому собраниям, при чем одинаково и к правому и левому крылу их. Первый номер газеты начинался как раз с статьи, издевавшейся над ничтожеством франкфуртского парламента, над бесцельностью его длиннейших речей, над никчемностью его трусливых резолюций. Она стоила нам половины наших акционеров. Франкфуртский парламент не был даже дискуссионным клубом; в нем почти не дискутировали, а произносили заранее заготовленные, академические рассуждения и принимали резолюции, которые должны были бы вооду-

шевить немецкого филистера, но которыми вообще никто не интересовался.

Берлинское Собрание имело больше значения; оно противостояло реальной силе, оно дебатировало и принимало решения не попусту, не из заоблачных высот, подобно франкфуртцам. Поэтому ему было посвящено в газете больше внимания. Но и к тамошним кумирам левой—Шульце-Деличу, Беренсу, Эльснеру, Штейну и т. д.—мы относились не менее резко, чем к франкфуртцам, мы беспощадно вскрывали их нерешительность, робость и мнимую расчетливость, показывая им, как со своими компромиссами они, шаг за шагом, изменяли революции. Это, разумеется, вызывало ужас в демократическом мещанине, сфабриковавшем себе на потребу этих кумиров. Но для нас этот ужас служил признаком того, что мы попали верно.

Точно так же выступали мы против распространявшейся мещанством иллюзии, будто революция завершена мартовскими днями и будто теперь остается только пожинать плоды ее. Для нас февраль и март могли иметь значение действительной революции только в том случае, если бы они были не завершением, а, наоборот, исходным пунктом долгого революционного движения, в котором—как во время великого французского переворота—народ, в ходе своей борьбы, будет развиваться дальше, партии будут все резче обособляться друг от друга, пока они не станут совпадать с крупными классами: буржуазией, мелкой буржуазией, пролетариатом,—и в которой отдельные позиции пролетариата будут мало-по-малу завоеваны в ряде битв. Поэтому мы выступали против демократической мелкой буржуазии повсюду, где она желала затушевать свою классовую противоположность пролетариату излюбленной фразой: ведь все мы хотим одного и того же, все различия—продукт просто недоразумений. Но чем меньше мы позволяли мелкой буржуазии лжетолковать нашу пролетарскую демократию, тем смирнее и сговорчивее становилась она. Чем резче и решительнее выступают против нее, тем покорнее она гнет спину, тем больше уступок она делает рабочей партии. В этом мы убедились.

Наконец, мы вскрывали парламентский кретинизм (как это называл Маркс) различных, так называемых, национальных собраний. Эти господа выпустили из рук все средства власти, передав их отчасти добровольно обратно правительствам. Против вновь окрепших реакционных правительств и в Берлине и во Франкфурте находились немощные Собрания, воображавшие, однако, что их бессильные резолюции перевернут мир. Жертвами этого идиотского самообмана были все, даже крайняя левая. Мы им говорили, что их парламентская победа совпадает с их реальным поражением.

Так оно и было в Берлине и во Франкфурте. Когда „левая"

получила большинство, то правительство разогнало Собрание; оно могло позволить себе это, ибо Собрание потеряло весь свой кредит у народа.

Когда впоследствии я прочел книгу Бужара о Марате, то я увидел, что мы бессознательно подражали во многих отношениях великому образцу подлинного (не фальсифицированного роялистами) „друга народа"; все яростные вопли и вся фальсификация истории, исказившие на целых сто лет истинный облик Марата, имеют своей причиной то, что он безжалостно совлек покрывало с кумиров тогдашнего момента, Лафайета, Байльи и других, разоблачив в них уже готовых изменников революции, и что, подобно нам, он не считал революцию завершенной, а хотел объявить ее перманентной.

Мы открыто заявляли, что представляемое нами направление лишь тогда сумеет начать борьбу за достижение наших действительных партийных целей, когда самая крайняя из существующих в Германии официальных партий очутится у власти: по отношению к ней мы станем тогда оппозицией.

Но события позаботились о том, чтоб, кроме надсмешек над немецкими противниками, нашлось место и для пламенной страстности. Июньское восстание парижских рабочих застало нас уже за работой. С первого выстрела мы стали безусловно на сторону инсургентов. После их поражения Маркс почтил память побежденных одной из своих самых сильных статей.

Тут нас покинул остаток акционеров. Но мы имели удовлетворение быть в Германии и почти во всей Европе единственной газетой, высоко державшей знамя разгромленного пролетариата в тот момент, когда буржуазия и мещанство всех стран засыпали побежденных грязью своей клеветы.

Наша иностранная политика была проста: выступление в пользу каждого революционного народа, призыв ко всеобщей войне революционной Европы против великой опоры европейской реакции—России. С 24-го февраля нам было ясно, что революция имеет только одного действительно страшного врага—Россию, и что этот враг вынужден будет вмешаться в борьбу тем скорее, чем более всеевропейские размеры примет движение. Венские, миланские, берлинские события должны были задержать русское нападение, но его неизбежность была тем достовернее, чем ближе надвигалась революция на Россию. Если бы удалось заставить Германию воевать с Россией, то Габсбургам и Гогенцоллернам пришел бы конец, и революция победила бы по всей линии.

Эта политика проходит красной нитью через все номера газеты до момента действительного выступления русских в Венгрии, вполне

подтвердившего наши предвидения и повлекшего за собой поражение революции.

Когда весной 1849 г. стал надвигаться решительный бой, то тон газеты начал с каждым номером делаться все более резким и страстным. Силезским крестьянам Вильгельм Вольф напомнил в „Силезских миллиардах" (восемь статей) о том, как, при освобождении их от феодальных повинностей, помещики, при содействии правительства, накрыли их и на деньгах и на земле, и потребовал миллиард талеров возмещения.

Одновременно с этим в апреле появилась работа Маркса о наемном труде и капитале в виде ряда руководящих статей, как определенное указание на социальную цель нашей политики. Каждый номер, каждый экстренный выпуск указывал на подготовляющуюся великую битву, на обострение противоречий во Франции, Италии, Германии и Венгрии. В особенности апрельские и майские экстренные выпуски были сплошь призывами к народу держаться наготове для решительного удара.

В остальной части Германии удивлялись, как мы без стеснения писали все это да еще в первоклассной прусской крепости, с ее восьмитысячным гарнизоном, ее гауптвахтой; но восемь ружей и двести пятьдесят патронов в редакционной комнате и красные якобинские колпаки наборщиков придавали нашему помещению в глазах офицерства тоже вид крепости, которую нельзя взять нахрапом.

Наконец, 18-го мая 1849 г. наступила развязка.

Восстание в Дрездене и Эльберфельде было подавлено, в Изерлоне окружено; Рейнская провинция и Вестфалия были наводнены солдатами, которые, справившись с прусскими областями на Рейне, должны были выступить против Пфальца и Бадена. Тогда, наконец, правительство отважилось обратиться против нас. Против одной половины редакции было возбуждено судебное преследование; другая—состоявшая из не-пруссаков—подлежала высылке. Против этого ничего нельзя было поделать, пока за правительством стоял целый армейский корпус. Мы должны были сдать свою крепость, но мы покинули ее, унеся все военное снаряжение, при звуке барабанов, с развевающимся красным знаменем последнего номера, в котором мы предостерегали кельнских рабочих от безнадежных путчей и говорили им:

„Покидая вас, редакторы „Новой Рейнской Газеты" благодарят вас за выказанное участие. Их последним словом—всегда и везде—будет: Освобождение рабочего класса!"

Так закончила свое существование „Новая Рейнская Газета", незадолго до истечения года со дня ее появления. Начатая почти без средств—небольшая обещанная ей сумма денег не была, как я уже сказал, выплачена ей—она уже в сентябре дошла до тиража в 5 000. При введении осадного положения в Кельне она была закрыта; в середине октября она должна была начать все с начала. Но в мае 1849 г. при запрещении ее, она опять имела уже тираж в 6.000 номеров, между тем как „Кельнская Газета" имела, по собственному признанию, не более 9.000. Ни одна из немецких газет—ни до, ни после—не имела подобной силы и влияния, не умела так электризовать пролетарские массы, как „Новая Рейнская Газета".

И этим она обязана была, главным образом, Марксу.

Когда удар разразился, редакция рассеялась. Маркс уехал в Париж, где подготовлялась развязка, наступившая 13-го июня 1849 г.; Вильгельм Вольф занял теперь свое место в Франкфуртском парламенте—теперь, когда это Собрание должно было выбирать между разгоном сверху или присоединением к революции; а я отправился в Пфальц и стал адъютантом в добровольческом отряде Виллиха.

Фридрих Энгельс.

Процесс „Новой Рейнской Газеты".

К. Маркс. Господа присяжные! Сегодняшний процесс имеет некоторое значение, ибо статьи 222 и 367 Code pénal, по которым предъявлено обвинение „Н. Р. Г.", единственные статьи рейнского законодательства, находящиеся в распоряжении властей против печати,—если не говорить, конечно, о случаях прямого призыва к мятежу.

Все вы знаете, с какой особенной охотой прокурорский надзор преследует „Н. Р. Г.". Но до сих пор, несмотря на все его старания, ему не удалось уличить нас в других прегрешениях, кроме перечисленных в статьях 222 и 367. Я считаю поэтому необходимым, в интересах печати, заняться внимательнее этими параграфами Кодекса.

Но прежде чем приступить к юридическому анализу, позвольте мне сделать личное замечание. Прокуратура назвала низостью следующее место инкриминируемой статьи: „Соединяет ли разве господин Цвеффель в своей особе исполнительную власть с законодательной? Неужели лавры обер-прокурора должны прикрывать наготу народного представителя?". Милостивые государи! Человек может быть очень хорошим обер-прокурором и быть в то же время скверным народным представителем. Может быть, он потому именно и хороший обер прокурор, что он скверный народный представитель. Прокуратура, повидимому, плохо знакома с парламентской историей. Что лежит в основе вопроса о несовместительстве, занимающего такое видное место в дебатах конституционных палат? Недоверие к правительственным чиновникам, подозрение, что правительственный чи-

новник слишком легко жертвует интересами общества в пользу интересов предержащей власти и поэтому совершенно не годится для роли народного представителя. А что в частности сказать о положении государственного обвинителя? В какой стране сочли бы совместимым это положение с званием народного представителя? Я напомню вам о нападках во французской и бельгийской печати, во французской и бельгийской палатах против Эбера, Плугульма, Баве, нападках, имевших своей мишенью именно это противоречивое соединение в одном лице качеств обер-прокурора и депутата. Никогда эти нападки не влекли за собой судебного преследования, даже в министерство Гизо, а Франция Луи-Филиппа и Бельгия Леопольда считались образцовыми конституционными государствами. Правда, в Англии дело обстоит иначе по отношению к Attorney-General и Sollicitor-General. Но их положение отличается существенным образом от положения procureur du roi. Они являются до известной степени чиновниками с судейскими функциями. Мы, милостивые государи, не конституционалисты, но мы становимся на точку зрения наших обвинителей, чтобы побить их на их собственной почве их же собственным оружием. Поэтому мы и ссылаемся на конституционный usus.

Прокуратура хочет, апеллируя к моральному общему месту, вычеркнуть целый период парламентской истории. Я решительно отвергаю ее упрек в низости, я объясняю его невежеством обвинителя.

Теперь я перехожу к анализу юридического вопроса.

Уже защитник мой доказал вам, что без ссылки на прусский закон 5 июля 1819 г. обвинение в оскорблении обер-прокурора Цвейффеля было бы заранее несостоятельным. Статья 222 Code pénal говорит об „outrage par paroles", об **устных** оскорблениях, а не описанных или печатных. Но прусский закон 1819 г. имел своею целью дополнить, а не отменить статью 222. Прусский закон может распространить кары статьи 222 на письменные оскорбления лишь в тех случаях, когда Code pénal карает за устные оскорбления. Письменные оскорбления должны происходить в той же обстановке, при тех же условиях, какие предполагаются статьей 222 в случае устных оскорблений. Поэтому необходимо определить в точности смысл статьи 222 [1]).

В мотивах к статье 222 (Exposé par M. le conseiller d'etat Berlier, séance du février 1810) мы читаем:

[1]) Статья 222 гласит дословно: „Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu dans l'**exercice de leur fonction** ou à l'**occasion de cet exercice** quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur delicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

„Il ne sera donc ici question que des **seuls outrages** qui compromettent **la paix publique**, c. a. d. de ceux dirigés coutre les fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonctions; dans ce cas ce n'est plus un particulier, c'est l'ordre public qui est blessé... La hierarchie politique sera dans ce cas prise en considération; celui qui se permet des **outrages** ou **violences** envers un officier ministériel est coupable sans doute, mais il commet un moindre **scandale** que lorsqu'il outrage un magistrat".

В переводе это означает следующее:

„Итак, дело здесь идет **только об оскорблениях**, нарушающих **общественный порядок**, общественное спокойствие, т.-е. об оскорблениях чиновников или правительственных агентов при или по поводу исполнения ими своих обязанностей; в этом случае ущерб причиняется не частному лицу, а общественному порядку... В этом случае придется принимать в рассмотрение политическую иерархию: тот, кто позволяет себе оскорбление или насилие по отношению к министерскому агенту, без сомнения, виновен, но он вызывает этим меньший скандал, чем если бы он оскорбил судью".

Вы видите, милостивые государи, из этой мотивировки, какую цель преследовал законодатель статьи 222. Статья 222 применима „только" к оскорблениям чиновников, нарушающим общественный порядок, общественное спокойствие. Но когда нарушается общественный порядок, la paix publique? Только тогда, когда затевается мятеж для свержения законов или когда ставятся препятствия реализации существующих законов, т.-е. когда оказывается сопротивление исполняющему закон чиновнику, когда мешают, прерывают **судебную деятельность** чиновника при исполнении им своего долга. Сопротивление может ограничиваться одним ропотом, оскорбительными словами, но оно может доходить и до действий, до неповиновения насилием. Outrage, оскорбление—это только низшая степень violence, неповиновения, сопротивления насилием. Поэтому в мотивировке и говорится outrages ou violences, „оскорбления **или насилия**". По смыслу своему оба слова тождественны; но violence, насилие—это только более тяжкая форма outrage, оскорбления исполняющего свою обязанность чиновника.

Итак, в этой мотивировке предполагается, 1) что оскорбление наносится чиновнику при исполнении им своих служебных обязанностей и 2) что оно наносится ему в его **личном присутствии**. Ни в каком другом случае нельзя говорить о действительном нарушении общественного порядка.

Вы увидите эту предпосылку во всем разделе, трактующем об „outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique", т.-е. об „оскорблениях и насилиях над теми, кому вручены

общественная власть и общественная сила". Различные статьи этого отдела устанавливают следующую градацию неповиновения: выражение лица, слова, угрозы, насильственные деяния; последние, в свою очередь, делятся по степени своей тяжести. Наконец, во всех этих статьях говорится об углублении наказания в том случае, если различные формы неповиновения происходят в зале судебного заседания. Здесь причинение „скандала" считается наибольшим, и исполнение законов—paix publique—нарушается самым резким образом.

Поэтому статья 222 применима к письменным оскорблениям чиновников лишь в том случае, если подобные оскорбления совершаются 1) в личном присутствии чиновника, 2) во время исполнения им своих служебных обязанностей. Мой защитник, милостивые государи, привел вам такой пример. Например, сам он подпал бы под действие статьи 222, если бы он теперь, во время заседания суда, оскорбил председателя в письменном ходатайстве и т. д. Но этот параграф Code pénal ни в коем случае не может быть применен к газетной статье, „наносящей оскорбление" долго спустя после исполнения чиновником своего служебного долга и в его отсутствие.

Это толкование статьи 222 может объяснить кажущийся пробел, кажущуюся непоследовательность Code pénal. Почему я имею право оскорбить короля, в то время как я не в праве оскорбить обер-прокурора? Почему Code pénal—в отличие от прусского земского права—не назначит кары за оскорбление величества?

Потому, что король никогда не исполняет сам обязанности чиновника, которые он поручает всегда исполнять другим, потому что король никогда не имеет со мной дела лично, но лишь чрез своего представителя.

Вытекший из революции деспотизм Code pénal бесконечно отличен от патриархально-учительского деспотизма прусского земского права. Наполеоновский деспотизм сокрушает меня, раз я действительно мешаю государственной власти, хотя бы только путем оскорбления чиновника, который исполнением своих обязанностей заставляет меня признать государственную власть. Но вне исполнения этих служебных обязанностей чиновник становится обыкновенным членом буржуазного общества, без каких бы то ни было привилегий, без какой бы то ни было исключительной охраны. Прусский же деспотизм делает из чиновников какое-то высшее, священное существо для меня. Его качество чиновника как бы срастается с ним, подобно тому, как от католического священника неотделима благодать священства. Прусский чиновник является для прусского мирянина, т.-е. не-чиновника, всегда священником. Оскорбление подобного священника, хотя бы неисполняющего своих обязанностей, хотя бы отсутствующего, вернувшегося к частной жизни, остается все же

осквернением религии, кощунством. Чем выше чиновник, тем серьезнее осквернение религии. Поэтому высочайшим оскорблением государственного священника является оскорбление короля, оскорбление величества, представляющее по Code pénal юридическую нелепость.

Но, скажут, если бы статья 222 Cade pénal говорила только об outrages чиновников „dans l'exercice de leurs fonctions", об оскорблениях чиновников при исполнении ими своих служебных обязанностей, то законодателю не нужно было бы ставить требование личного присутствия чиновника, которое является необходимым условием всякого подводимого под статью 222 оскорбления. Между тем статья 222 прибавляет к словам „dans l'exercice de leurs fonctions" еще слова: „à l'occasion de cet exercice".

Прокуратура переводит эти слова так: „в отношении к их службе". Я докажу вам, милостивые государи, что перевод этот неверен и совершенно противоречит намерению законодателя. Взглянем на статью 228 того же раздела. Мы здесь читаем: Кто ударит чиновника „dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de cet exercice", наказывается тюремным заключением на срок от двух до пяти лет. Можно ли здесь переводить: „В отношении к его службе"! Разве можно наносить относительные побои? Неужели здесь не имеется предпосылки о личном присутствии чиновника? Могу ли я избивать отсутствующего? Очевидно, это следует переводить так: „Кто ударит чиновника по поводу исполнения им своих служебных обязанностей". Но в статье 228 дословно повторяется фраза из статьи 222. Очевидно, слова „à l'occasion de cet exercice" имеют в обоих случаях одинаковое значение. Таким образом эти дополнительные слова не только не исключают условия о личном присутствии чиновника, но, наоборот, предполагают его.

Можно из истории французского законодательства представить вам другое, разительное доказательство. Вы помните, что во Франции в первое время реставрации партии вступали между собой в ожесточенные стычки в парламентах, в судах; в южной Франции дело доходило до ножей. Суды присяжных были тогда просто военно-полевыми судами победившей партии, расправлявшейся с партией побежденной. Оппозиционная печать беспощадно клеймила приговоры суда присяжных. Статья 222 не давала никакого оружия против авторов этих нападок, ибо она была бы применима лишь в случае оскорбления присяжных в суде, в их личном присутствии. Поэтому в 1819 г. сфабриковали новый закон, каравший всякие нападки на chose jugée, на произнесенный приговор. Code pénal не знает подобной неприкосновенности судебного приговора. Нужно ли было бы дополнить его новым законом, если бы § 222 говорил об оскорблениях „в отношении" исполнения служебных обязанностей?

Но что же означает дополнение: „à l'occasion de cet exercice?" Оно хочет просто обезопасить чиновника от нападок незадолго до или вскоре после исполнения им своих служебных обязанностей. Если бы статья 222 говорила только об „оскорблениях и насилиях" над чиновником во время исполнения им своих служебных обязанностей, то я мог бы, например, спустить с лестницы судебного пристава после предъявления им мне исполнительного листа и утверждать затем, что я его оскорбил лишь после того, как он перестал быть для меня судебным приставом. Я мог бы, например, напасть по дороге на мирового судью, направлявшегося верхом к моему жилищу, чтобы um gerichtliche Polizei gegen mich auszuüben, избить его и уклониться от грозящей мне согласно статье 228 кары ссылкой на то, что я его избил не во время, но до исполнения им его служебных обязанностей.

Следовательно, дополнение „à l'occasion decet exercice", по поводу исполнения служебных обязанностей, имеет целью обеспечить безопасность исполняющего свой долг чиновника. Оно относится к оскорблениям и насильственным действиям, которые происходят не непосредственно во время исполнения служебных обязанностей, а незадолго до или вскоре после этого, и при том—и это имеет существенное значение—находятся в живой связи с исполнением служебных обязанностей, т.-е. предполагают при всяких обстоятельствах личное присутствие оскорбляемого чиновника.

Нужны ли еще дальнейшие разъяснения того факта, что § 222 неприменим к нашей статье, если бы даже мы оскорбили в ней господина Цвейффеля? Когда инкриминируемая статья была написана, господин Цвейффель отсутствовал; он жил не в Кельне, а в Берлине. Когда эта статья была написана, господин Цвейффель действовал не в качестве обер-прокурора, а в качестве депутата партии объединения. Следовательно, ему не могло быть нанесено оскорбления или обиды, как обер-прокурору, исполняющему свои обязанности.

Но, и не прибегая к данному раньше анализу, можно иным путем доказать, что § 222 неприложим к инкриминируемой статье „Новой Рейнской Газеты".

Это следует из различия, проводимого Code pénal между оскорблением и оклеветанием. Это различие указано в точности в статье 375. После того как в ней говорилось об „оклеветании", мы читаем:

„Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis (в статье 367 об оклеветании это называется так: „des faits qui s'ils existaient", факты, которые, если бы они были действительными фактами), mais celle d'un vice

determiné... la peine sera une amende de seize à cinq cent francs". Обиды или оскорбительные выражения, содержащие в себе обвинение не в определенном факте, а в определенном пороке... карается штрафом размером от шестнадцати до пятисот франков. В статье 276 мы читаем дальше: „Все прочие обиды или оскорбительные выражения... влекут за собой простое полицейское наказание".

Итак, что подходит под категорию оклеветания? Поношения, которые вменяют поносимому в вину определенные факты. Что под категорию оскорбления? Обвинение в определенном пороке и оскорбительные выражения общего характера. Если я скажу: вы украли серебряную ложку, то я возвожу на вас клевету в смысле Code pénal. Если же я скажу: вы—вор, у вас воровские наклонности, то я оскорбляю вас.

Но статья „Нов. Рейн. Газ." не бросает вовсе господину Цвейффелю обвинений такого рода: господин Цвейффель—предатель народа, господин Цвейффель сделал гнусные заявления. Нет, статья эта определенно утверждает: „Говорят, будто господин Цвейффель сказал, что он покончит в Кельне на Рейне с 19 марта с клубами, свободой печати и другими отродиями дурного 1848 года".

Таким образом, господину Цвейффелю вменяется в вину вполне определенное заявление. Поэтому, если бы приходилось применять одну из двух статей 222 или 367, то ею должна была бы быть не статья 222 об оскорблениях, а только статья 367 об оклеветании.

Почему же прокуратура применила к нам статью 222, а не 367?

Потому, что статья 222 гораздо более неопределенна и дает скорее возможность осудить человека, раз дело идет о том, чтоб осудить. Посягательства на „delicatesse et honneur", на „щепетильность и честь", не допускают никакой меры. Что такое честь, что такое щепетильность? Что такое посягательство на них? Это зависит от лица, с которым я имею дело, от степени его образования, от его предрассудков, от его воображения. Не остается иной меры, кроме noli me tangere напряженного, мнящего себя неприкосновенным, чиновничьего тщеславия.

Но и параграф об оклеветании, § 367 Code pénal неприменим к статье „Новой Рейнской Газеты".

Параграф 367 требует „fait précis", определенного факта, „un fait, qui peut exister", факта, который может быть действительным фактом. Но ведь в статье „Н. Р. Г." не обвиняли господина Цвейффеля в том, что он уничтожил свободу печати, закрыл клубы или свел на нет мартовские завоевания в том или ином месте. Ему ставится в вину лишь простое заявление. Но § 367 предполагает обвинение в совершении определенных фактов, таких, что если бы они были действительными фактами, то они могли бы повлечь за собой преследование

виновника их в уголовном или исправительном порядке или хотя бы навлекли на него презрение или ненависть граждан.

Но простое заявление о намерении сделать то-то и то-то не может послужить поводом для преследования меня в уголовном или исправительном порядке. Нельзя даже утверждать, что оно навлечет на меня непременно ненависть или презрение граждан. Конечно, словесное заявление может быть выражением очень низкого, заслуживающего презрения и ненависти, образа мыслей. Но разве в состоянии возбуждения я не могу сделать заявления, угрожающего поступками, на которые я совсем не способен? Только дело показывает, насколько серьезно было заявление.

Кроме того, „Новая Рейнская Газета" пишет: „Говорят, будто господин Цвейффель сказал"... Чтобы была наличность клеветы на кого-нибудь, в утверждении не должно заключаться элемента сомнения, который выражен здесь словом „говорят": я должен выражаться аподиктически.

Наконец, господа присяжные, те „citoyens", те граждане, ненависть или презрение которых должны, согласно § 367, навлечь на меня обвинение, чтобы оно было клеветой, эти citoyens, эти граждане вообще не существуют в политических делах. Здесь существуют только партийные люди. То, что навлекает на меня ненависть и презрение у членов одной партии, вызывает любовь и уважение у членов другой партии. Орган теперешнего министерства, „Новая Прусская Газета", обвинил господина Цвейффеля в том, что он своего рода Робеспьер. В глазах этой газеты, в глазах ее партии наша статья не навлекла на господина Цвейффеля ненависти и презрения, а, наоборот, освободила его от тяготеющих над ним ненависти и презрения.

На это соображение следует обратить сугубое внимание, не в связи с данным случаем, но для всех случаев, когда прокуратура попытается применить § 367 к политической полемике.

Вообще, господа присяжные, если вы захотите применить, в духе прокуратуры, § 367 к печати, то вы в порядке уголовного законодательства отмените свободу печати, завоеванную революцией и признанную конституцией. Вы в этом случае освятите произвол чиновничества, вы дадите простор всякой официальной низости, карая лишь разоблачение этой низости. К чему же тогда лицемерное признание свободы печати? Если существующие законы оказываются в явном противоречии с новозавоеванной ступенью общественного развития, то ваша, господа присяжные, обязанность вмешаться между отжившими требованиями закона и живыми требованиями общества. Ваше дело предварить законодательство, пока последнее не пойдет навстречу потребностям общества. Это самая драгоценная привилегия

суда присяжных. В рассматриваемом случае, милостивые государи, задача эта облегчается вам самой буквой законодательства. Вы должны лишь толковать его в духе нашего времени, наших политических прав, наших социальных потребностей.

§ 367 заканчивается следующими словами:

„La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer" „Настоящее постановление неприменимо к фактам, опубликование коих разрешается законом, ни к таким, к открытию или устранению коих был обязан автор обвинения в силу своих служебных обязанностей или по долгу".

Нет сомнения, что законодатель не думал о свободе печати, когда он говорил о долге разоблачения. Но так же мало думал он о том, что этот параграф будет когда-нибудь применяться к свободной печати. Как известно, при Наполеоне не существовало вовсе свободы печати. Поэтому, если вы хотите применять закон к такой политической и социальной ступени развития, для которой он вовсе не предназначался, то применяйте его целиком, излагайте его в духе нашего времени, пусть на благо печати пойдет и это заключительное предложение § 367.

§ 367, как его узко толкует прокуратура, исключает доказательство истины и дозволяет разоблачение лишь тогда, когда оно опирается на публичные акты или на существующий уже судебный приговор. Но к чему разоблачение печати post factum, после произнесения приговора? Она, по своему призванию,—общественный страж, неутомимый разоблачатель власть имущих, вездесущее око, вездесущие уста ревниво охраняющего свою свободу народного духа. Если вы будете так толковать § 367—а вы должны так толковать его, если не хотите умалить свободу печати в интересах правительственной власти—то кодекс дает вам в то же время оружие против злоупотреблений со стороны печати. Согласно § 372, в случае разоблачения, должно во время следствия, по поводу фактов приостановить судебную процедуру и решение насчет дела о клевете. Согласно § 373 разоблачение, оказавшееся клеветническим, карается.

Милостивые государи! Достаточно бросить только взор на инкриминируемую статью, чтобы убедиться, что „Новая Рейнская Газета", нападая на местный суд и жандармерию, не только не имела умышленного намерения нанести оскорбление или взвести клевету, а исполнила только свой долг разоблачения.

Допрос свидетелей должен был убедить вас, что в истории с жандармами мы изложили только то, что фактически произошло.

Но вся соль статьи „Н. Р. Г." заключается в предсказании происшедшей затем контр-революции, в нападении на министерство Ганземана, которое ознаменовало начало своего существования странным заявлением, что, чем многочисленнее полиция, тем свободнее государство. Это министерство считало, что аристократия уже побеждена, и что у него одна лишь задача, лишить народ его революционных завоеваний в пользу одного класса, буржуазии. Этим оно подготовило дорогу феодальной контр-революции. В инкриминируемой статье мы разоблачали лишь один, выхваченный из окружающей нас среды, осязательный факт систематического контр-революционного поведения министерства Ганземана и вообще немецких правительств.

Невозможно рассматривать кёльнские аресты, как изолированное явление. Чтобы убедиться в обратном, достаточно бросить беглый взгляд на тогдашние события. Незадолго до того начались преследования печати, для чего воспользовались соответствующими параграфами старого земского права. Несколько дней спустя, 8 июля, был арестован И. Вульф, председатель дюссельдорфского народного клуба, и были произведены многочисленные обыски на дому у членов этого клуба. Присяжные оправдали впоследствии Вульфа, да и вообще ни одно из политических преследований того времени не получило санкции суда присяжных. Того же 8 июля офицерам, чиновникам и сверхштатным чиновникам в Мюнхене было запрещено принимать участие в народных собраниях. 9 июля был арестован Фалькенгайн, председатель общества „Germania" в Бреславле. 15 июля обер-прокурор Шнаазе выступил в дюссельдорфском бюргерском обществе с форменной обвинительной речью против народного клуба, председатель которого был 9 числа арестован по его докладу. Здесь перед вами образчик высокой беспартийности прокурорского надзора, образчик того, как то обер-прокурор выступает в качестве партийного лица, то партийное лицо в качестве обер-прокурора. Несмотря на начатое против нас дело из-за Цвейффеля, мы разоблачили тогда деятельность Шнаазе. Он поостерегся что-нибудь ответить нам. В тот самый день, в который обер-прокурор Шнаазе выступил со своей филиппикой против народного клуба, королевским приказом было закрыто демократическое окружное общество в Штутгарте. 19 июля был распущен демократический студенческий кружок в Гейдельберге, 27 июля—все демократические общества в Бадене, и вскоре затем в Вюртемберге и Баварии. Имеем ли мы право молчать при подобном очевидном предательском заговоре всех немецких правительств против народа? Прусское правительство не осмеливалось тогда сделать то, на что решились баденское, вюртембергское и баварское правительства. Оно не осмеливалось, ибо прусское национальное собрание

начало чуять контр-революционный заговор и стало возмущаться министерством Ганземана. Но, господа присяжные, я утверждаю откровенно, с полным убеждением в правоте высказываемого мной: если прусская контр-революция не разобьется вскоре о прусскую народную революцию, то и в Пруссии будет совершенно уничтожена свобода собраний и печати. С помощью осадного состояния их уже и так наполовину убили. В Дюссельдорфе и в некоторых силезских округах осмелились даже восстановить цензуру.

Но не только положение германских дел вообще, положение дел в Пруссии обязывает нас следить с крайним недоверием за каждым шагом правительства, разоблачать всенародно малейшие симптомы, в которых проявляется проводимая им система. Местный, кельнский прокурорский надзор давал нам особенный повод разоблачать его перед общественным мнением как орудие контр-революции. В одном лишь июле мы должны были указать на три незаконных ареста. В первых двух случаях правительственный обвинитель Геккер промолчал, в третьем он сделал попытку оправдаться, но после нашего ответа смолк по той простой причине, что ему нечего было сказать.

И при таких обстоятельствах прокуратура осмеливается утверждать, что дело идет здесь не о разоблачении, а о мелком, злостном оскорблении? Это какое-то странное недоразумение. Я лично уверяю вас, милостивые государи, что я охотнее занимаюсь крупными всемирно-историческими событиями, что я предпочитаю анализировать ход истории, чем возиться с местными кумирами, жандармами и прокуратурой. Какими бы ни казались самим себе эти господа, в гигантской схватке современности они ничто, абсолютное ничто. Я считаю это настоящей жертвой с нашей стороны, когда мы решаемся сломать копье с подобными противниками. Но ведь печать обязана вступаться за угнетенных в ближайшей окружающей ее среде. А главной опорой здания рабства являются, милостивые государи, подчиненные политические и социальные власти, вступающие в непосредственное соприкосновение с отдельными лицами, с живым индивидом и его частной жизнью. Недостаточно вести борьбу с социальными отношениями в их общей форме и с высшими властями. Печати приходится выступать против этого определенного жандарма, этого прокурора, этого ландрата. В чем причина крушения мартовской революции? Она преобразовала только политическую верхушку, оставив нетронутыми основы ее—старую бюрократию, старую армию, старую прокуратуру, старых, родившихся, выросших и поседевших на службе абсолютизма судей. Первая обязанность печати подкопаться под все основы существующего политического строя.

Ф. Энгельс. Господа присяжные! Предыдущий оратор обратил свое внимание, главным образом, на обвинение в оскорблении обер-прокурора Цвейффеля, позвольте мне теперь обратить ваше внимание на обвинение в возведении клеветы на жандармов. Дело идет прежде всего о тех параграфах закона, на которых опирается обвинение.

§ 367 уголовного кодекса гласит: „Виновен в клевете тот, кто в общественных местах или в общественных собраниях, или в аутентичном и общественном документе, или в печатном или ненапечатанном сочинении, которое было расклеено, продано или роздано, обвинил кого-нибудь в таких делах, которые, если бы они были верны, повлекли бы для виновного в них преследование в уголовном или исправительном порядке или хотя бы навлекли на него презрение или ненависть граждан".

§ 370 прибавляет к этому: „Если в законном порядке будет установлена истинность предмета обвинения, то автор его освобождается от наказания. — Законным доказательством считается такое, которое вытекает из приговора или какого нибудь иного аутентичного акта".

Милостивые государи! Прокуратура дала вам свое толкование этих мест законодательства и, на основании этого, требовала для нас обвинительного приговора. Ваше внимание уже обратили на то, что законы эти были изданы в такое время, когда над печатью тяготела цензура и когда вообще существовали иные политические отношения, чем теперь; основываясь на этом, мой защитник высказал тот взгляд, что вы не обязаны считать себя связанными этими устарелыми законами. Прокуратура присоединилась к этому взгляду, по крайней мере в отношении § 370. Она выразилась следующим образом: „для вас, господа присяжные, самое важное, конечно, чтобы была доказана истина разбираемых фактов": за это признание я ей благодарен.

Но если вы и не придерживаетесь того взгляда, что, по крайней мере, § 370 в своем ограничении доказательства истины устарел, то, несомненно, вы согласитесь с тем, что приведенные статьи должны быть истолкованы иначе, чем это делает прокуратура. Привилегия суда присяжных в том и состоит, что присяжные могут толковать законы, независимо от традиционной судебной практики, так, как им подсказывает их здравый смысл и совесть. Против нас возбуждено судебное дело по § 370 за то, что мы обвинили жандармов в деяниях, которые, в случае истинности их, должны навлечь на жандармов презрение и ненависть граждан. Если вы станете понимать эти

слова о „ненависти и презрении" в том смысле, какой хотела бы придать им прокуратура, то пока будет в силе § 370, уничтожается совершенно свобода печати. Как сумеет в этом случае печать исполнять свой первый долг, долг охранять граждан от произвола чиновников? Лишь только она позволит себе разоблачить перед общественным мнением подобный акт произвола, ее привлекут к суду, и работники печати—если желание прокуратуры будет удовлетворено—будут приговариваться к тюремному заключению, денежному штрафу и потере гражданских прав; исключением явится такой случай, когда печать приведет судебный приговор, т.-е. разоблачит преступное деяние тогда, когда в этом уж не будет никакой надобности.

Как мало подходят к теперешней обстановке рассматриваемые места законодательства—по крайней мере, в толковании прокуратуры—показывает сравнение с § 369. Мы читаем здесь:

„Что касается клеветы, которая стала известной благодаря иностранным газетам, то могут привлекаться к суду те, кто послал эти статьи... или кто содействовал ввозу и распространению этих газет".

Согласно этой статье, милостивые государи, прокуратура обязана была бы ежедневно и ежечасно привлекать к суду королевско-прусских почтовых чиновников. Разве имеется хоть один день в году, когда бы прусская почта не содействовала, рассылкой той или иной иностранной газеты, „ввозу и распространению" клеветы в смысле прокуратуры? И однако прокуратуре не приходит в голову возбудить преследование против почтового ведомства.

Примите далее во внимание, милостивые государи, что статьи эти написаны были в такое время, когда, благодаря цензуре, было невозможно оклеветать чиновников в печати. Следовательно, эти статьи и должны были, по замыслу законодателя, охранять от клеветы частных лиц, а не чиновников, и только в этом случае они имеют смысл. Но с тех пор, как была завоевана свобода печати и поступки чиновников могли стать достоянием гласности, все положение радикально изменилось. И именно тут, в подобных противоречиях между устаревшим законодательством и новой социально-политической обстановкой, именно в этих случаях должны выступить присяжные и приспособить старый закон к новой социальной обстановке новым истолкованием его.

Но, как я уже сказал, сама прокуратура признала, что для вас милостивые государи, важно—вопреки § 370—фактическое доказательство истины. Поэтому она и пыталась ослабить приведенные нами, на основании свидетельских показаний, доказательства истины. Присмотримся же к инкриминируемой газетной статье, чтобы убедиться, действительно ли доказано приводимое в ней обвинение и

составляет ли оно в то же время клевету. В начале статьи мы читаем следующее:

„Утром, в 6-7 часов, человек 6-7 жандармов вошли в квартиру Аннеке, обошлись грубо с служанкой" и т. д.

Милостивые государи, вы слышали рассказ Аннеке по этому пункту. Вы, вероятно, помните, что я собирался вторично задать свидетелю Аннеке вопрос по поводу грубого обращения со служанкой и что господин председатель нашел этот вопрос излишним, ибо факт этот в достаточной мере установлен. И вот я спрашиваю: взвели ли мы в этом пункте клевету на жандармов?

Далее: „В передней это бесчинство переходит в насильственные действия, при чем один из жандармов разбивает стеклянную дверь, а Аннеке спускают с лестницы". Милостивые государи, вы слышали показание свидетеля Аннеке; вы должны помнить слова свидетеля Эссера о том, как жандармы вышли с Аннеке „на парах" из дому и втолкнули его в карету; я, милостивые государи, спрашиваю еще раз: где же здесь клевета?

В статье имеется, наконец, место, правильность которого не доказана с буквальной точностью. Это следующее место: „Из этих четырех столпов правосудия один немного покачивался, с утра уже преисполненный „духом", водой истинной жизни, водкой".

Я соглашаюсь, милостивые государи, что подлинные слова Аннеке сводились к следующему: „судя по поведению жандармов, их можно было принять за пьяных", т. е. жандармы вели себя, как пьяные. Но, милостивые государи, примите во внимание то, что мы сказали два дня спустя, в ответ на реплику государственного прокурора Геккера! „Оскорбление может относиться только к одному из господ жандармов, о котором говорили, что он в ранний час покачивался из спиритуальных или спиртуозных оснований. Если следствие покажет—в чем мы ни на минуту не сомневаемся—правильность фактов, т.-е. учиненного агентами государственной власти насилия, то мы, как кажется, заботливейшим образом, со всем свойственным печати беспристрастием, подчеркнули, в интересах обвиняемых нами господ, единственное смягчающее их поступок обстоятельство; а прокурорский надзор превращает это филантропическое указание единственного смягчающего обстоятельства в оскорбление".

Вы можете видеть отсюда, милостивые государи, что мы сами настаивали на следствии относительно указанных фактов. Не наша вина, если следствие это не было произведено. Что касается обвинения в опьянении, то что за беда, если сказать о королевско-прусском жандарме, что он хлебнул водки немножко через край? Насчет того, является ли это клеветой, я готов апеллировать к общественному мнению всей Рейнской провинции.

И как может говорить прокуратура о клевете, когда эти якобы оклеветанные даже не названы, не обозначены? Речь идет о „6-7 жандармах". Кто они? Где они? Стало ли вам, милостивые государи, известно, что какой-нибудь определенный жандарм навлек на себя, благодаря этой статье, „ненависть и презренье граждан"? Закон требует определенным образом, чтоб оклеветанный индивид был точно обозначен; но в указанном месте инкриминируемой статьи ни один определенный жандарм не может увидеть оскорбление себя, оскорбленной может—в крайнем случае—считать себя вся королевско-прусская жандармерия в целом. Она может чувствовать себя оскорбленной тем, что в газетах пишут о том, как члены этой корпорации совершают безнаказанно незаконные, насильственные деяния. Но, милостивые государи, нельзя считать преступлением, если королевско-прусской жандармерии вообще бросается обвинение в совершении насильственных деяний. Я требую от прокуратуры, чтобы она указала мне то место в законе, согласно которому считаются наказуемыми оскорбление, поношение, оклеветание королевско-прусского жандармского корпуса, если вообще здесь может быть речь о клевете.

Прокуратура усмотрела вообще в инкриминируемой статье доказательство безудержной страсти к поношению. Статья эта, милостивые государи, была вам прочитана. И вот я спрашиваю, нашли ли вы в ней, что мы старались эксплоатировать имевшие тогда в Кельне место, более или менее серьезные, нарушения закона и использовать их в целях удовлетворения нашей мнимой злобы на низших чиновников? Наоборот, не указывали ли мы, что эти факты являются одним из звеньев длинной цепи предпринятых тогда одновременно по всей Германии попыток к реакции? Разве мы ограничились историей с жандармами и прокуратурой в Кельне, а не постарались углубить проблему, проанализировать ее в корнях до тайного министерства в Берлине? Но, конечно, не так опасно нападать на большое тайное министерство в Берлине, как на маленькую прокуратуру в Кельне, и доказательством этого факта является сегодняшний процесс.

Присмотритесь к концу статьи. Мы здесь читаем: „Таковы дела министерства дела, министерства левого центра, переходного министерства к стародворянскому, старобюрократическому, старопрусскому министерству. Как только господин Ганземан исполнит свою функцию мостика, его уволят".

Милостивые государи, вы, вероятно, помните события в августе прошлого года, вы помните, как был „уволен" Ганземан — правда, под приличной формой добровольной отставки,—и как ему наследовало министерство Пфюля-Эйхмана-Кискера-Ладенберга, в буквальном смысле слова „стародворянское, старобюрократическое, старопрусское министерство".

Мы читаем дальше: „Но левая в Берлине должна помнить, что старая власть ей предоставит охотно маленькие парламентские победы и большие конституционные планы, завладев в это время всеми главными позициями. Она может смело признать революцию 19 марта в палате, обезоружив ее только вне палаты".

Мне нечего доказывать, как правилен был этот взгляд. Вы сами знаете, как параллельно с ростом мощи левой в парламенте, уничтожена была мощь народной партии вне палаты. Должен ли я перечислить вам оставшееся безнаказанным зверство прусской солдатчины в бесчисленных городах, осадные положения, разоружение во многих случаях гражданской охраны и, наконец, геройский поход Врангеля против Берлина, чтобы показать вам, как была реально разоружена революция и как старая власть завладела фактически всеми главными позициями?

И, под конец, замечательное пророчество: „Левая в одно прекрасное утро убедится, что ее парламентская победа совпадает с ее реальным поражением".

Как буквально оправдалось это! Тот самый день, когда левая получила, наконец, в палате большинство, был днем ее реального поражения. Именно парламентские победы левой повлекли за собой государственный переворот 9 ноября, перенесение в другое место и отсрочку национального собрания и, наконец, роспуск его и октроирование конституции. Парламентская победа левой совпала в точности с ее полным поражением вне парламента.

Это столь буквально оправдавшееся предсказание есть, милостивые государи, результат, итог, вывод, извлеченный нами из творившихся по всей Германии, а в частности и в Кельне, насилий. И после того осмеливаются говорить о слепой страсти к поношению? Не похоже ли в действительности все дело на то, что мы, милостивые государи, предстали перед вами, чтобы отвечать за преступление, состоящее в том, что мы правильно указали на правильные факты и извлекли из них правильные выводы?

Резюмирую: вы, господа присяжные, решаете в этот момент вопрос о свободе печати в Рейнской провинции. Если прессе должно быть запрещено сообщать о том, что происходит на ее глазах, если при каждом невыясненном факте она должна ожидать, пока будет произнесен приговор, если она должна справляться у каждого чиновника—начиная с министра и кончая жандармом,—не задевается ли приводимыми фактами их щепетильность или честь, не обращая внимания на то, верны ли факты, или нет, если печать ставят перед дилеммой или искажать события, или замалчивать их—то свободе печати приходит конец, и если, милостивые государи, вы добиваетесь этого, то выносите нам обвинительный приговор!

„Подвиги Гогенцоллернов"[1]).

Кельн, 9 мая. Правительство господина фон-Гогенцоллерна желает, повидимому, в последние дни своего существования и существования прусского государства, оправдать полностью старую репутацию прусского и гогенцоллернского имени.

Кто не знает гейневской характеристики:

Ребенок с тыквой-головой,
С усищами, с седой косой,
Чьи крепки длинные ручонки,
Велик живот, кишки же тонки,—
Уродец подлинный...

Кто не знает вероломства, коварства, мошенничеств с наследствами, благодаря которым возвысилось то семейство капралов, которое носит имя Гогенцоллернов?

Всякий знает, как, так называемый, „великий курфюрст" (точно какой-нибудь „курфюрст" может быть „великим") совершил свое первое предательство по отношению к Польше: союзник Польши против Швеции, он внезапно перешел на сторону шведов, чтобы тем основательнее ограбить Польшу по Оливскому миру.

Всякий знает пошлую фигуру Фридриха I, скотскую грубость Фридриха-Вильгельма II.

Всякий знает, как Фридрих II, творец патриархального деспотизма, друг просвещения, вколачивавший его палочными ударами, продавал с аукциона свою страну французским дельцам; всякий знает, как он, в союзе с Россией и Австрией, совершил над Польшей грабеж, который еще и теперь, после революции 1848 г., остается позорным, несмытым пятном на немецкой истории. Всякий знает, как Фридрих-Вильгельм II закончил этот грабеж Польши и роздал награбленные польские национальные и церковные имущества своим царедворцам.

Всякий знает, как в 1792 г. он заключил коалицию с Австрией и Англией для подавления славной французской революции и вторгся во Францию; всякий знает также, как его „славное воинство" было с позором выгнано из Франции.

Всякий знает, что он покинул тогда своих союзников и поспешил заключить мир с французской республикой.

Всякий знает, как он, выдававший себя за паладина законного

---

[1]) „Новая Рейнская Газета", № 294, 10 мая 1849 г.

короля Франции и Наварры, скупил у французской республики по дешевой цене коронные драгоценности именно этого короля и таким образом нажился на несчастии своего „государя-брата".

Всякий знает, как он, чья жизнь была чисто гогенцоллернской смесью распутства и мистицизма, старческой похотливости и ребяческого суеверия, уничтожил свободу мысли Бишефсвердеровскими эдиктами.

Всякий знает, как его преемник, Фридрих-Вильгельм III „Справедливый", предал своих старых союзников за брошенный ему Наполеоном в подачку Ганновер.

Всякий знает, как он вслед затем предал Наполеона этим самым своим былым союзникам и, наемником Англии и России, напал на воплощенную в лице Наполеона французскую революцию.

Всякий знает, какой успех имело это нападение: в итоге неслыханное поражение „славного воинства" при Иене, внезапное моральное разложение всего государственного организма Пруссии, длинная цепь предательств, низостей и гнусностей прусских чиновников, вызывавших отвращение у Наполеона и его генералов.

Всякий знает, как в 1813 году Фридрих-Вильгельм II внушил прусскому народу красивыми словами и пышными обещаниями убеждение, что тот ведет против французов освободительную войну, между тем как дело в действительности шло о подавлении французской революции и о восстановлении старой монархии божьей милостью.

Всякий знает, как основательно забыты были прекрасные обещания, когда участники Священного Союза вступили 30 марта 1814 г. в Париж.

Всякий знает, что ко времени возвращения Наполеона с Эльбы энтузиазм народа совершенно остыл и что Гогенцоллерн должен был обещать конституцию (эдикт 22 мая 1815 г. за 4 недели до битвы при Ватерлоо), чтоб вызвать его снова к жизни.

Всякий помнит обещания германского союзного акта и венского заключительного акта: свобода печати, конституция и пр.

Всякий знает, как сдержал свое слово „справедливый" Гогенцоллерн: Священный Союз и конгрессы для угнетения народов, Карлсбадские постановления, цензура, полицейский деспотизм, господство дворянства, бюрократический произвол, кабинетская юстиция, преследования демагогов, массовые осуждения, финансовая расточительность—и никакой конституции.

Всякий знает, как в 1821 г. народу гарантировали неувеличение налогов и государственных долгов и как Гогенцоллерн сдержал свое слово, превратив общество морской торговли в тайный банк для ссуд государству.

Всякий знает, как Гогенцоллерн ответил на призыв французского народа в июльскую революцию: концентрацией войск на границе, обузданием собственного народа, подавлением движения в небольших немецких государствах и, наконец, порабощением этих государств под иго Священного Союза.

Всякий знает, как тот же самый Гогенцоллерн нарушил нейтралитет в русско-польскую войну, позволив русским пройти через Пруссию и напасть на поляков с тыла, предоставив в их распоряжение прусские арсеналы и магазины, дав каждому разбитому русскому корпусу надежное убежище в Пруссии.

Всякий знает, что все усилия этого князька из гогенцоллернского дома были, в согласии с целями Священного Союза, направлены на то, чтоб укрепить господство дворянства, бюрократии и военщины, чтоб грубой силой уничтожить—и не только в Пруссии, но и во всей Германии—всякое проявление свободы, всякую возможность влияния „ограниченного ума подданных" на правительство.

Всякий знает, что трудно найти правление, при котором подобные милые планы проводились бы с большей грубостью и насилием, чем правление Фридриха-Вильгельма III, особенно в эпоху 1815—1840 г.г. Никогда и нигде не произносилось столько приговоров и не производилось столько арестов, никогда крепости не были так полны политических заключенных, как при этом „справедливом" монархе. Особенно, если вспомнить, какими невинными простаками были эти демагоги.

Надо ли еще говорить о том Гогенцоллерне, который, по словам монаха из Ленина, „будет последним в своем роду"? Говорить ли о возрождении христианско-германского великолепия и о воскресении злой финансовой нужды, об ордене Лебедя и о суде верховной цензуры, об объединенном ландтаге и о генеральном синоде, о „клочке бумаги" и о тщетных попытках занять деньги и обо всех прочих завоеваниях достославной эпохи 1840—1848 г.г.? Доказывать ли на основании Гегеля, почему именно комической фигурой должна замыкаться галлерея Гогенцоллернов?

Этого не нужно: приведенных данных достаточно, чтобы вполне охарактеризовать гогенцоллернски-прусское имя. Был, правда, момент, когда потускнел блеск этого имени; но с тех пор, как семизвездие Мантейфель и К° окружает корону, все былое великолепие вернулось обратно. Пруссия снова, как и встарь,—наместничество русского царя; снова Гогенцоллерн князек перед самодержцем всероссийским и великий князь перед малыми боярами Саксонии, Баварии, Гессен-Гомбурга и т. д.; снова ограниченному уму подданных возвращено его старое право слушаться приказов. „Мое славное воинство"—пока оно не требуется самому „православному царю"—может восстанавливать

в Саксонии, Бадене, Гессене и Пфальце порядок, вот уж 18 лет царящий в Варшаве, и может в собственной стране и в Австрии склеивать кровью подданных разломанные троны. Данное прежде, в минуту паники и нужды, слово так же мало беспокоит нас, как наших почивших в бозе предков; а как только мы справимся у себя дома, то при звуках труб, с развернутыми знаменами, мы двинемся на Францию, завоюем страну, где растет лоза Шампани, и разрушим великий Вавилон, мать всяческого греха.

Таковы планы наших высоких правителей; вот верная гавань, куда держит курс наш благородный Гогенцоллерн. Отсюда все эти бесчисленные октроирования и государственные перевороты; отсюда повторные пинки в сторону трусливого Франкфуртского собрания, отсюда осадные положения, аресты и преследования; отсюда вступление прусской солдатчины в Дрезден и в Южную Германию.

Но существует еще сила, с которой, правда, мало считаются господа из Сан-Суси, но громовое слово которой должно, однако, раздаться. Это—**народ**, народ который в Париже, на Рейне, в Силезии, в Австрии ждет, скрежеща зубами от ярости, момента восстания и который – кто знает, как скоро—воздаст всем Гогенцоллернам и всем великим и малым князькам то, что им следует.

К. Маркс.

Карл Маркс. Критика политической экономии.

Первый выпуск. Берлин. 1859 Франц Дункер.

I.

Во всех областях науки немцы давно показали себя не хуже других цивилизованных народов, в значительной части этих областей они доказали даже свое превосходство над большинством последних. Только одна наука не могла указать до сих пор ни одного немецкого имени среди своих корифеев: именно политическая экономия. Причина этого понятна. Политическая экономия есть теоретический анализ современного буржуазного общества и предполагает поэтому развитые буржуазные отношения. Но реформационные и крестьянские войны, и особенно тридцатилетняя война, сделали такие отношения невозможными в Германии на целые столетия.

Отделение Голландии от империи оттеснило Германию от мировой торговли и направило с самого начала ее промышленное развитие по руслу мелко-буржуазных отношений. И пока немцы так медленно и с таким трудом оправлялись от опустошений гражданских войн, пока они растрачивали свою гражданскую энергию, которая

никогда не была особенно велика, в бесплодной борьбе против таможенных застав и бессмысленных торговых уставов, которым каждый князек и каждый имперский барон подчиняли промышленность своих подданных, пока имперские города погибали в мелочной склоке цехов и патрициата,—за это время Голландия, Англия и Франция завоевали первые места в мировой торговле, основывали колонию за колонией и развили свою мануфактурную промышленность до высочайшего расцвета. В конце этого периода Англия, благодаря открытию пара, придавшего впервые ценность ее залежам угля и железа, стала во главе современного буржуазного развития. Но до тех пор, пока приходилось вести борьбу против таких нелепых пережитков средневековья, как те, которые до 1830 г. сковывали материальное буржуазное развитие Германии, никакая немецкая политическая экономия не была возможна. Только с основанием таможенного союза немцы достигли такого положения, при котором только они вообще могли **понимать** политическую экономию. С этих пор действительно начался импорт английской и французской экономии для пользы немецкой буржуазии. Скоро ученые и бюрократы овладели импортированным материалом и придали ему такую обработку, которая не делает особенной чести „немецкому духу". Пестрая компания пишущих рыцарей промышленности, купцов, профессоров и бюрократов создала немецкую экономическую литературу, которая, по своей вздорности, дилетантизму, бессодержательности, многословности и бесцеремонности в присвоении чужих мыслей, имеет свою аналогию только в немецком романе. В кругах людей практического направления развилась сначала протекционистская школа промышленников, чей авторитет, Лист, все еще является самым значительным из того, что произвела немецкая буржуазная экономическая литература, хотя все его прославленные произведения списаны у француза Ферье, духовного родоначальника континентальной системы. В противовес этому направлению возникла в сороковых годах школа свободной торговли купцов прибалтийских провинций, повторявшая с детской, но не бескорыстной доверчивостью, аргументы английских фритрэдеров. Наконец, профессора и бюрократы, которые взяли на себя теоретическую разработку дисциплины, представляли из себя, сухих собирателей фактов без критики, как господин Рау, умничающих спекулянтов, переводивших предложения иностранных авторов на язык плохо понятого ими Гегеля, вроде господина Штейна, или собирателей крох с чужого стола — беллетристов в „культурно-исторической" области, как господин Риль. Из всего этого в конце концов получилась камералистика, какая-то каша из всякой всячины, политая эклектически-экономическим соусом, нечто вроде того, что требуется знать кандидату прав к государственному экзамену.

В то время, как буржуазия, профессура и бюрократия в Германии трудились над тем, чтобы сколько-нибудь понять и вытвердить наизусть, как неприкосновенные догмы, первые элементы англо-французской экономии, выступила на историческую сцену немецкая пролетарская партия. Все ее теоретическое существо сложилось на основе изучения политической экономии, и с момента ее выступления датирует также научная самостоятельно-немецкая политическая экономия. Эта немецкая экономия основывается по преимуществу на материалистическом понимании истории, основные черты которого кратко изложены в предисловии к вышеуказанному произведению. Это предисловие в основной своей части было уже напечатано в „Народе", поэтому мы и отсылаем туда нашего читателя [1]). Не для одной только политической экономии, а для всех исторических наук (а все науки, не относящиеся к естествознанию, являются историческими) явилось революционирующим положение, „что способ производства материальной жизни обусловливает собой социальный, политический и духовный процессы жизни вообще", что все общественные и государственные отношения, все религиозные и правовые системы, все теоретические воззрения, всплывающие в ходе истории, могут быть поняты только тогда, когда будут изучены материальные условия жизни каждой соответствующей эпохи и первые выведены из этих материальных условий. „Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание". Эта мысль настолько проста, что она должна была бы казаться чем-то само собой разумеющимся для всякого, кто не завяз в идеалистическом обмане. Но выводы из нее революционны не только для теории, но и для практики. „На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими отношениями производства или с (что является только юридическим выражением для этого) отношениями собственности, внутри которых они до того развивались. Из форм развития этих производительных сил эти отношения становятся оковами последних. Тогда наступает период социальных революций. С изменением экономического базиса медленно или быстро меняется и вся огромная надстройка... Буржуазные отношения производства являются последней антагонистической формой общественного процесса производства, антагонистичной не в смысле индивидуального антагонизма, антагонизма, выросшего из общественных условий жизни индивидуумов. Но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают одновременно материальные условия для решения этого антагонизма". При дальнейшем развитии нашего материалистического

[1]) См. № 5, июнь 1859, ст. Карла Маркса.

тезиса и его применении к современности нам открывается таким образом перспектива великой, величайшей революции всех времен.

Однако, при более внимательном рассмотрении, сейчас же оказывается, что на первый взгляд как будто простая мысль, что сознание людей обусловливается их бытием, а не наоборот, уже непосредственно вытекающими из нее выводами наносит удар всякому идеализму, даже самому замаскированному. Этим положением отрицаются все привычные и традиционные воззрения на все историческое. Им опрокидываются все привычные приемы политического мышления; патриотическое благородство с негодованием отвергает такое бесхарактерное воззрение. Новое мировоззрение наталкивается поэтому на оппозицию не только в среде представителей буржуазии, но и в массе французских социалистов, намеревающихся потрясти мир при помощи магической формулы: liberté, égalité, fraternité. Но особенно велико было негодование, вызванное этой теорией в среде немецких вульгарно-демократических крикунов. Тем не менее последние делали усердные попытки плагиаторски использовать новые идеи, обнаруживая каждый раз свое редкое непонимание их.

Развитие материалистического понимания хотя бы на одном единственном историческом примере представляло собой научную задачу, для выполнения которой потребовались бы долголетние спокойные исследования, ибо ясно, что одной фразой тут ничего не сделаешь и что только при помощи массового, критически проверенного, в совершенстве усвоенного исторического материала, можно успешно разрешить такую задачу. Февральская же революция бросила нашу партию на политическую авансцену и сделала для нее, таким образом, невозможным преследование чисто научных целей. Тем не менее основное воззрение проходит красной нитью через все литературные произведения партии. В них одних в каждом отдельном случае доказывается, что политическое выступление всегда являлось результатом материальных импульсов, а не тех фраз, которыми оно сопровождается, что, наоборот, политические и юридические фразы в такой же мере являются результатом материальных импульсов, как и политическое выступление и его результаты.

С наступлением после поражения революции 1848—1849 г.г. момента, когда становилось все более и более невозможным влиять на политические события в Германии из-за границы, наша партия предоставила всецело вульгарной демократии заниматься эмигрантскими дрязгами, ибо в сфере практической деятельности только одна эта возможность и осталась. И вот в то время, когда последняя с наслаждением отдавалась этой плодотворной деятельности, сегодня таская друг друга за волосы с тем, чтобы завтра брататься, а послезавтра

снова стирать все свое грязное белье перед всем миром, в то время, как эта демократия пробиралась, вымаливая подаяния, по Америке с тем, чтобы вслед за этим начать новый скандал по поводу распределения нескольких добытых талеров — наша партия была рада воспользоваться наступившим затишьем, чтобы снова отдаться своим научным исследованиям. Ее огромное преимущество состояло в том, что она имела своим теоретическим базисом научное мировоззрение, разработка которого ее всецело поглощала. Уже по одному этому она не могла так низко опуститься, как „великие люди“ эмиграции.

Первым плодом этих исследований является лежащая перед нами книга.

II.

В таком сочинении, как то, которое лежит перед нами, не может быть и речи о неметодической критике отдельных глав из политической экономии, о несистематическом рассмотрении тех или других экономических контроверз. Напротив, это сочинение с самого начала построено на систематическом изложении всего комплекса экономических наук, на связном развитии законов буржуазного производства и обмена. А так как экономисты являются ничем другим, как толкователями и апологетами этих законов, то это развитие является одновременно критикой всей экономической литературы.

Со времени смерти Гегеля вряд ли была сделана попытка развить какую-нибудь науку в ее собственной, внутренней связи. Официальная гегелевская школа усвоила себе из диалектики учителя только манипуляцию самых простых приемов, которую она применяла ко всему, что попадалось, и к тому еще часто с неловкостью, доходящей до смешного. Все наследство Гегеля сводилось для нее к простому шаблону, при помощи которого обрабатывалась любая тема, и к регистру слов и оборотов, имевших своей единственной задачей восполнить собой, когда требуется, недостаток мыслей и положительных знаний. Так сложился тот тип гегельянцев, о которых один боннский профессор сказал, что они ничего не понимали, но обо всем могли писать. Конечно, ценность их работ соответствовала их уровню понимания. Однако эти господа, несмотря на свою самонадеянность, в глубине души чувствовали настолько свою слабость, что не брались за всякие задачи; старая научная китайщина удержала свои позиции благодаря своему превосходству в отношении положительного знания. И только когда Фейербах своей критикой нанес сокрушительный удар спекулятивной идее, гегельянство постепенно стало сходить на-нет, при чем могло казаться, что в науке снова возрождается старая метафизика с ее неподвижными категориями.

Это было вполне естественно. После режима гегелевских диадохов, представлявшего собой царство бессодержательной фразы, наступила естественно эпоха, в которой положительное содержание науки снова превалировало над ее формальной стороной. Но Германия набросилась одновременно с необычайной энергией на естественные науки, что соответствовало ее могучему буржуазному развитию со времени 1848 г., и по мере того, как эти науки, в которых спекулятивное направление никогда не играло особенной роли, становились модой, прокладывал себе снова дорогу старый метафизический метод мышления, вплоть до крайне плоского рационализма Вольфа. Гегель был забыт, развился новый естественно-научный материализм, который теоретически почти ничем не отличается от материализма XVIII столетия, имея перед последним в большинстве случаев только преимущество использования более богатого естественно-научного, именно химического и физиологического материала. Этот ограниченный филистерский способ мышления докантовского периода мы находим воспроизведенным вплоть до его самых уродливых форм у Бюхнера и Фогта, и даже Молешотт, который клянется Фейербахом, но каждую минуту забавнейшим образом запутывается среди самых обыкновенных категорий. Неуклюжая кляча обыденного буржуазного разума растерянно останавливается перед рвом, отделяющим сущность от явления, причину от следствия, но кто собирается охотиться на чрезвычайно изрезанной почве спекулятивного мышления, тот именно не должен выезжать на кляче.

Тут, однако, пришлось решать другой вопрос, который не имеет отношения к политической экономии, как таковой. Какой метод научного исследования следовало избрать? С одной стороны, имелась гегелевская диалектика во всей ее абстрактной „спекулятивной“ форме, какой ее оставил Гегель, с другой стороны, имелся обычный, ныне снова ставший модным, по преимуществу рационалистически-метафизический метод, которому и следовали буржуазные экономисты в своих толстых, лишенных системы, книгах. Этот последний подвергся такой убийственной критике со стороны Канта и в особенности со стороны Гегеля, что только умственная лень и отсутствие другого простого метода делали возможным его дальнейшее практическое существование. С другой стороны, гегелевский метод в его конкретной форме был абсолютно непригоден. Он был по преимуществу идеалистическим, а тут речь шла о развитии миросозерцания, которое должно было быть более материалистическим, чем все предыдущие. В то время, как первый исходил из чистого мышления, здесь надо было исходить из упрямых фактов. Метод, по собственному признанию, „от ничего через ничто пришел к

ничему", был в этой форме здесь абсолютно неумстен. Тем не менее из всего имеющегося в наличности логического материала это было единственное, что могло бы по крайней мере служить точкой исхода.

Против этого метода не было сделано серьезных возражений, он не был опровергнут: никто из противников великого диалектика не мог пробить бреши в его гордом здании. Он был забыт потому, что гегелевская школа не умела применять его. В первую голову поэтому надо было подвергнуть гегелевский метод систематической критике.

Преимущество способа мышления Гегеля перед способом мышления всех других философов коренится в том огромном историческом чутье, которое лежало в основе первого. Несмотря на абстрактность и идеалистичность формы, ход его мыслей всегда развертывался параллельно ходу истории, и последний должен был служить только проверкой для первого.

Если действительное отношение между мышлением и действительностью было этим представлено в превратном виде и поставлено на голову, то все же таким путем проникло положительное содержание во все области философии, тем более, что Гегель в отличие от своих учеников не делал добродетели из невежества, а был одним из образованнейших людей всех времен. Он первый пытался доказать внутреннюю связь в развитии исторического процесса. И как бы причудливыми ни казались нам теперь кое-какие мысли его философии истории, основная концепция этого произведения своей грандиозностью может вызвать удивление и ныне, особенно если сравним Гегеля с его предшественниками или с теми, которые после него позволяли себе общие размышления об истории. В его феноменологии, в эстетике, в истории, в философии—повсюду красной нитью проходит это величественное понимание, везде вопросы рассматриваются исторически, в определенной, хотя и абстрактно извращенной связи с исторической действительностью.

Это делающее эпоху понимание истории явилось непосредственной теоретической предпосылкой ее нового материалистического понимания и уже благодаря этому была дана точка опоры для логической методы. Если эта забытая диалектика уже на почве „чистого мышления" могла вести к таким результатам, если она к тому же как бы играючи разделалась со всей старой логикой и метафизикой, то она во всяком случае не могла представлять собой одну только софистику и буквоедство. Но критика этой методы была нелегкой задачей, перед которой отступала и теперь еще отступает вся официальная философия.

Маркс был и остается единственным, который мог взять на себя

задачу выделить из гегелевской логики то ядро, которое содержат в себе действительные открытия Гегеля в этой области, и выработать диалектический метод, освобожденный от его идеалистической оболочки, в той простой форме, в которой он только и является правильной формой развития мыслей. Выработку метода, который лежит в основе марксовской критики политической экономии, мы считаем результатом, имеющим едва ли меньшее значение, чем основное материалистическое воззрение.

Критика политической экономии и после выбора метода могла быть построена двояким образом: исторически или логически. Так как в истории, как и в ее литературных отражениях, развитие в общем и целом идет от более простых к более сложным отношениям, то литературно-историческое развитие политической экономии давало естественную руководящую нить, которой критика могла следовать, так что при этом экономические категории в общем и целом следовали бы в том же порядке, как и в логическом развитии. Эта форма на первый взгляд имеет преимущество большей ясности, так как прослеживается действительное развитие, на самом же деле такое построение способствовало бы в лучшем случае только большей популярности изложения. Историческое развитие идет часто скачками и зигзагообразно и его пришлось бы проследить во всех его перипетиях, благодаря чему не только пришлось бы слишком часто уделять место и малоценному материалу, но и пришлось бы часто прерывать ход мыслей. К тому же нельзя писать историю политической экономии без истории буржуазного общества, а последняя удлинила бы работу до бесконечности, так как в этой области нет никакого мало-мальски обработанного материала. Логический метод исследования являлся поэтому единственно подходящим. Последний, однако, есть тот же исторический метод, только освобожденный от его исторической формы и от нарушающих стройность изложения исторических случайностей. Логический ход мыслей должен начать с того, с чего начинает и история, и его дальнейшее развитие будет представлять собой не что иное, как отражение, в абстрактной и теоретически последовательной форме, исторического процесса, исправленное отражение, но исправленное соответственно законам, которым нас учит сама историческая действительность, ибо логический способ исследования дает возможность изучить всякий момент развития в его самой зрелой стадии, в его классической форме.

При этой методе исследования мы исходим из первого и наиболее простого отношения, которое нам дано исторически или фактически, следовательно из первого экономического отношения, которое мы находим. Это отношение мы расчленяем.

То обстоятельство, что это есть отношение, говорит уже за

то, что оно имеет две стороны, которые относятся друг к другу. Каждую из этих сторон мы подвергаем изолированному рассмотрению и таким образом познаем форму их взаимоотношения, их взаимодействия. При этом возникают противоречия, которые требуют разрешения. Но так как мы здесь рассматриваем не абстрактный процесс мысли, который происходит только в нашей голове, а действительный процесс, совершавшийся в известный исторический момент или даже продолжающий еще совершаться в настоящее время, то и эти противоречия будут развиваться на практике и вероятно найдут свое решение. Мы проследим способ этого разрешения и найдем, что оно вызвано установлением нового отношения, две противоположных стороны которого мы должны будем развить и т. д.

Политическая экономия начинает с товара, с того момента, когда продукты—индивидуумами или первобытными общинами—обмениваются друг против друга. Продукт, вступающий в обмен, является товаром. Но он является товаром только потому, что в нем (в вещи, в продукте) воплощается отношение двух лиц или общин, отношение между производителем и потребителем, которые здесь больше не сливаются в одном лице. Тут мы сразу имеем перед собой пример своеобразного явления, красной нитью проходящего через всю политическую экономию и породившего ужасную путаницу в головах буржуазных экономистов: в политической экономии речь идет не о вещах, а об отношениях между лицами, в последней же инстанции между классами; но эти отношения всегда связаны с вещами и проявляются, как вещи. Эта зависимость, слабое сознание которой, конечно, мелькало уже в отдельных случаях у того или другого экономиста, была впервые раскрыта Марксом в ее значении для всей политической экономии, благодаря чему он мог труднейшие вопросы так упростить и так ясно изложить, что они теперь будут понятны даже буржуазным экономистам.

Если мы будем рассматривать товар в его различных отношениях, и именно товар в его совершенно развитой форме, а не в начале его трудного пути развития, в стадии первоначальной меновой торговли между двумя первобытными общинами, то он нам предстанет под обоими углами зрения: потребительной стоимости и меновой стоимости, и тут мы уже вступаем в область экономических дебатов.

Если кто-либо хочет убедиться на ярком примере, что немецкий диалектический метод на его нынешней ступени развития настолько же по крайней мере превосходит старый, плоско-болтливый, метафизический, насколько современные железные дороги превосходят средства сообщения средних веков, то пусть он прочтет у Адама Смита или у какого-либо другого официального экономиста с именем, соответствующие места и он увидит, как эти господа бились над потре-

бительной и меновой стоимостью и как трудно им дается разграничить их между собой и понять специфические особенности каждой из них. Ему остается только затем сравнить с этим ясное, простое развитие этих проблем у Маркса.

После того, как потребительная и меновая стоимость проанализированы, исследуется товар, как непосредственное единство обоих, след. товар в той форме, в какой он вступает в процесс обмена. Какие противоречия тут возникают, читатель найдет на стр. 20, 21. Заметим только, что эти противоречия имеют не только абстрактно-теоретический интерес, но одновременно отражают и те трудности, которые возникают из природы непосредственного менового отношения, из простой меновой торговли, отражают те невозможности, в которые неизбежно упирается эта примитивная форма обмена. Разрешение этих невозможностей находится в том, что свойство представлять меновую стоимость всех других товаров переносится на специальный товар—деньги. Деньги или простое обращение рассматриваются затем во второй главе и именно: 1) деньги как мерило стоимости, при чем тут же находит свое более точнее определение измеряемая в деньгах стоимость, цена, 2) как средство обращения, 3) как единство обоих определений, как реальные деньги, как представитель всего материального буржуазного богатства. Этим заканчивается первый выпуск, оставляя для второго выпуска вопрос о переходе денег в капитал.

Отсюда можно видеть, что если руководится этим методом, то логическое развитие вовсе не обязано держаться в области чистой абстракции. Наоборот, оно требует исторической иллюстрации, постоянного соприкосновения с действительностью. Эти иллюстрации и даны здесь в огромном количестве, с одной стороны, в виде указаний на действительный исторический ход вещей на разных ступенях общественного развития, с другой стороны,—в виде указаний на экономическую литературу, имеющих целью проследить с самого начала процесс выработки ясных определений экономических отношений. Критика отдельных, более или менее односторонних или непоследовательных, воззрений дана уже при развитии логической концепции и может быть в исторической части только кратко резюмирована.

В третьей статье мы перейдем к экономическому содержанию самой книги.

Письмо К. Маркса Кугельману.

23 февраля 1865.

1 Modena Villas, Maitland Park Haverstock Hill.-London.

Уважаемый друг!

Я вчера получил Ваше очень интересное для меня письмо и буду теперь отвечать по пунктам.

Прежде всего я хочу Вам кратко изложить мое отношение к Лассалю. В период его агитации в наших отношениях наступило охлаждение—1) вследствие его самохвальства и саморекламирования, одновременно с чем он самым бессовестным образом обкрадывал мои etc. произведения, 2) потому что я осуждал его политическую тактику, 3) потому что еще до открытия его агитации я ему здесь, в Лондоне, подробно объяснил и „доказал", что говорить о непосредственном социалистическом вмешательстве такого государства, как Пруссия,—бессмыслица. В своих письмах ко мне (от 1848—1863), точно так же как и при личных встречах со мной, он всегда объявлял себя сторонником представляемой мной партии. Когда он в Лондоне (в конце 1862 г.) убедился, что нельзя со мной играть в прятки, он решил провозгласить себя „рабочим диктатором" против меня и старой партии. Тем не менее, я воздавал должное его агитаторским заслугам, хотя к концу его непродолжительной карьеры и самая эта агитация начинала казаться мне все более и более двусмысленной. Его неожиданная смерть, старая дружба, полные отчаяния письма графини Гатцфельд, возмущение по поводу трусливой наглости, проявленной буржуазными газетами по отношению к человеку, которого они так боялись при жизни,—все это побудило меня выступить публично с кратким заявлением, не относившимся, однако, к содержанию общественной деятельности Лассаля, против жалкого Блинда (г-жа Гатцфельд послала это заявление в „Полярную Звезду"). По тем же основаниям и в надежде, что казавшиеся мне опасными элементы можно будет удалить, я вместе с Энгельсом обещали наше сотрудничество в „Социал-Демократе" (в нем был напечатан перевод „Адреса", и, согласно желанию, редакции, после смерти Прудона, я поместил статью о последнем. Когда Швейцер прислал удовлетворительную программу своей редакции, мы разрешили ему назвать нас в числе сотрудников. Дальнейшей гарантией для нас служило то обстоятельство, что Либкнехт был неофициальным членом редакции. Однако, скоро обнаружилось,—доказательства этого будут в наших руках,—что Лассаль на деле редал партию. Он заключил форменный договор с Бисмарком (при чем, конечно, никаких гарантий выполнения договора со стороны Бисмарка у него не было). В конце сентября 1864 г. он должен был отправиться в Гамбург с тем, чтобы в сотрудничестве с безумным Шрамом и полицейским шпионом Марром „принудить" Бисмарка к аннектированию Шлезвиг-Гольштейна, т.-е. провозгласить это присоединение от имени „рабочих". Бисмарк с своей стороны обещал всеобщее избирательное право и некоторые шарлатанские мероприятия quasi-социалистического характера. Жаль, что Лассалю не удалось довести до конца эту комедию! Она бы поставила его в дьявольски смешное и глупое положение. Таким образом, раз-на-всегда был бы этим положен конец всем попыткам такого рода!

Лассаль мог так сбиться с пути потому, что он был реальным политиком на манер господина Микеля, только более крупного калибра и с более широкими задачами! (by the by, я давно уже не обманывался насчет Микеля и объяснял себе его поведение тем, что национальный союз является для маленького ганноверского адвоката прекрасным поводом создать себе резонанс в Германии за пределами своего отечества и усугубленную таким образом „реальность" своего собственного „я" использовать потом внутри ганноверского отечества, к тому же разыгрывать под „прусским" покровительством роль „ганноверского" Мирабо). Подобно тому как Микель и его нынешние друзья ухватились за провозглашенную прусским принцем-регентом „новую эру", чтобы начать свою национальносоюзническую шумиху и цепляться за идею „прусского главенства", подобно тому, как они вообще стали развивать свою „гражданскую гордость" под прусским покровительством, точно так же и Лассаль хотел сыграть роль пролетарского маркиза Позы по отношению к юккермарскому Филиппу Второму, Бисмарк должен был взять на себя роль сводника между ним и прусским королем. Он подражал только господам из Национального Союза. Но если те призывали прусскую „реакцию" в интересах среднего класса, то он обменивался рукопожатиями с Бисмарком в интересах пролетариата. Те господа имеют постольку большее оправдание, чем Лассаль, поскольку буржуа привык рассматривать, как „реальность" то, что лежит перед самым носом, и поскольку этот класс везде заключил компромисс даже с феодализмом. Рабочий же класс по самой природе вещей должен быть честно „революционным".

Для театрально-тщеславной натуры, как Лассаль (которого, однако, нельзя было подкупить такими пустяками, как теплые местечки, бюргермейстерская должность и т. д.), была соблазнительна перспектива крупного достижения непосредственно в интересах рабочего класса, которым последний обязан был бы Фердинанду Лассалю!

Он слишком плохо знал действительные экономические условия

такого достижения, чтобы быть критически правдивым по отношению к самому себе! Немецкие же рабочие, с другой стороны, были слишком „деморализованы" той гнусной „реальной политикой", в силу которой немецкий буржуа терпел реакцию 1849—1859 г.г. и спокойно взирал, как тупеет народ, чтобы они не аплодировали базарно-крикливому спасителю, сулившему им, что они одним скачком могут очутиться в обетованной земле.

Итак, я возвращаюсь к оборванным выше фактическим сообщениям. Едва „Социал-Демократ" был основан, как скоро обнаружилось, что старая Гатцфельд решила выполнить „завещание" Лассаля. Она находилась в сношениях с Бисмарком при посредстве Вагенера (из „Kreuzzeitung"). Она предоставила в распоряжение первого „Рабочий Союз" (Всеобщий Германский), журнал „Социал-Демократ" и т. д. Аннексия Шлезвиг-Гольштейна должна была быть прокламирована в „Социал-Демократе", Бисмарк должен был быть вообще признан патроном и т. д. Этот план потерпел фиаско благодаря тому, что мы имеем Либкнехта в Берлине и в редакции „Социал-Демократа". Хотя мне и Энгельсу не нравилось направление журнала: господствовавшие в нем подобострастный культ Лассаля, кокетничанье при всяком удобном случае с Бисмарком и т. д., все же, естественно, было важнее пока публично поддерживать его, чтобы воспрепятствовать интригам старой Гатцфельд и полной компрометации рабочей партии. Мы делали поэтому bonne mine à mauvais jeu, хотя privatim мы неизменно настаивали в наших письмах перед редакцией „Социал-Демократа", что журнал должен объявить Бисмарку не менее решительную войну, чем прогрессистам. Мы даже терпеливо сносили, когда напыщенный дурак Бернгард Беккер, принимающий совершенно всерьез завещанную ему Лассалем важность, интриговал против International Workingmen's Association.

Однако статьи господина Швейцера стали все более и более обнаруживать уклон в сторону Бисмарка. Я ему раньше писал, что „по вопросу о праве коалиций" можно прогрессистов застращать, но что прусское правительство никогда не согласится на полную отмену законов о коалициях, ибо это пробило бы брешь в системе бюрократизма, ускорило бы процесс духовного созревания рабочего класса, опрокинуло бы положение о челяди и привело бы к упразднению права дворянства на применение телесного наказания в деревне и т. д. и т. д.—чего Бисмарк никогда не может допустить и что вообще не совместимо с устоями прусского государства, зиждущегося всецело на бюрократии. Я прибавил, что, если плата отвергнет законы о коалициях, правительство прибегнет к фразам (к такого рода фразам, напр., что социальный вопрос требует более „основательных" мероприятий), чтобы сохранить их. Все это подтвердилось.

А как поступил господин Ф. Швейцер? Он написал статью в защиту Бисмарка и весь свой воинственный пыл пускает в ход против таких бесконечно-малых величин, как Шульце, Фаухер и т. п. Я думаю, что Швейцер и другие руководятся в своей тактике честными побуждениями, но они—реальные политики. Они хотят считаться с реальными отношениями и эту привилегию реальной политики они не хотят уступить одному Микелю с сотоварищами (последние видимо считают тесное единение с прусским правительством своим исключительным правом). Они знают, что рабочие органы и рабочее движение существуют в Пруссии (а потому и во всей Германии) только par la grace de la police. Они хотят использовать отношения так, как они реально существуют, не хотят раздражать правительство и т. д., точь в точь как наши реальные политики—республиканцы, которые хотят „перенять" в свою республику Гогенцоллерна в качестве императора. Но так как я не „реальный политик", то я счел необходимым вместе с Энгельсом публично заявить о нашем выходе из состава сотрудников „Социал-Демократа" (заявление наше вы скоро прочтете в той или другой газете).

Вы видите отсюда также, почему мне в данный момент нечего делать в Пруссии. Тамошнее правительство прямо отказало мне в репатриации в Пруссии. Агитация мне была бы разрешена только в том случае, если бы она приняла форму, желательную г-ну Бисмарку.

Я в тысячу раз более предпочитаю вести агитацию здесь посредством „Intern. Assoc.". Влияние на английский пролетариат тут непосредственно, и это обстоятельство имеет огромное значение. Мы stir*) здесь теперь general Suffrage Question**), который здесь, конечно, имеет совсем другое значение, чем в Пруссии.

В общем успех этой „Association", как здесь, так и в Париже, Бельгии, Швейцарии и Италии, превзошел все ожидания. Только в Германии мне естественно делают оппозицию последователи Лассаля, которые

1) по глупости боятся умаления их собственного значения;

2) знают мое отрицательное отношение к тому, что немцы называют „реальной политикой" (это—тот сорт „реальности", которому Германия обязана своей отсталостью в сравнении с другими цивилизованными странами).

Так как всякий человек, получив карточку за один шиллинг, может стать членом Association, так как французы избрали эту форму индивидуального членства (ditto—бельгийцы), ибо закон им запре-

*) Двигаем.

**) Вопрос о всеобщем избирательном праве.

щает вступать в наше общество, как ассоциацию, и так как таково же и положение вещей в Германии, то я теперь решил предложить моим друзьям в разных местах Германии организовать в каждом месте маленькие общества, все равно из скольких членов, каждый член которых получил бы английскую членскую карточку. Так как английское общество существует на законном основании, то ничто не мешает такому образу действия даже во Франции. Вы бы меня обязали, если бы и вы со своей стороны побудили тех, с которыми вы приходите в соприкосновение, связаться таким образом с Лондоном.

Благодарю вас за рецепт. По странной случайности за три дня до его прибытия произошел новый приступ отвратительной болезни, так что рецепт прибыл весьма кстати.

Через несколько дней я вам вышлю еще 24 экземпляра „Адреса". Вынужден прервать письмо вследствие посещения одного друга, и так как мне хочется отправить письмо немедленно, то я откладываю ответ на другие пункты вашего письма до следующего раза.

К. Маркс.

Маркс и младогегельянцы.

Маркс сказал однажды, что каждый из нас зависит больше от внешних обстоятельств, чем от своей собственной воли. Какой-то кантианец, или ницшеанец, или иного рода путаник нашел, впрочем, что это—тривиальность. Достаточно, однако, что это истина.

Среди обстоятельств, оказавших решительное влияние на развитие Карла Маркса, приходится совершенно исключить то, которое, может быть, первое приходит в голову, именно—его еврейское происхождение, имевшее столь огромное значение даже для таких людей, как Гейне и Лассаль. Но тем рельефнее выдвигается двоякого рода обстоятельство, заключающее в себе как будто противоречие, именно: решающее значение для Маркса имело то, что он был уроженец германской провинции, глубоко перепаханной плугом великой французской революции, как и то, что он происходил из семьи, совершенно чуждой революционных воззрений.

Его отец был прусским патриотом, что девяносто лет назад звучало, разумеется, гораздо пристойнее, чем в наше время. Это был человек такого склада, с каким старшие из нас могли иметь еще дело в лице Вальдека и Циглера. К тому же это был приятный и чрезвычайно симпатичный, хотя, правда, мягкий и слабый человек, который с тяжелой тревогой взирал на „демона", сидевшего в его любимом сыне. И когда молодой студент, проведя весело, может быть, даже слишком весело несколько семестров в Бонне на Рейне, сверх того, обручился с красивейшей девушкой своего родного города, Трира, то у доброго, рассудительного старика закружилась несколько голова и он отправил пылкого, бурного юношу в Берлин, чтобы там поостыть и остепениться.

Молодой Маркс неохотно ехал в прусскую столицу. Он любил свою солнечную родину, он, как и Энгельс, был всегда немножко рейнским партикуляристом, что можно заметить еще даже в их позднейших работах, вплоть до их отношений к Лассалю и к агитации Лассаля; за этот предрассудок они были наказаны тем, что влиятельнейшие душеприказчики их духовного наследия рекрутиро-

вались не из Рейнской области, а, главным образом, из тех диких племен за-Эльбского и за-Вислинского края, на которые они привыкли глядеть не без высокомерия. В Берлин Маркса не влекла нисколько и гегелевская философия: она была ему совершенно незнакома, и только случай свел его с кружком берлинских младогегельянцев, собиравшихся обыкновенно в одном „докторском клубе".

Клуб этот состоял из доцентов, учителей, писателей, находившихся в первом расцвете молодости: Рутенберг, которого Карл Маркс называет интимнейшим из своих берлинских друзей, был учителем в кадетском корпусе, Бруно Бауэр—приват-доцентом теологии, Карл Фридрих Кёппен—учителем столичного реального училища, Эдуард Мейен—издателем литературного журнала. Впоследствии, когда Маркс уже покинул Берлин, сюда присоединился Макс Штирнер, преподававший в одной женской гимназии. Их духовным главой был Бруно Бауэр, готовившийся как раз в то время, когда с ним познакомился Маркс, к своей знаменитой, эпохосозидательной критике евангелий. Его предшественник, Давид Штраус, принимал еще многое в евангелиях за действительно историческое сообщение о жизни Иисуса, а самого Иисуса признавал исторической личностью; в важнейших пунктах он принимал наличие исторического ядра, а мифологические элементы евангелия он объяснял бессознательным творчеством первых христианских общин. Бруно Бауэр же доказал, что в евангелиях не имеется ни атома исторического содержания, что все в них—свободное литературное творчество евангелистов; он доказал, что христианская религия, в качестве всемирной религии, не внедрилась извне в античный, греко-римский мир, а явилась самым подлинным продуктом этого мира. Он, таким образом, проложил ту дорогу, идя по которой только и можно было научно исследовать возникновение христианства. И заслугу его нужно признать тем безоговорочнее, что придворный, модный и салонный теолог Гарнак, фальсифицирующий в настоящее время, в интересах правящих классов, евангельскую историю, пытается в последнем выпуске „Preussische Jahrbücher" доказать „негодность" дальнейшей работы на пути, проложенном Бруно Бауэром.

В то время, когда эти идеи стали зреть в голове Бруно Бауэра, Маркс был его неразлучным спутником, и сам Бруно Бауэр не желал себе лучшего соратника, чем этот, бывший на девять лет моложе, друг его. Чтобы изобразить возникновение христианства, как дух основного осадка античного мира, надо было прежде всего основательно изучить греко-римские философские школы, учения которых оставили свои следы в христианской догматике, т.-е. раньше всего скептическую, эпикурейскую и стоическую философии. Историческое изложение этих философских систем и было первой научной работой

молодого Маркса. Часть ее дошла до нас в виде его докторской диссертации. Из нее можно видеть, как глубоко он вжился в гегелевскую философию и как великолепно он умел владеть ее диалектическим методом. В кругу этих младогегельянцев Маркс научился очень многому, и не только от Бруно Бауэра, но не менее и от Карла Фридриха Кёппена, обладавшего крупным историческим талантом.

Но эта подымавшаяся вверх тропинка его жизни вилась мимо страшной пропасти. Младогегельянцы сумели преобразовать революционным образом учение своего учителя на религиозной почве, но они не сумели сделать этого в области политики. Особенно беспомощными в этом отношении были берлинские младогегельянцы. В Берлине буржуазному самосознанию совершенно не [хватало той могучей поддержки, которую оказывала ему сильно развитая промышленность Рейнской области; Берлин плелся даже в хвосте Кельна, Лейпцига и Кенигсберга, когда требуемая временем борьба начинала принимать практический характер. Берлин был городом военщины и королевской резиденцией, и мелко-буржуазное население его вымещало в лучшем случае злобными, мелочными сплетнями то унижение, в котором оно находилось публично. Философия, спускаясь с неба, не находила в Берлине ни почвы, на которой она могла бы научиться ходить, ни крупных интересов, к которым она могла бы прилепиться; она попадала, наоборот, в какое-то бездонное болото, где она молчала, точно гибельный блуждающий огонек. Это было не виной Бауэров и Кёппенов, а их роком.

Весьма характерно, что имя Карла Маркса впервые появилось в печати в посвящении ему пламенного панегирика старому Францу, о котором Трейчке в своей „Немецкой истории" говорит не без основания, что он „победоносно защищал возвышенную нравственность созидающего и знающего героя против моральных зоилов". Этот панегирик был написан Кёппеном и, при тогдашних обстоятельствах, имел свой исторический смысл и оправдание. Но Бруно Бауэр не хотел вообще ничего знать о политических и социальных вопросах: для него они были совершенно недостойны философии. Он думал, что если христианской религии, с ее мутной смесью из греко-римской философии, удалось преодолеть античное просвещение, то тем легче будет его свободной ясной критике справиться с чудовищем христианско-германского просвещения.

Как ни важно было для Маркса, что он провел несколько лет в кругу этих младогегельянцев, не менее важно было для него, что вслед затем он вернулся на родную почву Рейнской провинции. Рейнская буржуазия с Кампгаузеном и Ганземаном во главе, основала „Рейнскую Газету" для защиты своих экономических и политических интересов; побуждаемые сохранившимся в них еще остат-

ком идеализма—который особенно давал себя знать у Кампгаузена—они выбрали себе духовных борцов не из среды поверхностных литераторов так называемой молодой Германии, а из младогегельянцев. Маркс был только одним из многих, и даже вовсе не первым; редактирование „Рейнской Газеты" было поручено не ему, а Рутенбергу. Но он вернулся на родную почву и из соприкосновения с ней почерпнул ту побеждающую силу, благодаря которой он вскоре затмил всех сотрудников „Рейнской Газеты"; само собою разумеется, что он стал ее редактором, когда Рутенберг, по настояниям до-мартовской полиции, должен был оставить Кельн и удалился в Берлин.

Но вместе с Марксом берлинских младогегельянцев покинул их добрый гений. В качестве „Свободных" они стали выкидывать штучки, о которых Руге выражался еще очень мягко, когда объяснял их „всеобщим отупением и низменностью берлинской жизни". Эти действительные революционеры в религиозной области умели разыгрывать только глупых цыган в политической и социальной области. Их процессии вищих по улицам Берлина, устраиваемые ими скандалы в кабачках и публичных домах, их дурацкое издевательство над бедным священником, которому Бруно Бауэр передал, во время венчания Штирнера, латунные кольца своего вязаного кошелька с замечанием, что они еще достаточно хороши для обручальных колец—все это и подобные этому вещи сделали этих одичавших филистеров предметом полу-удивления и полу-ужаса всех смирных филистеров. Разумеется, подобное гаменство не могло не действовать отрицательным образом на духовное творчество младогегельянцев; место высокомерной бауэровской критики евангелий заняли парадоксальные курбеты Штирнера; статьи их для „Рейнской Газеты" стали все больше и больше раздражать Маркса.

Он вначале думал, что Бруно Бауэр положит конец берлинским „глупостям", но, к сожалению, надежда эта не оправдалась. Поэтому он должен был пустить в ход по отношению к берлинским корреспондентам свой редакторский красный карандаш. 30 ноября 1842 г. он писал Руге:

„Я потребовал от них поменьше общих рассуждений, велеречивых фраз, самодовольного любования, и побольше внимания к конкретной действительности, побольше знания дела. Я заявил, что считаю неподходящим, даже безнравственным, контрабандное введение коммунистических и социалистических учений, т.-е. нового мирсозерцания, в случайные театральные рецензии и пр. и что я желаю совершенно иного и более основательного обсуждения коммунизма, раз только придется его обсуждать. Я выразил далее пожелание, чтобы религию критиковали скорее в критике политического положения, чем политическое положение в религии, ибо это более соответствует

существу газетного дела и уровню читающей публики, так как религия, сама по себе, лишена содержания и живет не небом, а землей, и с уничтожением той извращенной реальности, теорией которой она является, она гибнет сама собой. Наконец, я выразил желание, что, если говорится о философии, то чтобы поменьше баловаться разговорами о фирме „атеизм" (что напоминает детей, уверяющих всякого, желающего слушать, что они не боятся буки), а популяризировать лучше содержание ее среди народа".

Так дело дошло до разрыва между Марксом и младогегельянцами.

Но это не заставило его отказаться от того, чему он научился у них. Если он им заявлял: „Вы не можете осуществить философию, не схоронив ее", то он точно так же заявлял рейнской буржуазии: „Вы не можете схоронить философию, не осуществив ее". Он искал „самовыяснения вопросов борьбы и потребностей эпохи", и он нашел его в научном социализме. Когда он стал закладывать основы его в „Немецко-Французских Летописях", то Бруно Бауэр выступил еще раз. За этим последовала великая проповедь „Святого Семейства", в которой Маркс уничтожил спекулятивный идеализм Бруно Бауэра, как законченнейшее выражение христианско-германского принципа, превращающего, в этой последней своей ипостаси, самое критику в некоторую трансцендентную силу.

Маркса часто, но несправедливо, упрекали, что он обошелся слишком жестоко со старым своим другом; но, как бы то ни было, младогегельянцы накликали на себя гораздо более жестокую кару. Все они жалко погибли в волнах революции. Сравнительно лучше всего сложилась участь Кёппена, меньше всего повинного в цыганщине „свободных". В пятидесятых годах он стал последователем Шопенгауэра, над которым он некогда издевался вместе с Марксом; но в эпоху прусского конфликта он примкнул к левой группе прогрессивной партии и умер в 1863 г., не дождавшись новых, ожидавших его, разочарований. Бруно Бауэр, во время контр-революции, стал сотрудником Вагнера из „Крестовой Газеты"; прислушиваясь к голосу своей философской совести, он вначале должен был писать для его „Государственной энциклопедии" только биографии философов древности; но, закончив Анаксагора и Анаксимандра, дойдя до Эпикура, он стал склоняться к мнению, что на букве „И" он сможет взять себе не только иоиийцев, но и иудеев; сотрудничество это, принимая все более обширные размеры, длилось до Зенона и далее. Позже он стал вдохновителем „Почты", которая, правда, не была тогда еще потаскушкой на потребу всех шарфмахеров и содержанкой спекулянта Штротеборга. Он умер в 1882 г. Штирнер—тень уже

среди живущих—умер задолго до того в 1856 г. Эдуард Мейен был, в 1863 г., в качестве редактора „Реформы", самым яростным противником Лассаля в берлинской печати. Он умер в 1870 г. редактором „Данцигской Газеты" и расквитался со своей загубленной жизнью жалкой остротой, что он имеет право издеваться лишь над ортодоксами (Ochs—скотина) протестантского исповедания, ибо критиковать папский силлабус ему запретил либеральный государственный муж Риккерт, из внимания к католикам—подписчикам этой газеты. Наконец, Рутенберг умер в 1869 г., в качестве редактора „Королевско-Прусского Правительственного Вестника".

Так все они погибли бесславно, и судьба их может и ныне служит предостережением против некоторых замечательных советов вернуться от Маркса назад к какому-нибудь философскому шарлатанству.

Понятие права у К. Маркса и Фр. Энгельса.

I.

Огромное влияние, которое завоевывает себе в деле изучения права социологическое направление, и, в частности, методы исторического материализма, заставляют с особым интересом отнестись к содержанию и развитию правовых понятий у основоположников материалического понимания общественных явлений К. Маркса и Фр. Энгельса.

Мы вправе говорить об обоих мыслителях, не отделяя одного от другого, в виду того, что воззрения их на природу права и юридического мышления, как и в других областях, были в существенном одинаковы и служили друг другу взаимным дополнением. Правда, оба великих материалиста прошли не одинаковый путь в смысле юридической подготовленности.

Будучи сыном адвоката, Маркс естественно, получает в Бонне и Берлине юридическое образование, хотя, по его собственным словам, „занимался юриспруденцией, лишь как подчиненной дисциплиной наряду с философией и историей" [1]). У главы исторической школы, Савиньи, Маркс слушает пандекты, у Эдуарда Ганса, ученика Гегеля, уголовное право и прусское государственное право, и, кроме того, другие юридические предметы. Особенно сильное влияние на первых порах оказали на него Ганс и, вообще гегелевская философия права: право в этот ранний период Маркс исключительно воспринимал в философском аспекте. Первые попытки юношеских работ Маркса, посвящены метафизике права и развитию идей в римском праве. В дальнейшем он переходит к позитивным юридическим наукам и уделяет им также немало внимания [2]).

[1]) К. Маркс и Фр. Энгельс: Литературное наследство. Т. I. Фр. Меринга, пер. Гурвича, М. 1907. Стр. 14.

[2]) О характере университетской работы Маркса в области права, помимо слушания лекций, дает представление следующий отрывок из его письма, приводимый Рингом; „..... стал изучать собственность по Савиньи, уголовное право Фейербаха и Грольмана, de verborum significatione Крамера, систему пандектов, Веннинг-Ингенгейма и doktrina Pandectarum Мюленбруха,... отдельные главы по Гаутербаху, гражданский процесс и, прежде всего, церковное право, из которого первую часть

В противоположность Марксу, Энгельс не получает систематического юридического образования и, впоследствии, пополняет его самообразовательной работой. Его ранние работы посвящены философии (Шеллинга), и он, в гораздо меньшей степени, чем Маркс, должен был в дальнейшем переживать внутреннюю борьбу перерождающегося правого мышления. Он „преодолевает" не спекулятивное прано, но классическую экономию,—и уже очень рано обозначается у него чисто социологический подход к вопросам политики и права.

Ранние публистические статьи Маркса (в „Anekdota" „Rheinische Zeitung") также носят отчасти и юридическую окраску, будучи всецело проникнуты духом Гегеля. Говорит ли он по вопросу о цензуре и свободе печати, или о „краже дров" (как квалифицировали тогда ландтаги собирание бедняками валежника),—Маркс всюду выступает в качестве искусного юриста, превосходно ориентирующегося в правовых понятиях своей эпохи и умудряющегося, исходя из принципов идеалистической и идеализирующей прусскую систему философии Гегеля, показывать противоречие этим принципам в устремлениях правительства и имущих классов и внутреннюю противоречивость их законодательных решений.

Идеализм господствует в публично-правовых воззрениях молодого Маркса, в особенности, в его теории государства и законности.

„Неудовлетворительный государственный принцип можно извинить, но он становится непростительным, когда он недостаточно честен, чтобы быть последовательным". [1]) „Не из христианства, а из собственной природы государства, из его собственного существа, вы должны выводить право государственных конституций, т.-е. не из природы христианского, а из природы человеческого общества...

Государство надо строить не на основе религии, а на основе разума и свободы"... „Прежние философы строили государственное право либо на основе чувства, как, например, честолюбия, чувства общественности, либо на основе разума, но не общественного, а индивидуального разума. Новейшая философия... строит государство из идей целого. Она рассматривает государство, как великий организм, в котором должны осуществляться правовая, нравственная и политическая свободы, при чем отдельный гражданин, повинуясь законам государства, повинуется только естественным законам своего собственного разума, человеческого разума" [2]). В связи с этим стоит определение закона: „Правовая природа вещей не может сообразоваться с законом, закон должен сообразоваться с ней". [3]) „Законы—это положительные, ясные общие нормы, в которых свобода приобретает теоретическое, независимое от произвола отдельных личностей существование... Настоящим законом становится он тогда, когда в его лице бессознательный естественный закон свободы воплотился в сознательный государственный закон" [4]). Поэтому изданные, „противоестественные", „произвольные" законы о лесных порубках, „это гру-

concordia discordantium canonum Грациана, а также приложение, Lancelotti Institutiones я прочитал почти целиком в corpus, сделав выписки... Занялся также немецким правом, но в этой области я проштудировал лишь капитулы франкских королей и письма к ним пап". В другом месте: „.... прочел уголовное право Клейна и его Annalen." (Ibidem, стр. 20, 21.)

[1]) Ibid. К. Маркс: „Заметки о новейшем прусском цензурном уставе", стр. 151. Срав. Гегель: Философия права № 279.

[2]) Ibidem, К. Маркс: Передовая ст. в № 79 Кельнской газеты ст. 237,23.

[3]) Ibid. К. Маркс: Протоколы 6-го Рейнского Лавдагстр. 252.

[4]) Ibid. стр. 213. Срав. Гегель, „Философия права" №№ 203, 217.

бый материализм, это — грех против святого духа народов, и человечества".

Несколько менее проявляется этот идеализм в воззрениях Маркса на преступление и наказание и на судебный процесс. Но и здесь Маркс всецело стоит на точке зрения Гегеля.

Мудрый законодатель должен не ограничивать сферы, но „уничтожить в каждом правовом стремлении его отрицательную сторону, представив ему положительную сферу деятельности" [1]. „Конкретное преступление предполагает определенную ступень наказания... Задача состоит в том, чтобы сделать наказание действительным следствием преступления. Оно должно явиться в глазах преступника необходимым последствием его собственного деяния, т.-е. его собственным деянием. Пределом его наказания должен быть предел его деяния: То, что в данных пределах было нарушено, составляет предел данного преступления. Мера преступного есть, так. обр., мера преступления" [2]. „Государство должно видеть и в порубщике леса... человека и гражданина. Государство не может легкомысленно отрезать одного из своих членов от всех этих функций ибо государство калечит само себя, когда оно делает из гражданина преступника"... „Государство не только имеет средства поступать таким образом, как это соответствует его разуму, его всеобщности и его достоинству, а также праву и условиям жизни и собственности обвиняемого гражданина,— его непременная обязанность располагать этими средствами и применять их"... [3] При краже дров „преступная сущность действия заключается не в посягательстве на материал дерева, а в посягательстве на государственный нерв дерева, на право собственности, как условие, т.-е. в осуществлении противозаконного намерения"... Лесовладелец не может посредством присвоения штрафов и барщины превращать в свою частную собственность публичное право: „Публичное показание есть право государства, но такое право, которое государство не может передать частному лицу, как не может идти человек уступить другому свою совесть. Всякое право государства по отношению к преступнику есть вместе с тем государственное право преступника" [4]. „Из представления о государстве, законности и уголовном праве вытекает взгляд и на судебный процесс". „Какая нелепая, непрактичная иллюзия, вообще, беспартийный судья, когда законодатель—партийный? Какое значение может иметь бескорыстное решение, если закон своекорыстный? Необходимо связано с гласным, свободным процессом гласное по своей природе, продиктованное свободой, а не частным интересом содержание.. Один дух должен одушевлять процесс и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, следовательно проявление его внутренней жизни" [5].

Но особенный интерес представляют ранние воззрения Маркса на развитие собственности и положительного права из обычного, в которых под идеалистической терминологией уже чувствуется будущий теоретик классовой борьбы.

Маркс, отвергая возможность существования на ряду с законом обычного права привилегированных, вместе с тем выступает в защиту обычного права нищеты.. „Обычное право привилегированных по своему содержанию противоречит форме закона... Разумное обычное право при господстве общих законов есть не что иное, как привычка к законному праву, ибо право не перестало быть обычаем, потому что стало законом, оно перестало быть только обычаем... Обычай становится разумным, потому что право превратилось в закон, потому что обычай стал государственным обычаем. Обычное право, как отдельная область, на ряду с законом, имеет потому разумное оправдание лишь там, где право существует на ряду и помимо законов, где обычай есть предвосхищение закона. Об обычном праве привилегированных сословий поэтому не может и речи быть. Закон признает не только их разумное право, но часто даже неразумные притязания..., закон предвосхитил все возможные выводы из их права... Но если это обычное право привилегированных является обычаем, противоречащим понятию разумного права, то обычное право нищеты противоречит только обычаям положительного права... Форма закона не противоречит ему, оно только еще не получило ее..." „Источник всякого обычного права бедных заключается в неопределенном характере некоторых видов собственности, не делающих ее ни безусловно частной, ни безусловно общей собственностью [1] в смешении частного и публичного права, выступающем перед нами во всех средневековых учреждениях... Рассудок уничтожил промежуточные неустойчивые виды собственности, прибегнув к заимствованной из римского права категории гражданского абстрактного права; законодательный разум тем более считал себя вправе уничтожить обязательства этой неустойчивой собственности по отношению к беднейшему классу, что он уничтожил и его государственные привилегии... Обычаи, являющиеся обычаями многочисленного бедного класса, с верным инстинктом умеют затронуть собственность с ее неоформившейся стороны". И Маркс видит в собирании валежника в частновладельческих лесах вполне законное проявление „захватного права" бедности, которая „в самой своей деятельности находит оправдание своего права" [2].

Однако и в данном случае и в своей борьбе с привилегиями Маркс исходит из идеалистического представления об „общем праве", „публичном разуме." „Во все времена существовали все виды свободы—в одних случаях, как особая привилегия, в других—как общее право". Маркс негодует против частных интересов, которые рассматривают право не как самостоятельный предмет", и „действуют за спиной права". „Привилегии земских чинов (ландтага. И. Р.) не являются правом провинции. Наоборот, скорей право провинций там именно кончается, где оно становится привилегией земских чинов". Действия „сообразно с требованиями частной собственности"—суть „приниженье государства", несоответствие самой „идее государства" [3].

Ранний период в развитии правовых понятий у Маркса представляет для нас особенный интерес при сопоставлении его с позднейшим периодом. Только тогда становится понятным, какие колоссальные трудности в лице привычного мышления пришлось преодолеть Марксу и почему некоторые положения гегелевской философии права, как мы убедимся, были им не только „преодолены", но и „сохранены" в дальнейшем развитии.

---

[1]) Ibid. стр. 284.
[2]) Ibid. стр. 259.
[3]) Ibid. стр. 253, ср. Гегель: „Философия права" №№ 90—100.
[4]) Ibid. стр. 260, 264. Сравн. Гегель: „Философия права" № 99 и посл.
[5]) Ibid. стр. 275, 276, 278.

[1]) Собственность понимается здесь Марксом в согласии с Гегелем, как частная собственность. Однако у него имеется уже представление и об „общей" собственности, куда он относит все неоформившиеся виды собственности. В согласии с Гегелем определяется и „ценность" (Ibid стр. 254), как „гражданское бытие собственности" (ср. Гегель, op. cit. № 182—190).
[2]) Ibid. стр. 255, 256, 257, 258. Сравн. Гегель: „Философия права" №№ 54—56. №№ 256, 261.
[3]) Ibid. стр. 206, 272, 197, 265. Сравн. Гегель, op. cit. Введение № 30, также

Переход „Маркса от идеализма к материализму означал одновременно постепенный переход от буржуазно-правового сознания с его феодально-правовой терминологией к точке зрения нового общественного класса, но на первых порах в оболочке той же старой правовой терминологии [1]).

„Реформа сознания", провозглашенная Фейербахом, должна была протекать не путем развития догматических учений, а через „анализирование мистического, себе самому неясного сознания, выступает ли оно в религиозной или в политической форме" [2]). Вслед за критикой религии, этой первой и основной формы „самому себе неясного сознания",—критикой, возвратившей человека на землю, происходит „разоблачение самоотчуждения человека в его безбожных образах" [3]). Поскольку идеалистическая философия права видимо, узаконяла устремления прусской государственности, придавая ей в форме абстракции необходимо-разумный вид, критика права должна была начаться с критики представшего в новом виде государственно-правового порядка. „Пышный плащ либерализма спал, и отвратительный деспотизм стоит во всей своей наготе пред глазами всего мира". „Мир филистеров—это политический мир животных", „принцип монархии—вообще—это презренный, презрительный, обесчеловеченный человек" [4]) Но важно было подвергнуть критике не только существующие уже порядки, но и „их абстрактное продолжение" в государственно-правовой философии, отражавшей уже идеалы буржуазного общества. „Критика немецкой государственно—правовой философии, получившей через Гегеля свою самую последовательную, самую содержательную и законченную формулировку, есть и то и другое,—как критический анализ современного государства и связанной с ним действительности, так и самое решительное отрицание всей доныне существующей формы немецкого политического и правового сознания, самым благородным универсальным до степени науки возвысившимся выражением которого есть именно сама спекулятивная философия права" [5]).

Поэтому исходным пунктом критики стало представлявшееся идеальным тогдашнему немецкому буржуазному правосознанию „политическое государство", существующее „не в самой разумной форме", но „заключающее во всех своих современных формах требование разума", а потому впадающее в противоречие между своим идеальным назначением и своими реальными предпосылками". „Политическое государство есть указатель практической борьбы человека". Можно и нужно „делать предметом критики самые специальные политические вопросы, вроде различия между сословной и представительной системой. Ибо этот вопрос выражает лишь политическим образом различие между господством человека и господством частной собственности" [6]). Самая „критика спекулятивной философии права протекает не в себе самой", а в разрешении практических задач [7]).

Маркс решительно выступает против формы правового сознания, „протекающей в себе самой", сознания, „самому себе неясного", становящегося „самоотчуждением человека", в действительности же отражающего лишь „практическую борьбу человека". Этот „феноменальный" характер права еще более подчеркивается Марксом в его статьях по еврейскому вопросу. Политическая эмансипация от религии, признание ее частным делом каждого, не есть законченный способ человеческой эмансипации. Человек в данном случае „признает себя самого лишь окольным путем, лишь через посредника", каким является государство. „Государство на свой лад упраздняет различия в происхождении, сословии, образовании, профессии, когда объявляет политическими различиями рождение, сословие, образование, профессию, когда провозглашает без всякого внимания к этим различиям, каждого члена народа равноправным участником народного суверенитета, когда рассматривает все элементы народной жизни, с точки зрения государственной. Несмотря на это, государство позволяет частной собственности, образованию, профессии действовать на свой лад и проявлять свою особую сущность, как частной собственности, образованию, профессии. Далекое от того, чтобы упразднить все различия, государство, напротив, существует лишь в предположении их наличности, чувствует себя политическим государством и осуществляет свою всеобщность лишь в противоположность к этим своим элементам". И сославшись на замечание Гегеля, что государство „стоит под различными церквами", Маркс восклицает: „Конечно. Лишь стоя над особыми элементами, государство приобретает всеобщий характер".

Политическое государство является поэтому некоей абстракцией, „родовой жизнью человека", в противоположность его материальной жизни в условиях „гражданского общества",—этого „государства нужды и рассудка", по выражению Гегеля. В государстве человек имеет значение не действительного инвивида, но „родового существа,—он является мнимым членом воображаемого суверенитета". „Для человека, как буржуа, жизнь в государстве есть лишь видимость [1]). Т. н. „права человека" суть права эгоистического буржуазного члена гражданского общества—и „права гражданина"—лишь средства для сохранения „прав человека". Политическая революция была наследием старого феодального общества, которое „имело непосредственно политический характер, т.-е. элементы гражданской жизни, напр. собственность и семья, форма и способ труда были возведены на высоту элементов государственной жизни в форме феодальных прав, сословий, корпораций. Отменив эти права и корпорацию, революция разбила гражданское общество на его простые составные части", „политический же дух" она освободила от смешения с гражданской жизнью и „конституировала его, как сферу общественности, всеобщего народного дела в идеальной независимости от тех особых элементов гражданской жизни". Таким образом, политический человек является лишь абстрактным, искусственным человеком, человеком, как аллегорической, моральной личностью [2]). Создается своеобразный „оптический обман", как выяснил Фейербах, свойственный всякой абстракции, и не государство кажется средством для обеспечения благосостояния членов буржуазного „гражданского общества", а наоборот: „в сознании политических эмансипаторов вопрос опрокинут на голову и цель кажется средством, а средство—целью". „Раздвоение человека на публичного и частного человека, это не ступень, а завершение политической эмансипации", и современное государство на деле вытекает из предпосылок гражданского общества и не конструи-

1) Ibid. Письмо Маркса к Руге 1843 г., стр. 340.
2) Ibid. К. Маркс: К критике Гегелевской философии права стр. 342.
3) Ibid. Письма Маркса к Руге 1843 г., стр. 321, 326, 327.
4) Ibid. К. Маркс: „К критике Гегелевск. философии права", стр. 347.
5) Ibid. Письмо Маркса к Руге, стр. 339.
6) Ibid. „К критике гегел. философии права", стр. 347.
7) Ibid. К. Маркс: „К еврейскому вопросу", стр. 361, 362.

1) Ibid. К. Маркс: „К еврейскому вопросу", стр. 361, 362.
2) Ibid. стр. 370, 371, 375.

ровалось еще в „действительно свободную от противоречий родовую жизнь человека". Вполне понятно поэтому „противоречие между политикой и денежной властью" отдельных членов гражданского общества. „Тогда как в идее первая властвует над другой, на деле она стала ее крепостным рабом" [1].

Аналогичные замечания находим мы и в других, позднейших статьях Маркса, относящихся к переходному, фейербахианскому периоду; но здесь терминология и определения уже более уточняются. Так характерна статья в „Vorwärts" 1842 года:

„Государство... зиждется на противоречии между общественной и частной жизнью, на противоречии между общими интересами и интересами частными. Эта частная собственность, эта торговля, эта индустрия, этот взаимный грабеж различных классов общества, эта разобщенность, низость, это рабство гражданского общества есть то естественное состояние, на котором покоится современное государство, подобно тому, как гражданское общество рабства было естественным основанием, на котором покоилось античное государство. Существование рабства и существование государства неразрывны"... Для того, чтобы устранить бессилие своей администрации, современное государство должно было бы упразднить нынешнюю частную жизнь. Для устранения частной жизни государство должно было бы устранить себя самого, ибо оно существует только в противоположность к этой последней". Так называемая „политическая душа революции состоит в тенденции политически невлиятельных классов уничтожить свою изолированность от государства и от господства". Корень зла не в той или иной форме государства, но в сущности его, как такового. Но „чем могущественнее государство, чем политически развитее страна, тем менее она склонна искать причину социального зла в принципе государства, т.-е. в теперешнем строе общества, деятельным, самосознающим и официальным выражением которого является государство, тем менее она склонна понять общий принцип этого зла". Создается особый, своеобразный „политический разум", „политическая точка зрения", искажающие это понимание. „Политический разум есть только политический разум, ибо он мыслит в границах политики. Чем он изощреннее, жизненнее, тем менее он способен понять социальное неустройство... Принцип политики—воля. Чем односторонне, и стало быть, совершеннее политический разум, тем более он верит во всемогущество воли, тем ослепленнее он относится к естественным и духовным границам воли... „Политическая точка зрения", для которой понятия государства и общества совпадают (государство есть устройство общества), поэтому ищет причины общественных зол в законах природы, в независимости от государства частной жизни, в ошибках администрации, в „злой воле бедных", или в противоположности нищеты и богатства, видит только препятствие для „чистой демократии и т. п." [2]!

Почти тожественные положения разбросаны по страницам „Святого семейства" (кон. 1844 г.). Ограничимся немногим для более полного освещения вопроса.

За новым сопоставлением современного и античного государства следует: „Будучи само продуктом буржуазного общества, собственным развитием вынужденного разрушить старые политические рамки, государство, с своей стороны, должно было бы признать свое место рождения и основу в провозглашении человеческих прав"... „Рабство буржуазного общества, по видимости своей, есть полнейшая свобода, потому что оно кажется законченной формой независимости индивидуума... между тем, как оно, наоборот, представляет собой его законченное рабство и человеческую отверженность. На место привилегии тут стало право".—„Интерес—вот что скрепляет друг с другом членов буржуазного общества. Только политический предрассудок способен еще в наше время воображать, что государство скрепляет общественную жизнь, между тем, как, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство". Наполеон, „рассматривавший государство, как самопомощь", „деспотически подавлял либерализм буржуазного общества—политический идеализм его будничной практики", будучи полон „презрения к идеологам"... Впоследствии же, в 1830 г. либеральная буржуазия уже не стремилась к достижению общественных целей, а, напротив того, рассматривала государство, как официальное выражение своей исключительной власти и как политическое признание своих собственных интересов"... [1].

[1] Ibid. стр. 373, 379, 383.
[2] К. Маркс и Энгельс. Литер. наследие, т. II изд. Ф. Мерингом, пер. под редак. Аксельрод и др. 1908 г., К. Маркс: Критические примечания к стат. „Король прусский и социальная реформа", стр. 59, 60, 61.

К этим отчетливым положениям Маркса Энгельс, в этот ранний период, прибавляет весьма немногое, и его воззрения на право находят себе выражение в редких замечаниях.

Так, говоря об экономической революции XVIII века, он указывает что в ней были противопоставляемы и новые политические и правовые понятия, „монархии—республика, божественному праву—общественный договор", но „политика и не додумала исследовать предпосылки государства, как такового" [2]. В наиболее свободных политических государствах, Англии и С. Штатах „господствуют общественные предрассудки", посредством подкупов избирается парламент, отражающий интересы бездельничающей поземельной и промышленной аристократии. А потому „демократия является лишь переходным пунктом к действительной человеческой свободе" [3]. „Положение рабочего класса в Англии", писавшееся Энгельсом в эти годы, также всецело проникнуто воззрениями на классовый характер современного государства и на государственную власть, как принадлежащую „имущим классам".

Нужно оговориться, как Маркс, так и Энгельс в этот период говорят, преимущественно, не о государстве вообще, а о буржуазном государстве и буржуазном обществе. Однако, их выводы приложимы, как станет ясно в дальнейшем, и к более широким историческим обобщениям.

2.

В последующем своем развитии Маркс постепенно покидает юридическую точку зрения на общественную жизнь, заменяет ее социально-экономической точкой зрения и сравнительно реже возвращается к вопросам права. Энгельс, по существу никогда не стоявший на спекулятивно-правовой точке зрения, напротив того, в дальнейшей своей

[1] Ibid. „Святое семейство или критика критической критики" стр. 251, 255, 261, 264, 265.
[2] „Литерат. наследство" т. I, Ф. Энгельс: Очерки критики политическ. экон." стр. 383.
[3] Ibid. Ф. Энгельс: „Положение Англии" стр. 430.

деятельности подходит к вопросам права, давая им новое, социологическое освещение.

Для нас поэтому, важно установить, что уже в ранних сочинениях Маркса в зародыше содержатся почти все те положения, которые позднее в более оформленном виде и в более широкой исторической перспективе были развиты Энгельсом в „Анти-Дюринге", „Людвиге Фейербахе", и „Происхождении семьи".

Как легко можно видеть, критика гегелевской философии права, начавшаяся в письмах к Руге и завершившаяся в „Святом семействе" и отчасти неизданной „Немецкой идеологии", эта критика „преодолевала" преимущественно гегелевскую теорию государства. Понятие государства получает все более первенствующее значение в ряду других правовых понятий, а потому область, напр. частного права и другие гораздо менее занимают в эту пору Маркса. И это понятно: „идея" государства, с одной стороны, являлась доминирующей, как высшее завершение в системе правовых идей гегелевской философии. С другой стороны, критика именно „политической идеологии" служила Марксу могущественным средством социальной борьбы.

Результаты этой критики можно оценить, лишь сопоставив их с исходными положениями. В начале государство, основанное на „разуме свободы", было воплощением публичного разума, „великим организмом", в коем должны были осуществляться правовая, нравственная и политическая свободы. В государственных законах свобода приобретала теоретическое, независимое от произвола, сознательное выявление. Постепенно, с развитием критики, резко начала отличаться современная форма государства от государства идеального. Самая эта форма государства в дальнейшем оказалась лишь внешним выражением происходящей в обществе борьбы, в основе которой лежат претензии частной собственности. Понятие государства превратилось в полную абстракцию в лишь идеально независимую сферу, в коей осуществляется воображаемый общественный суверенитет. Но такая „видимость" мыслима, возможна и необходима лишь при наличии общественных противоречий, борьбы между „влиятельными" и невлиятельными" классами за господство. Государство становится некоей надстройкой над обществом, видимостью отражения общих интересов при господстве частных интересов, самое существование коей необходимо лишь постольку, поскольку существует „общественное рабство". В государстве поэтому происходит „самоотчуждение человека": он раздваивается на публичного и частного человека. Преследуя в действительной жизни свои частные интересы и желая дать им возможно более полную свободу, он создает абстракцию государства, представляющего якобы общественные интересы и служащего для отвода глаз „невлиятельным" классам.

Какой, казалось бы, контраст с первоначальной гегельянской конструкцией и какая, тем не менее, глубокая, чистая внутренняя связь с ней. И у Маркса—гегельянца и у Маркса, переходящего к материализму, государство стоит над обществом, как олицетворение общих интересов, в противоположность частному произволу. Но Маркс—гегельянец видит в государстве высшее выявление общественно-разумной природы человеческого общества, представляющего поэтому высшую ступень по сравнению с гражданским обществом и регулирующего жизнь последнего. Маркс же—фейербахианец видит в государстве лишь надстройку над определенным базисом общественных отношений, общественных противоречий и борьбы, изменяющуюся вместе

с этими отношениями [1]). Государство из логического завершения общественной жизни обращается в его исторический результат. Но при всем том государство продолжает рассматриваться Марксом не столько, как аппарат, как государственная машина, сколько, главным образом, как „идея" государства, как некая „политическая идеология". Этим самым была подготовлена почва для дальнейшего развития воззрений Маркса и Энгельса на право вообще, как на один из видов идеологического мышления.

Другим важным моментом является выяснение исторического характера деления права на публичное и частное. Деление это происходит вследствие развития буржуазного общества, в котором выпячиваются частные интересы человека-буржуа в противовес общественным интересам человека-гражданина. Но такое раздвоение означает раздвоение и „самоотчуждение" человека, цельной человеческой общественной личности и потому немыслимо в будущем „родовом" государстве—обществе. Развитие частно-правовых форм сознания, таким образом, тесно переплетается с развитием его государственно-правовых форм и имеет одни и те же социально-исторические корни.

Критикой государственно-правовой философии и исследованиями в области экономии предопределяется все дальнейшее развитие правовых понятий у Маркса и Энгельса. „Мои исследования—писал впоследствии Маркс—привели меня к заключению, что правовые отношения, наравне с формами государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития духа, но скорей коренятся в материальных условиях жизни" [2]). Став на точку зрения материалистического понимания истории, он рассматривает право, как одну из „идеологических форм, в которых люди воспринимают в своем сознании конфликт (производительных сил и производственных отношений. И. Р). и во имя которых борются" [3]). Политика и права оказываются таким образом политическими и юридическими формами, а эти последние понимаются, как порождение носящего идеологический характер сознания.

Прежде всего нужно напомнить общее определение идеологического мышления, данное Энгельсом: „Идеология—это процесс, который проделывает т. н. мыслящий человек, хотя и с сознанием, но с сознанием неправильным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными... Так как это процесс мысли, то человек и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления своих предшественников... У исторического идеолога в области каждой науки имеется известный материал, который образовался самостоятельно из мышления прежних поколений и проделал ряд ступеней самостоятельного развития в мозгу этих следовавших одно за другим поколений. Конечно, на это развитие могли воздействовать в качестве сопутствующих причин и внешние факты, относящиеся к данной области или к другой, но факты эти по молчаливому соглашению считаются опять-таки просто вкладами мыслительного процесса, и, таким образом, мы все время продолжаем оста-

[1]) Энгельс впоследствии выразится: „государство, политический порядок является подчиненным, а гражданское общество, царство экономических отношений—главным элементом. По старому взгляду на государство, разделявшемуся также Гегелем, оно, наоборот, было определяющим элементом, а гражданское общество—подчиненным, от него зависящим" (Ф. Энгельс: „Л. Фейербах" М. 1918, стр. 66).

[2]) К. Маркс; „К критике политич. экономии" Предисловие. Петр. 1918.

[3]) Письмо Ф. Энгельса к Ф. Мерингу от 14 июля 1893 г. Сборник В. В. Адоратского. М. 1923, стр. 309.

ваться в области чистой мысли, которая переварила счастливо самые твердые факты" [1]). Вследствие этого, идеология „имеет дело с мыслями, как с независимыми сущностями, которые самостоятельно развиваются из самих себя и подчиняются своим собственным законам". Выражение „по молчаливому соглашению" относится, очевидно, к наиболее сознательным и лицемерным творцам идеологии, но в большинстве случаев это сознание с самого начала затемнено и истинные причины событий ему неизвестны. „Что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается данный процесс мышления, определяют его собой: этого, конечно не сознают эти люди, потому что иначе всякой идеологии пришел бы конец". „Раз возникнув, всякая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений и подвергает их дальнейшей переработке" [2]).

Происхождение идеологического мышления Энгельс выводит из общественного разделения труда приведшего к отрыву производства идей от производства средств существования. Так, в Анти-Дюринге" мы читаем: „не только рабочие, но также и эксплоатирующие их прямо или косвенно классы, благодаря разделению труда, порабощены орудиями своей деятельности... юрист—своими закостеневшими правовыми воззрениями, которые господствуют над ним, как самостоятельная сила" [3]).

Уже из этого последнего видно, что все сказанное об идеологии вообще, целиком относится и к „политическим и правовым формам". (Нужно заметить, что Маркс и Энгельс разграничивают эти два понятия. Как политическими формами, так и политической „идеологией" обозначаются государственно-правовые формы и развитие „политических принципов", в которых находит себе отражение общественная борьба. Правовая же идеология, правовые или юридические формы, в узком смысле слова, относятся преимущественно к области гражданского частного права и другим видам публичного права [4]).

Политические и правовые формы носят уже сами по себе идеологический характер, так как они представляют только „формы", в которых происходит отражение действительных материальных конфликтов и классовой борьбы в человеческом сознании, стало быть, в большей мере одностороннее и недостаточное их отражение. „Как политическое, так и гражданское законодательство всегда лишь выражало, заносило в протокол требования экономических отношений" [5]).

[1]) „Людвиг Фейербах". ed. cit. стр. 70. В „Анти-Дюринге" Энгельс отожествляет идеологический метод с „априористическим, который познает свойство какого-либо предмета не из самого этого предмета, но из его понятия. Сначала из предмета делают понятие предмета; затем переворачивают копье и меряют предмет по его отражению, понятию. Но понятие должно соответствовать предмету, а предмет—понятию" (С.П.Б. 1904, стр. 125).

[2]) Письмо Энгельса к Конраду Шмидту от 27 окт. 1890 г. Сборн. В. В. Аталорского, стр. 282.

[3]) Анти-Дюринг", стр. 425.

[4]) В письме от 5 авг. 1890 г. Энгельс говорит о политических и частно-правовых воззрениях. Точно также Маркс в „Нищете философии" (см. ниже).

[5]) К. Маркс: „Нищета философии". Петерб. 1920, стр. 75. Срав. речь Маркса на Кельнском процессе 48-го года: „Общество не основывается на законах, как воображают юристы. Сами законы должны, наоборот опираться на общество. Они должны служить выражением интересов и потребностей, вытекающих каждый раз из данного материального способа производства, потребностей общественных, в противовес произволу отдельных индивидуумов. Вот в моих руках „Кодекс Наполеона", он не создал современного буржуазного общества. Наоборот, возникшее в 18 столетии и получившее дальнейшее развитие в 19-м буржуазное общество находит в этом кодексе лишь свое правовое выражение. Как только он перестанет соответствовать общественным отношениям, он обратится в простую пачку бумаги, не более („Кельнский процесс коммунистов", стр. 34).

Но еще более отдаленное „отражение всех этих действительных битв в мозгу участников" составляют „политические, юридические... теории... и их развитие в систему догм" [1]).

Вопрос о политических и правовых формах классовой борьбы осложняется при попытке определить взаимоотношение этих „форм" с действительными общественными отношениями людей. В „Анти-Дюринге" в одном месте говорится о необходимости, в противоположность идеологам, „конструировать нравственность и право... из действительных общественных отношений окружающих людей" [2]). Не совсем ясно, приравнивается ли право действительным отношениям людей, или представляет собой уже нечто последующее, сопровождающее эти отношения. В другом месте „Анти-Дюринга" Энгельс называет „мораль и право" „общественными отношениями" [3]), и наконец в той же главе он говорит о „почве морали и права", как о шаткой почве мнений и чувствований" [4]). Известное положение Маркса в предисловии: „К критике политической экономии" звучит „производственные отношения или, употребляя юридическое выражение, имущественные отношения". Однако, письмо Маркса о Прудоне от 24 февраля 1865 года говорит о „политической экономии, охватывающей всю совокупность имущественных отношений не в юридическом их выражении, не в качестве соотношений воли личностей, а в их реальной сущности, т. е. в качестве отношений производства" [5]). Наконец, в цитированной выше речи Маркса на кельнском процессе законы являются „правовым выражением" общественных интересов и потребностей, „при чем под общественными, согласно контексту, понимаются интересы господствующего класса, господствующего общественного уклада" [6]).

Таким образом право, с одной стороны, является общественными отношениями людей. С другой стороны, даже имущественные отношения могут рассматриваться в своей „реальной сущности", независимо от их юридического выражения. Право представляет „соотношения воли личностей", „мнения и чувствования", некоторые психические переживания, не совпадающие с общественными отношениями производства. Чем более развитый в смысле „теории" характер носит право, тем более оно, как идеологическая форма, отличается, от простых „мнений" и обычаев. Разумеется, при этом отражение в праве общественных отношений людей будет носить односторонний превратный характер. В особенности это проявляется тогда, когда за дело берется „объективный" идеолог, конструирующий право и нравственность „из понятия" или (подобно Дюрингу) из так называемых простейших элементов общества. Такой идеолог вынужден использовать для своих построений „материал двоякого рода: во первых, скудные остатки реального содержания, которые еще могут заключаться в этих положенных в основание абстракциях, а во-вторых, то содержание, которое наш идеолог произносит из своего собственного сознания. Но что находит он в своем сознании? Большею частью нравственные и правовые воззрения, которые более или менее точно выражают (в положительной или отрицательной форме, освещая или борясь) общественные и политические условия, при которых он живет, далее, быть

[1]) Письмо Энгельса К. Н. Бюху от 21 сент. 1890 г. ed. cit стр. 277.

[2]) Ф. Энгельс: Анти-Дюринг, ed. cit, стр. 125.

[3]) Ibid, стр. 212.

[4]) стр. 219.

[5]) См. К. Маркс: Нищета философии", пред. ст., стр. XXVIII.

[6]) Ср. „Коммунистич. манифест": „Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса".

может, представления, заимствованные из соответствующей литературы; наконец, быть может, и личные фантазии. Наш идеолог может вертеться и изворачиваться, как ему угодно, но историческая реальность, которую он выбросил в дверь, влетит обратно в окно, и, воображая, что он составляет нравственность и правовое учение для всех миров и всех времен, он на самом деле вырабатывает *искаженное* (*ибо оно оторвано от своей реальной почвы*), *словно в вогнутом зеркале перевернутое вверх ногами, изображение* консервативных или революционных течений своего времени" [1]).

Итак, целый ряд причин содействует тому, что правовые отражения действительности превращаются в правовую идеологию. Здесь играет роль и неотчетливое понимание реальных отношений и консервативные или революционные тенденции класса, литературные и иные традиции и предрасположения, субъективные представления и. т. д.

Идеологический характер права обнаруживается и в том, что, будучи „мнениями и чувствованиями", „отражающими более или менее точно" экономическое бытие общества, право само себя весьма резко отделяет от чувства и совести; это различение находит себе объяснение в односторонней сущности права, равно как в его догматической форме, и составляет даже одну из главных догм права... практическое осуществление этого различия... образует высшую ступень в развитии права" [2]).

Таким образом, право, с точки зрения Маркса и Энгельса, представляется, как отражение в „теоретизирующем" сознании всей совокупности выявляющих интересы господствующего класса и потребности общественного строя соотношений воль и иных психических переживаний людей в общественном процессе производства,—отражение, предрасположенное к неизбежному идеологическому развитию в системы догм. Эта точка зрения находит себе дальнейшее обоснование и уяснение при рассмотрении отдельных разновидностей права: государственного, гражданского, уголовного, семейного, трудового и т. п.

Политические отношения, как уже говорилось, являются отражением и выражением классовых, в конечном счете, экономических конфликтов и классовой борьбы. „Государство и государственное право определяются экономическими отношениями" [3])... „в борьбе между правительством и оппозицией отражается борьба уже раньше существующих и борющихся классов, отражается неправильно, не прямо, а косвенно, не как борьба классов, а как борьба за политические принципы, и при том так неправильно, что потребовались тысячелетия для того, чтобы мы могли разгадать, в чем дело" [4]). Поэтому отдельные политические формы носят исторический, преходящий характер, зависят от развития материальных условий. „Когда материальные условия существования общества развились настолько, что преобразование его официальных политических форм стало для него жизненной необходимостью, тогда изменяется вся физиономия старой политической власти" [5]).

---

[1]) Ф. Энгельс: „Анти-Дюринг", стр. 126.

[2]) К. Маркс и Фридрих Энгельс: „Святое семейство". Литературное наследие, т. II, стр. 270.

[3]) Ф. Энгельс: „Людв. Фейербах", стр. 68.

[4]) Письмо Энгельса к Конраду Шмидту от 27 окт. 1890 г. Сборн. В. В. Адоратского стр. 283.

[5]) К. Маркс: „Морализующая критика и критическая мораль. Против Карла Гейнцена". Литературн. Наследие, т. II, стр. 523.

„Политическое" отражение в сознании классовых интересов и классовой борьбы, в виде упомянутой „борьбы за политические принципы" предрасположено более, чем какая-либо иная форма правовых переживаний к идеологическому развитию и к идеологическому искажению действительных отношений. И это не потому, чтобы в основе своей политические отношения были оторваны от действительных отношений. Напротив того, как определенная совокупность психических взаимодействий, „политические отношения между людьми являются, конечно, в то же время и социальными, общественными отношениями, как и все отношения, в которых люди сталкиваются между собой" [1]). Причины такого идеологического извращения уясняются путем изучения истории развития государства.

Чтобы не повторять здесь исчерпывающего анализа сущности государства, роли его в социалистической революции и характера его „отмирания", произведенного В. Ильиным-Лениным в его „Государстве и революции", ограничимся самой общей сводкой некоторых положений Маркса и Энгельса, относящихся к возникновению государственной власти, материальной основе и сущности государственной идеологии.

„Общество порождает известные общие функции, без которых оно не может обойтись. Предназначенные для этого люди образуют новую отрасль разделения труда внутри общества. Вместе с тем они приобретают особые интересы также и в противоположность тем, кто их уполномочил. Они становятся самостоятельными по отношению к ним и, таким образом, является государство" [2]). Эта наиболее общая схема развития государства, из данных Энгельсом, имеет в виду, однако, лишь зародыш государственной власти. В „Анти-Дюринге" Энгельс говорит о том, как уже в первобытных общинах, где „отсутствуют общественные классы"... „с самого начала существуют известные общие интересы, соблюдение которых приходится передавать отдельным членам, хотя и под контролем общества; как подобные должности... снабжены известными полномочиями и представляют зародыш государственной власти". По мере увеличения производительных сил, плотности населения, соединение общин „вызывает новое разделение труда, учреждение органов для охраны общих и для отражения сталкивающихся с ними интересов. Эти органы, которые, как представители общих интересов целых групп, уже занимают по отношению к каждой отдельной общине обособленное, а при известных условиях даже враждебное положение, становятся вскоре еще более самостоятельными", по мере развития наследственных должностей, учащения конфликтов с другими группами и разложения общинного хозяйства. Таким образом, „в основе политического господства повсюду лежит отправление общественной службы", „всякая политическая сила основывается первоначально на экономической общественной функции", но постепенно становятся самостоятельной по отношению к обществу „и превращается в господство над обществом" [3])

Рост самостоятельности отдельных политических функций возможен и до появления государства в полном смысле этого понятия; но „господство над обществом" возможно лишь с гибелью старого родового общества, возникновением общественных классов, вследствие

---

[1]) Там же, стр. 515.

[2]) Письмо Энгельса к Конраду Шмидту от 27 окт. 1890 г. Сб. В. В. Адоратского, стр. 282

[3]) Ф. Энгельс. „Анти-Дюринг", стр. 256, 257, 262.

„разделения труда“ [1]). Поэтому, государство и представляет собой „продукт общества на определенной ступени его развития“ [2]).

С разделением общества на классы меняется смысл и содержание общественных функций. „Возникнув из потребности держать в узде противоположность классов“ и „в самых столкновениях этих классов... государство по общему правилу является государством самого могущественного, экономически-господствующего класса, который при помощи его становится также политически-господствующим классом и приобретает, таким образом, новые средства для подавления и эксплоатации угнетенного класса“ [3]). Эти средства двоякого рода: государство, как общественная власть и государство, как идеологическая сила.

Общественная власть государства отличается от прежних общественных функций тем, что уже непосредственно не совпадает с населением, самостоятельно организующимся в вооруженную силу. „Такая особая общественная власть“ существует во всех государствах: она состоит не только из вооруженных людей, но и из вещественных придатков к ним, каковы тюрьмы и всякого рода принудительные учреждения, которых совсем не знало родовое общество... Она возрастает по мере того, как обостряются внутри государства классовые противоречия и как становятся более крупными, более населенными граничащие друг с другом государства“. Для содержания этой общественной власти нужны налоги, для управления ею — чиновники, становящиеся, таким образом, „над обществом“ и „окружающие себя исключительными законами“ [4]). Так доводится до совершенства и необычайного могущества „эта исполнительная власть с ее громадной бюрократической и военной организацией, с ее многосложной и искусственной государственной машиной, с этим войском чиновников, ужасный организм — паразит“ [5]). Государственная власть все более становится „концентрированным и организованным общественным насилием“ [6]). Она „принимает все более и более характер общественной власти для угнетения труда, характер машины классового господства“ [7]). Прежний „орган общества для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений“ ныне „старается стать в независимое отношение к обществу и тем более успевает в этом, чем более является органом одного какого-нибудь класса и чем более подчеркивает господство этого класса“ [8]). „Современная государственная власть есть не более, как администрация, заведующая общими делами класса буржуазии“ [9]).

[1]) Ф. Энгельс: „Происхождение семьи, частной собственности и государства“, перевод ред. Д. Рязанова М. 1922, стр. 112.

[2]) Там же, стр. 113. Сравни предисл. Энгельса к „Гражданской войне во Франции“, Пет. 1917, стр. 11.

[3]) Там же, стр. 114. То же в „Анти-Дюринге“: „государство, т.-е. организация эксплоататорского класса для поддержания его внешних условий производства, значит, в особенности для насильственного удержания эксплоатируемого класса в определенных данных способом производства условиях подавления (рабский труд, крепостничество, наемный труд)“. Срав. „Коммунист. манифест“: „Политическая власть, в собственном смысле этого слова, есть организованная власть одного класса в целях угнетения другого“. Срав. Ф. Энгельс „Развитие социализма от утопии к науке“, М. 1917, стр. 28.

[4]) „Происхождение семьи“, стр. 113, 114.

[5]) „18-е Брюмера Луи Бонапарта“ К. Маркса. СПБ. 1905, стр. 112 и послед.

[6]) К. Маркс: „Капитал“ т. I, М. 1920, стр. 775.

[7]) К. Маркс: „Гражданская война во Франции“. Пет. 1917, стр. 38. Сравни предисл. Ф. Энгельса: „Государство есть не что иное, как орудие угнетения одного класса другим“.

[8]) Ф. Энгельс: „Людвиг Фейербах“, стр. 68.

[9]) „Коммунистич. манифест“. Ср. „Анти-Дюринг“ (стр. 403): „капиталистическая машина, государство капиталистов“ и др.

Теперь понятно, почему так сильна и получает такое значительное развитие государственная идеология: в виде исполнительной власти и государственной машины эта идеология имеет достаточно внушительный материальный базис для своего развития.

Идеология государства представляет не менее важное средство подавления и эксплоатации угнетенных классов. „Государство является первой идеологической силой, подчиняющей себе людей... Борьба угнетенного класса против класса угнетающего неизбежно становится прежде всего политической борьбой, борьбой против политического господства угнетателей. Сознание связи этой политической борьбы с ее экономической основой ослабевает, а иногда пропадает совсем. Если же оно не совсем исчезает у борющихся, то почти всегда отсутствует у историков [1]). Политическая власть, таким образом, служит „официальным выражением“ существующей противоположности классов. Государство служит ее искаженным отражением, косвенным выражением, „признанием того, что общество запуталось в неразрешимом противоречии с самим собой, что оно раздираемо непримиримыми противоречиями, которые оно бессильно устранить“. И тут выявляется сущность государственной идеологии: „для того, чтобы эти противоречия, классы с враждебными экономическими интересами не уничтожили себя и общество в бесплодной борьбе, понадобилась сила, стоящая по видимости над обществом и способная смягчить столкновения, удерживать их в пределах „порядка“ [2]). Оторванность государства от общества, его противопоставление обществу, как некоей самостоятельной силы, составляет характерный признак государственной идеологии. „Всякий возникающий общий интерес государство немедленно отрывало от общества, противопоставляло его обществу, как высший всеобщий интерес, извлекало из сферы общественной самодеятельности и делало предметом правительственной деятельности“ [3]). Этот отзыв Маркса о легитимной и июльской монархиях вполне приложим ко всякому чрезмерному развитию государственно-правовой идеологии [4]).

Укрепление государственной идеологии, теории самостоятельности и общественной полезности государства, идет различными путями. Прежде всего, авторитет ее подкрепляется внушительной государственной машиной, слишком сложной для того, чтобы можно было усмотреть в ней организацию господствующего класса. Затем, в некоторые переходные периоды действительно случается, что „государственная власть, в качестве мнимого посредника, временно приобретает известную самостоятельность“ по отношению к борющимся классам [5]). Кроме того, в противоположность прежним государственным формам, где „представляемое гражданам право соразмерилось с их имущественным положением и этим открыто признавалось, что государство является организацией имущего класса для защиты его от неимущих“, в противоположность им, „высшая форма государства, демократическая республика... официально ничего не знает уже об имуще твенных различиях. В ней богатство пользуется своей властью косвенно,

[1]) Ф. Энгельс: „Людвиг Фейербах“, стр. 68.

[2]) Ф. Энгельс: „Происхождение семьи“, стр. 113.

[3]) К. Маркс: „18 Брюмера Луи Бонапарта“, стр. 112.

[4]) В качестве примера „живущейся самостоятельности государственной власти, можно привести следующее замечание Маркса: „Этот человек — король лишь потому, что другие люди относятся к нему, как подданные. Между тем они думают, наоборот, что они подданные потому, что он король“ (Капитал, т. I, стр. 25). В предисл. к „Гражданск. войне во Франции“ Энгельс говорит о „суеверном почтении к государству“ (стр. 12).

[5]) Происхождение семьи, стр. 114.

но тем вернее": при помощи подкупа чиновников, государственной задолженности бирже и „всеобщего избирательного права" [1]).

Наконец, сделавшись силой, независимой от общества, государство немедленно порождает новую идеологию, в лице профессиональных политиков, выдвигающих те или иные „политические принципы" и теоретиков государственного права, оформляющих результаты классовой борьбы — государственные конституции — и создающих на их основе „системы догм".

3.

Государство зиждется на „гражданском обществе", определенной форме экономических отношений людей. „Гражданское", т.-е. буржуазное общество в конкретном случае, с точки зрения Маркса, не только „аггрегат" самостоятельных лиц или „атомов", как это полагал Гегель [2]). Члены гражданского общества „не атомы", потому что они связаны не только „отвлеченным, формальным правом", но и общими интересами [3]). Этими интересами и определяется характер государства.

„Роль гражданского права в сущности сводится к законодательному освещению существующих при данных обстоятельствах нормальных экономических отношений между отдельными лицами" [4]).

Казалось бы, гражданское право должно было бы лежать в основе всех дальнейших юридических построений, а государственное право—всецело зависеть от гражданского. Но взаимоотношения между ними гораздо сложнее.

Если экономические отношения, отражающиеся в гражданском праве, развиваются ранее соответствующих форм государства и, таким образом, предопределяют государственное право, то юридическое выражение этих экономических отношений развивается в связи с уже существующим государственным правом и в тесной от него зависимости. „Все потребности гражданского общества— независимо от того, какой класс господствует в данное время—необходимо должны пройти через волю государства, чтобы добиться законодательного признания. Это формальная сторона дела, которая сама собой разумеется". „Чтобы получить санкцию закона, экономические факты должны в каждом отдельном случае принять вид юридических отношений" [5]). И при этом, хотя, в конечном счете, и „государственная воля определяется изменяющимися потребностями гражданского общества, преобладанием того или иного класса и т. д.".. „приходится считаться со всей системой уже существующего права" [6]). „В современном государстве право не только должно соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, но также быть выражением внутренне согласованным, которое благодаря внутренним противоречиям не шло бы само против себя. А для того чтобы этого достичь, точность отражения экономических отношений страдает все более и более. Подобное явление встречается тем чаще, чем

[1]) Там же стр. 114, 115.

[2]) См. Философия духа. „Гражданственность". Энциклопедия №№ 523, 529. Впрочем, одновременно Гегель определяет гражданское общество, как „рефлективную целость взаимных отношений", подчеркивая таким образом момент „отношений" членов общества. (Там же № 517).

[3]) К. Маркс. „Святое семейство" Лит. наследие т. II.

[4]) Ф. Энгельс: „Л. Фейербах", стр. 68.

[5]) Там же стр. 67 69.

[6]) Там же.

реже случается, что кодекс законов представляет из себя резкое, несмягченное, правдивое выражение господства одного класса. Это противоречило бы общей правовой идее" [1]). В необходимости внутреннего согласования права лежит основа, в общей правовой идее заключается сущность частно-правовой идеологии.

Формы законодательного освящения частно-правовых отношений весьма различны. Можно придать буржуазный смысл старому феодальному праву, как это делалось в Зап. Европе и, в частности, в Англии [2]) можно принизить до уровня мелкобуржуазного или полуфеодального общества „первое всемирное право общества состоящего из товаропроизводителей, т.-е. римское право" и даже „юридически исказить его с помощью будто бы просвещенных, считающихся с нравственными требованиями, юристов" (прусское земское право). Можно „фальсифицировать", „смягчить" и „ослабить" выраженную в Наполеоновском кодексе „чистую последовательную идею революционной буржуазии", в виду нарастания революционного движения пролетариата [3]). Компромисс между общественными классами, таким образом, не только выражается в компромиссе между формой и содержанием, но и в некотором изменении, в связи с этим самого смысла содержания и в неточном отражении действительных экономических отношений [4]). „Если гражданские правоопределения представляют собой лишь юридическое выражение экономических условий общественной жизни, то они, смотря по обстоятельствам, выражают их иногда хорошо, иногда и плохо" [5]). „Ход правового развития состоит, главным образом, в том, что сначала пытаются устранить противоречия, вытекающие из непосредственного перевода экономических отношений в юридические права, а потом влияние и принуждение дальнейшего экономического развития опять постоянно ломает эту систему и вовлекает ее в новые противоречия („я здесь говорю,—замечает Энгельс,—пока только о гражданском праве") [6]).

Все эти причины способствуют тому, что и гражданское право получает идеологическое развитие. „Сделавшись силой, независимой от общества, государство немедленно порождает новую идеологию". И „у юристов, занимающихся гражданским правом, экономические отношения совсем исчезают из виду... Юридическая форма кажется всем, экономическое содержание—ничем.—Как государственное, так и частное право... рассматриваются, как независимые области, которые имеют свое отдельное историческое развитие, и которые должны и могут быть подвергаемы самостоятельной систематической разработке путем последовательного устранения всех внутренних противоречий" [7]). „Отражение экономических отношений в виде правовых принципов необходимо является точно также стоящим вверх ногами. Это отражение совершается так, что этот процесс не доходит до сознания действующего лица. Юрист воображает, что действует с априорными положениями, а это всего лишь экономические отражения. Таким

[1]) Письмо Энгельса к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г. стр. 283.

[2]) „Ср. Английское право выражает экономические отношения капиталистического общества варварским феодальным языком" (Ф. Энгельс предисловие к англ. изданию „Развития науки к социализму).

[3]) Ф. Энгельс: „Л. Фейербах" стр. 68. Письмо к К. Шмидту стр. 284.

[4]) Ср. предисловие Энгельса к англ. изданию: „Развития социализма от утопии к науке". В английском праве, в результате компромисса между землевладением и капиталом получилось так, что оно сохранило в чистоте „лучшую часть старо-германских вольностей".

[5]) „Люд. Фейербах" стр. 68.

[6]) Письмо к К. Шмидту, стр. 284.

[7]) „Люд. Фейербах", стр. 69.

образом, все стоит на голове“ [1]). „Стоя на точке зрения юридических иллюзий он рассматривает не закон, как продукт материальных отношений производства, а наоборот, отношения производства, как продукт закона“ [2]).

Частно-правовая идеология, таким образом, развивается в тесной связи с „политической“ идеологией и в зависимости от этой последней. Поэтому идеологический характер носит и упомянутое выше историческое отделение публичного права от частного права, „общих интересов“ от „частных интересов“. „Во всей истории созидание „общих интересов“ происходит при посредстве индивидуумов, определенных как частные люди“... Эта противоположность лишь мнимая, так как одна сторона,— так называемые „общие интересы“—беспрерывно производится другой—частными интересами и вовсе не является по отношению к ней самостоятельной силой, с особой историей;... это противоречие на практике постоянно уничтожается и вновь создается“ [3]).

Вышеотмеченная взаимозависимость и моменты расхождения позднейшего правопонимания Маркса с его первоначальными гегельянскими воззрениями могут быть поняты нами теперь более углубленно. Согласно Гегелю, государство „совмещает в себе принципы, на которых основаны семейство и гражданское общество; оно... должно ограждать семейство и руководить гражданское общество... своею властью ограничивать эти подчиненные ему сферы и сдерживать их в своем субстанциональном единстве“ [4]). „В развитии научного понятия государство кажется результатом, в действительности же государство скорей есть первое начало“. Государство поэтому не служит, а господствует, оно есть не средство, а цель, цель в себе, высшая из всех целей, нравственный организм; как верховный разум, оно возвышается над гражданским обществом, „государством нужды и рассудка“, как высшее завершение права, оно стоит над церквами, сословиями, корпорациями. Разумная конституция по существу есть система посредничеств и примирений государственной власти с отдельными сословиями и корпорациями гражданского общества. Жизнь гражданского общества, область частного права, таким образом, регулируется государством, противоположности его „примиряются“—посредством издаваемых государством законов [5]).

В позднейших воззрениях Маркса и Энгельса сохраняется как представление о том, что государственная власть стоит „над“ обществом, так равно и то, что законы гражданского общества считаются уже „со всей системой существующего права“. Но само „гражданское общество“ уже превратилось из логической ступени в результат исторического развития, конкретно в буржуазное общество. Поэтому названные представления переносятся в область идеологического мышления. Государство оказывается „по видимости“ стоящим над обществом, а законодательство ограничивает само себя, смягчает острые углы, чтобы не противоречить „общей правовой идее“,—идеологическому представлению о государстве, как силе, стоящей над частными интересами. Интереснейший случай воздействия идеологии на дальнейшее идеологическое развитие!

---

[1]) Письмо к Конраду Шмидту, стр. 284.
[2]) К. Маркс: „Капитал“, т. I, стр. 629.
[3]) К. Маркс и Ф. Энгельс „Святой Макс“, стр. 207.
[4]) Гегель. „Энциклопедия“. Право, №№ 525, 537.
[5]) Гегель: „Философия права“, № 256 и др.

Остановимся на некоторых примерах понятий частного права, развитие которых получает идеологический характер.

Таким является понятие „равенства“, не только когда оно понимается, как равенство перед законом, но и как равная правоспособность членов общества по отношению друг другу и равное право их на владение собственностью. Равенство в таких случаях мыслится отвлеченно, оторвано от равенства в экономической области; равноправие оказывается частно-правовой идеологией, поскольку неравномерно распределены самые объекты права. „Пролетарское требование равенства есть требование отмены классов“ [1]). „Точно также понятие „свободы“, поскольку оно мыслится от исторической неизбежности и необходимости, представляет идеологическое извращение действительности и отдаленное отражение интересов буржуазного общества. Равным образом и самое понятие „личности“ не может быть отделяемо от конкретных общественных отношений“. „Человек сначала смотрится, как в зеркало, только в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу, как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе, как к человеку“ [2]).

Но чаще всего получает идеологическое развитие основное понятие „вещного“ права, понятие собственности, поскольку оно мыслится обычно лишь, как частная собственность. Это не означает, что Маркс и Энгельс отвергают все виды собственности, понимаемой как присвоение. „Всякое производство,—замечает Маркс,—есть присвоение индивидуумом благ природы внутри определенной общественной формы и посредством нее. В этом смысле будет тавтологией сказать, что собственность (присвоение) есть условие производства. Смешно, однако, делать отсюда прыжок к определенной форме собственности, напр. к частной собственности“ [3]). Та или иная форма собственности зависит от характера общественных отношений и представляет их завершение. „В каждую историческую эпоху собственность развивалась различно и при совершенно различном складе общественных отношений. Поэтому определить буржуазную собственность—значит сделать не что иное как описание всех общественных отношений буржуазного производства. Стремление определить собственность, как независимое отношение, как особую категорию, как абстрактную и вечную идею—значит впадать в метафизическую и юридическую иллюзию“ [4]). Попытка Прудона объявить владение „общественной функцией“ (как давно, оказывается, был предупрежден Леон Дюги!) представляет собою: „вне вещи лежащее“, „отчужденное“ выражение того факта, что предмет, как бытие человека, как предметное бытие человека, есть в то же время существование человека для другого человека,

---

[1]) Ф. Энгельс: „Анти-Дюринг“, стр. 142. У Гегеля равенство выдвигается скорей, как правовое требование разума, чем как признание исторически возможного и осуществимого равенства.
[2]) „Капитал“ т. I. стр. 20. Срав. у Гегеля: личность еще не полна, когда ей противополагаются одни внешние вещи. Личность есть бесконечное соотношение субъекта с самим собой, она... является действительной личностью только тогда, когда ей противостоят другие лица, когда она приходит в соотношение с ними, и они взаимно признают друг друга (Энциклоп., Право № 490). Гегель отрицает также деление права на личное и вещное, так как „вещное право есть право личности“.
[3]) К. Маркс: „К критике полит. экономии. „Введение, стр. 10, (Маркс и Энгельс говорят об „индивидуальной собственности“ и „индивидуальном присвоении“ в обществе будущего („Капитал“, „Анти-Дюринг“).
[4]) К. Маркс: „Нищета философии“. Петерб. 1920, стр. 122.

его человеческое отношение к другому человеку, общественное поведение человека по отношению к человеку" [1]).

Исторически понятие собственности появляется довольно поздно: „существуют семьи, роды, которые еще только владеют, но не имеют собственности" [2]). Идеологией является изображение собственности как „вечной идеи", и столь идеологический характер носит представление о ней, как о чем то неуничтожаемом, неотъемлемом. „В действительности я обладаю частной собственностью постольку, поскольку у меня есть что либо для продажи... Мой сюртук лишь до тех пор моя частная собственность, покуда я его могу продать, заложить. Если же он теряет свое свойство, превращается в лохмотья, то для меня он может еще иметь всякого рода свойства, которые являются ценными для меня, он может даже стать другим свойством, может сделать меня оборванцем, но ни одному экономисту не придет в голову причислить его к моей частной собственности, ибо он не дает мне возможности распоряжаться, хотя бы самым ничтожным количеством чужой работы. Юрист, идеолог частной собственности, может конечно еще здесь кое-что выкопать и пороть дичь". [3]) Точно так же и средство производства, например, земельный участок становится собственностью лишь постольку, поскольку он дает земельную ренту, а это зависит от всей совокупности общественных отношений.

Вообще говоря, „все формы собственности—суть общественные отношения, соответствующие определенным ступеням производства" [4]). Поскольку такое общественное, экономическое отношение, историческое и преходящее, отвлекается от всей совокупности общественных отношений и становится исходным пунктом самостоятельного развития идей,—возникает идеология частной собственности

Искажение действительных общественных отношений достигает особой силы в обществе „товарного фетишизма", где они „принимают вещный характер", где люди теряют сознание своей общественной связи и, выражаясь языком Гегеля, „находят свою связь в вещи".

Здесь идеология частной собственности получает дальнейшее идеологическое развитие в „юридической сделке", – начиная с простой купли продажи. Понятие товара предполагает идеологическое представление о частной собственности, а эта последняя совокупность общественных отношений находит себе юридическое выражение лишь в процессе обмена. Люди носят „характерные экономические маски", „существуют здесь одни для другого: лишь как представители товаров". „Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу, как товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу, как лица, воля которых господствует в этих вещах; таким образом, один товаровладелец лишь по воле другого, следовательно, каждый из них лишь при посредстве одного общего им обоим волевого акта может присвоить себе чужой товар, отчуждая свой собственный. Следовательно, они должны признавать друг в друге частных собственников. Это юридическое отношение, формой которого является договор—все равно, выражен ли он законно, или нет,—есть волевое отношение, в котором отражается экономическое отношение.

[1]) „Св. семейств." Лит. наслед. т. II, стр. 164, см. „Коммунист. манифест:" собственность в ее современной форме движется между противоположными точками капитала и наемного труда". Ср. у Гегеля: „лица свободны и независимы, но сознают свое тожество, они, как крайние термины силлогизма, находят свою связь в вещи". (Энцикл. объект. право № 491.)

[2]) „К критике полит. экон."—введение, стр. 26.

[3]) К. Маркс и Ф. Энгельс: „Святой Макс", стр. 194.

[4]) Там же, стр. 195.

Содержание этого волевого или юридического отношения дано самим экономическим отношением" [1]). В действительности „отношения, существующие между покупателем и продавцом настолько не индивидуальны, что они оба вступают в них—поскольку отрицается индивидуальный характер их труда" [2]).

„Юридические иллюзии" свободного волеизъявления и договорных отношений лежат в буржуазном обществе в основе и других видов частного права; брачно-семейного, трудового и т. д.

„Наши юристы... полагают,—говорит Энгельс,—что прогресс законодательства в все большей мере отнимает у женщин всякое основание жаловаться. Законодательства современных цивилизованных стран все более и более признают, что, во-первых, брак, чтобы быть действительным, должен являться договором, добровольно заключенным обеими сторонами, и что, во-вторых, обе стороны во время брачного сожительства должны иметь по отношению друг к другу одни и те же права и обязанности. Но если эти два требования последовательно проведены, женщина располагает всем, что только может требовать... В отношении брака закон, даже самый прогрессивный, вполне удовлетворяется, если заинтересованные стороны формально засвидетельствовали свое вступление в брак. Что происходит за юридическими кулисами, где разыгрывается действительная жизнь, как получается это добровольное согласие,—обо всем этом закон и юрист могут не беспокоиться" [3]).

И в противовес „чисто юридической аргументации" Энгельс подробно выясняет экономические корни современного брачного права, иллюзорность отсутствия якобы юридических привилегий при домашнем рабстве женщины и ее зависимости от кормильца семьи, мужчины, роль экономики и традиций в создании „нерасторжимого брака". Понимание брака, как „свободного" договора, объясняется стремлением буржуазного общества все обращать в товары, в куплю-продажу.

То же относится и к так наз. рабочему договору. „Рабочая сила может появиться на рынке в виде товара лишь тогда и лишь постольку, когда и поскольку она выносится на рынок или продается своим собственным владельцем, т.-е. тем лицом, рабочей силой которого она является. Чтобы ее владелец мог продавать ее, как товар, он должен иметь возможность распоряжаться ею, следовательно, должен быть свободным собственником своей собственности к труду, свободной личностью. Собственник рабочей силы и собственник денег встречаются на рынке и вступают между собой в сделку, как равноправные товаровладельцы, различающиеся лишь тем, что один покупает, в то время, как другой продает, следовательно, как юридически равные лица". Таково чисто юридическое обоснование наемного труда. „При этом характерной особенностью капиталистической эпохи является тот факт, что рабочая сила для самого рабочего принимает форму принадлежащего ему товара"... „Рабочий договор должен заключаться добровольно обеими сторонами. Но он признается заключенным добро-

[1]) „Капитал" т. I, стр. 53 и др. Образец такой правовой идеологии мы находим у Гегеля: „Когда я вложил свою волю в вещь, я один имею право изъять ее из вещи, и вещь может перейти к другому лицу и сделаться его собственностью не иначе, как с моего согласия, равно как и с согласия этого лица ,т.-е. по договору" и т. д. (Энциклоп., право) № 492).

[2]) К. Маркс: „К критике политич. экономии. Петр. 1918, стр. 83.

[3]) Ф. Энгельс: „Происхождение семьи", стр. 43, 48, 53, 54. Гегель возражает против понимания брака, как договора, считая, что хотя брак становится юридическим институтом, но „юридические отношения первоначально чужды его идее" (Философия права № 71. Энциклопед. № 523).

вольно, поскольку закон на бумаге признает равными обе стороны. До власти, которую различное классовое положение дает одной стороне,—до действительного экономического положения обеих сторон,—до всего этого закону нет дела. И на все время действия рабочего договора, обе стороны опять-таки должны быть равноправны, поскольку одна или другая из сторон определенно не отказались от своих прав. Закон и тут ничего не может поделать против того, что экономическое положение заставляет рабочего отказываться даже от последней тени равноправия" [1]). А между тем, в действительности, рабочий лишен всех иных товаров для продажи, „гол как сокол", „является, так сказать, собственностью всего буржуазного класса", „не пользуется обеспеченным существованием", каковое обеспечивается „только рабочему классу в его целом" и т. д. [2]). Развитие рабочего законодательства, изложенное в „Капитале" и „Положении рабочего класса в Англии",—которое протекало под двойным давлением господствующего класса, с одной стороны, борющихся за свои права рабочих, с другой,—выявляет всю иллюзорность этого „договора", маскирующего самую грубую эксплоатацию.

Точно также тесно связано с экономическими отношениями наследственное право. В своей переписке с Лассалем, Маркс объявляет борьбу всем его попыткам создать идеологию наследственного права, которое у Лассаля рассматривалось, как непрерывная цепь идей, исходящих из римского завещания. Маркс выдвигает возможность самостоятельного развития завещания на почве буржуазных производственных отношений [3]).

Понятие „правонарушения" составляет переход от частного права к уголовному. Поскольку область уголовного и судебного права развивается в тесной зависимости от системы государственного и гражданского права, в ней точно также нарождается не мало юридических иллюзий, основанных на отрыве от действительных общественных отношений.

К числу таких идеологических уклонов нужно отнести в первую голову своеобразное понимание „правонарушения" и стремление к „сохранению законной почвы". На Кельнском процессе 48-го года Маркс блестяще доказал своим судьям, что понятия „законности" и „правонарушения" совершенно теряют свой смысл в революционные моменты, когда меняется вся система действующего права. „После удачной революции можно повесить своих противников, но нельзя произнести над ними законного приговора. Их можно устранить, как побежденных врагов, но не нельзя судить, как преступников. Нельзя, совершивши революцию или контр-революцию, применять низвергнутые законы против защитников этих же самих законов... При обыкновенных условиях государственная власть приводит в исполнение существующие законы. Преступник тот, кто нарушил эти законы или противодействует властям привести эти законы в исполнение. В данном случае (разумеется борьба короны с Национальным собранием, И. Р.), одна государственная власть нарушила закон, а другая государственная власть—безразлично какая—его отстаивала; борьба между

[1]) Сравн. известное иронической восклицание Маркса в „Капитале" т. I (стр. 152) „Сфера обращения или обмена товаров, в рамках которой осуществляется купля и продажа рабочей силы, есть истинный эдем прирожденных прав человека. Здесь господствуют только свобода, равенство, собственность и Бентам. Свобода Ибо покупатель и продавец товара напр. рабочей силы подчиняются лишь веленьям своей свободной воли" и т. д.

[2]) „Капитал" т. I, стр. 142, 144, 145: „Происхождение семьи", стр. 48. Ф. Энгельс „Принципы Коммунизма" см. изд. „Коммунист. манифеста" Д. Рязанова М. 1923 г.

[3]) См. Письма Ф. Лассаля К. Марксу и Ф. Энгельсу, русск. пер. №№ 66, 67.

двумя государственными властями не относится ни к области частного права, ни к области уголовного". И, раскрыв классовую сущность происходившей революционной борьбы, Маркс отвечает: что же в данном случае означает сохранение законной почвы? „Сохранение законов, которые принадлежат прошедшей общественной эпохе, созданы представителями уже исчезнувших или исчезающих общественных интересов, и выражают, следовательно, в форме закона лишь эти интересы, ставшие в противоречие с общественными потребностями... Сохранение законной почвы стремится поставить частные интересы в положение господствующих, когда на деле они уже перестали господствовать; стремится навязать обществу законы уже осужденные жизненными потребностями этого общества. Сохранение законной почвы оставляет законодательную власть в руках законодателей, преследующих лишь частные интересы и означает злоупотребление государственной властью". Энгельс в своем предисловии добавляет: „нет такой глупой революционной партии, которая не сумела бы для каждого возмущения найти... основательные правовые мотивы" [1]). И в другом месте: „Совершенно бесполезно применять исключительно законные средства защиты по отношению к врагу, который совершенно не считается с такими соображениями" [2]).

Таким образом, возвеличиваемое юристами понятие „законности" превращается в орудие в руках реакционного класса: уголовное и судебное право—в средства сохранения и поддержания превосходящих систем гражданского и государственного права. „Неудивительно, что государственная власть, в целях борьбы с угнетенным классом по выражению Энгельса, „превращает весь уголовный свод законов напр. пролетариата, „законы являются для него просто рядом буржуазных предрассудков, за которыми скрываются буржуазные интересы [4]). Так, „преступление" по отношению к собственности совершается каждым революционным классом, идущим к господству: „это борьба против одной формы собственности во имя другой формы собственности" [5]).

Отвлеченным отражением господствующих общественных отношений является и господствующая теория наказания. Еще в „Святом семействе" Маркс обнаруживает причудливые соединения криминалистики с общественными отношениями и создающимися на почве последних религиозными представлениями. Так „теория наказания, соединяющая юриспруденцию с теологией..., теория наказания католической церкви... считает изувечение, парализование человеческих сил противоядием против разрушительного действия этих сил... одновременно желает „соединить месть преступнику с наказанием его и сознанием своей греховности". Такой же религиозный характер, во с точки зрения уже иного класса, носит и „методическая целлюлярная система"—„это изолирование человека от внешнего мира и насильственное погружение в глубокое душевное одиночество", следствием чего „является раньше или позже умопомешательство заключенного". Иронизируя по поводу предлагаемой романистом Эженем Сю

[1]) Речь К. Маркса перед Кельнским судом присяжных, стр. 7, 19, 20, 24.

[2]) Ф. Энгельс: „Революция и контр революция в Германии", стр 84. Сравн. у Гегеля „В сфере права насилие неизбежно... Применение силы в интересах права законно только тогда, когда оно служит к обузданию предшествующего непосредственного насилия" (Энцик. права № 501).

[3]) Предисловие Ф. Энгельса к „Классовой борьбе во Франции" К. Маркса.

[4]) „Коммунистический манифест".

[5]) Там же.

теории „криминальной" и „награждающей" юстиции—дополнительного надзора за добродетелью—этой теории современного общества, Маркс указывает, что и „в небесной теории криминалистики идеализирована земная теория, подобно тому, как в божеском награждении идеализирована система наемного труда".

На этой почве дополнительно развивается идеология криминалистики. По гегелевской теории наказания,... „наказание есть приговор, который преступник произносит сам над собой"... У Гегеля эта теория являлась спекулятивным покрывалом древнего „jus talionis", которое Кант развил, как единственную правильную теорию наказания. У Гегеля самоосуждение преступника остается только „идеей" спекулятивным истолкованием ходячих эмпирических уголовных наказаний. Он предоставляет выбор формы наказания данной образовательной ступени государства, т.-е. оставляет наказание таким, каким оно есть на самом деле. По поводу этой теории Маркс замечает: „Теория наказания, которая в преступнике признает в то же время человека, может это делать только в абстракции, в воображении, именно потому, что наказание, присуждение противоречит человеческому поведению... Напротив, при человеческих отношениях наказание действительно будет не более как приговором, который провинившийся произносит над самим собой. Его не смогут убедить, что внешнее насилие, произведенное над ним другими, есть насилие, его насилие, произведенное им над собой. В других людях он, напротив, будет видеть естественных спасителей от наказания, которое он сам наложил на себя, т.-е. отношение примет как раз обратную форму" [1]).

Идеологическое развитие в судебном праве находит себе выражение в „непрерывности действия судебных прецедентов", какая напр. имела место в Англии [2]). О том, в какой зависимости от общественных отношений стоит форма судебного процесса и чего стоит правосудие господствующих классов, красноречиво говорит пресловутый Кельнский процесс коммунистов: „Христианско-германское правительство не гнушается взламыванием письменных столов, кражей чужих бумаг, вымогательством ложных показаний, организацией инсценированных заговоров, изготовлением подложных документов, лжеприсягами, подкупом к ложно-свидетельству,—все для того, чтобы добиться осуждения кельнских обвиняемых"...[3])

Впрочем, кельнский процесс только один из многочисленных, хорошо известных примеров защиты интересов господствующих классов при помощи судебной „объективности".

Мы использовали лишь частично (4 глава) материал, имеющийся по вопросам права в сочинениях Маркса и Энгельса. Для соответствующих теоретико-правовых выводов можно было бы использовать и обширные содержащиеся в них рассуждения и отдельные замечания экономического и социально-политического характера о наемном труде, торговле, кредите, земельной ренте и т. д., а также характеристики отдельных государственных форм, конституций, правового положения различных общественных групп. Такая работа вышла бы за пределы настоящего сжатого очерка. Однако, всего сказанного достаточно для подведения некоторых итогов.

[1]) „Святое семейство". Литерат. наследие, т. II, стр. 328, 329, 337, 338, 339, 340.
[2]) Ф. Энгельс: Предисловие к английск. перев. „Развития научного социализма".
[3]) Разоблачения о Кельнском процессе. Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. III, стр. 467. Срав. классовую месть над парижскими коммунарами,

Право представляет собой своеобразное отображение в человеческом сознании определенной совокупности экономических отношений, классовых противоречий и сопровождающих их, выявляющих их с одной стороны психических переживаний. Экономическая необходимость, этот материализованный „абсолютный разум" Гегеля, ведет к господству различных общественных классов, создает соответствующие формы общественного поведения, соответственные эмоциональные и волевые переживания принужденных к этому поведению людей. Но экономические отношения и классовые интересы могут найти в психических переживаниях более или менее отдаленное отражение: в непосредственных следующих за действием переживаниях или в отвлеченных об этих действиях и отношениях, представлениях, идеях. Если дело ограничивается непосредственными переживаниями, то возникает т. н. „обычное право", система общественного поведения, относительно верно отражающая общественную экономику и совпадающая с пришедшей к такому же состоянию нравственностью: это может имет место как в доклассовом обществе, так и в бесклассовом обществе будущего, „при человеческих отношениях". Но в историческую эпоху классовой борьбы, в особенности, при капиталистических отношениях, право (равно как и нравственность), — благодаря усложнившемуся разделению труда и своему психологическому воздействию,— приобретает самостоятельное, в отвлеченных представлениях отрывающееся от непосредственных переживаний и экономических отношений, идеологическое развитие. Экономически и социально неизбежные формы общественного поведения представляются, как отношения якобы „свободных воль" [1]) и кажутся таковыми не только угнетающим, но зачастую и угнетенным классом. Непосредственные, связанные с общественным поведением переживания, в частности те из них, которые определяют взаимоотношения между лицами и между ними и общественной властью, получают искаженное, соответствующее интересам господствующего класса и потребностям экономического уклада, отражение в отрывающихся от действительности теориях и „системах догм". Дальнейшему идеологическому развитию отдельных видов права способствует и то обстоятельство, что для более полного и систематического воздействия на психику угнетенных классов право должно принимать внешние официальные формы „законов". При этом приходится согласовать новые законодательные выявления права как с господствующей политической идеологией, так и с прежним законодательством и его юридическим пониманием: получается сложная идеологическая цепь, находящая в государственной машине, накопляющихся законодательных актах, судебных прецедентах весьма солидную „материальную базу".

Поэтому в своем правовом отражении, „политических и правовых формах", действительные отношения отражаются, как в „вогнутом зеркале", „стоят на голове", в „обратном отношении" к действительности, юридическое мышление замыкается „в самом себе", "юридическая форма кажется всем, экономическое содержание—ничем". Будучи продуктом экономических отношений и классовой борьбы, право представляется, напротив того, регулирующим эту общественную жизнь. Государство кажется устраняющим классовую борьбу, в то время, как оно ее олицетворяет и лишь замаскировывает. Понятие частной собственности отрывается от своей исторической почвы

[1]) В „свободе" находит себе выражение „необходимость", в юридическом, волевом отношении—экономическое отношение,—в согласии с Гегелевым пониманием взаимоотношений „формы" и „сущности".

и становится априорной основой дальнейших произвольных юридических построений и т. д. Самое разграничение понятий „общественных" и „частных" интересов, „публичного" и „частного" права носит так же, как мы видели, идеологический характер.

Понятно, почему прежние излюбленные юристами методы изучения права, напр., ищущий корни права в прошлом, „исторический" метод, а также оценивающий право с точки зрения отвлеченных принципов, „цивильно-политический" метод сами по себе представляют продукт идеологического мышления и были мало приемлемы для Маркса и Энгельса. Точно так же и догматическое изучение права с точки зрения соответствия или несоответствия основным правовым принципам, правовой „идее", могло представлять для них весьма ограниченный интерес. Самые правовые принципы являются, с их точки зрения, преходящими, исторически обусловленными идеями, изменяющимися с изменением экономических условий. Регулирующее действие правового принципа может сказаться лишь в узко-специфической, идеологической области, представляющей крайне превратное и неточное отражение действительных общественных отношений. Наконец, и это важно отметить, система права обычно не соответствует этому правовому принципу и не может ему соответствовать в полной мере уже потому, что она представляет собой известный компромисс выражения действительных экономических отношений, политической идеологии и развивающейся при их совместном воздействии частно-правовой идеологии. Очень часто этот компромисс усложняется воздействием на право отживающих или революционных общественных классов и предшествующих юридических систем. По всем этим причинам Маркс и Энгельс отрицательно отзываются о „теоретиках государственного права", „юристах — идеологах частной собственности" и противоставляют „юридической аргументации" и „юридическим иллюзиям" социологическую и экономическую точки зрения на право.

Вместе с правовыми принципами, с правовыми „идеями" столь же переходящими представляются им и все прочие правовые понятия, уступающие место другим при победе нового класса. И если бы на это возразили указанием на общность некоторых правовых понятий для различных эпох (государство, собственность и т. д.), Маркс ответил бы: „эксплоатация одной части общества другой частью есть общий всем прошлым векам факт. Ничего нет удивительного, что общественное сознание всех веков, несмотря на все разнообразие, на все различия, вращалось в известных общих формах" [1]). Поэтому нет абсолютного права, как нет абсолютной правовой идеи: можно „считать за обсолютное только процесс, а не временный его результат, и никакой правовой идеи не могло появиться, кроме самого исторического процесса" [2]).

Одна о, несмотря на преходящность правовых понятий и ту роль, которую играет превратное сознание в образовании „политической и правовой надстройки", было бы большим заблуждением приписывать последней чересчур несущественный, призрачный характер. Прежде всего, правовая и политическая идеологии представляют собой совершенно неизбежный и необходимый для данной ступени продукт общественного развития. Экономическое развитие с необходимостью порождает те или иные формы сознания, в которых оно может находить свое отражение. Волевые отношения индивидуумов, якобы свободных воль, „это—необходимые формы индивидуальности на определенной ступени развития общественного процесса производства" [1]). Будучи необходимым и в данных условиях естественным элементом общественной жизни, правовая и политическая идеологии приобретают известную самостоятельность, а, стало быть, возможность „обратного влияния" и „обратного действия" на общественную жизнь. Кроме того, право является единственно возможным для данной формы сознания выражением экономики и ее воздействия на все состояние сознания. „Экономика здесь ничего не создает непосредственно от себя (unmittelbar von sich aus), она определяет вид изменения и дальнейшего развития имеющегося на лицо мыслительного материала, но даже и это она производит по большей части лишь косвенным образом, так как важнейшее прямое действие оказывают... политические, юридические, моральные отражения" [2]). Наконец, право и политическая идеология, как уже выяснилось, отнюдь не представляют собой чисто психологическую „надстройку", но имеют и весьма солидную „материальную" основу в виде условий распределения, воздействующих на производство и т. п., а главное, в виде политической машины государственной власти, представляющей „точно так же экономическое могущество". Мнимое отношение воль отдельных лиц является, в сущности, отражением весьма реального отношения сил и воль целых общественных классов.

Поэтому право и оказывается могущественным орудием в руках господствующих классов и воздействует на весь ход общественного исторического развития. В своих письмах от 21-го сентября и 27 октября 1890 г. Энгельс указывает, что экономическое положение это— „основа", которая рано или поздно прокладывает себе дорогу, „но различные моменты надстройки также оказывают влияние, хотя и второстепенное и „определяют преимущественно форму исторической борьбы". Такое же воздействие оказывают и политические формы классовой борьбы и „результаты—конституции", правовые формы, политические и юридические теории и т. д.

Но право влияет на ход исторического развития не как „нормативная", „регулирующая" сторона общественной жизни, как это полагали Руд. Штаммлер и некоторые другие критики Маркса, но главным образом, и преимущественно, как идеология, постольку, поскольку оно принимает идеологическое развитие, и в тех пределах, в которых идеология может влиять вообще. В бесклассовом обществе будущего влияние права на историческое развитие будет минимальным, т. к. „система общественного поведения" будет довольно точно воспроизводить общественную экономику и следовать ее развитию. В обществе же классовой борьбы влияние права значительно потому, что сохраняется некоторая возможность самостоятельного развития, хотя бы это самостоятельное развитие было идеологическим. „Новая самостоятельная сила в общем и целом должна следовать за движением производства, но она оказывает также опять-таки воздействие на условия и ход производства в силу присущей ей или, вернее, однажды полученной и постепенно развивающейся дальше относительной самостоятельности".

Так, во всяком политическом движении мы имеем „взаимодействие" двух неравных сил, экономического движения, с одной стороны, и с другой стороны, политической силы, стремящейся к наибо-

[1]) „Коммунистический манифест".
[2]) „Письмо Энгельса К. Марксу от 29 декабря 1861 г., сбор. В. Ахоратского, стр. 701.

[1]) К. Маркс. „К критике политич. экономии", стр. 84.
[2]) Письмо Энгельса к К. Шмидту от 27 окт. 1890 г.

лее возможной самостоятельности политической силы, одаренной также и самостоятельным движением, так как она уже возникла. Экономическое движение в общем проложит себе путь, но оно должно испытывать на себе также и обратное действие от политического движения, которое оно само для себя создало и которое обладает относительной самостоятельностью". Сказанное относится в равной степени как к политической власти, так и к политической идеологии. „В борьбе между правительством и оппозицией отражается борьба классов... как борьба за политические принципы" [1]).

Точно так же при развитии частно-правовых систем „открывается опять-таки новая самостоятельная область, которая при всей своей общей зависимости от производства и торговли все же обладает особой способностью обратно воздействовать на эти области". Идеологическое воззрение... в свою очередь оказывает обратное действие на экономическую основу и может ее в известных пределах изменить". Так, напр., наследственное право „сильно действует на экономику тем, что оказывает влияние на распределение имущества [2]). Вызванная экономическими потребностями юридическая форма продажи „на срок" влияет на развитие кредитных учреждений и т. д. Также обстоит с законодательствами: финансовым, промышленным и т. п.

Уголовное и судебное право, „превращаемые в каучук" господствующим классом, этим самым точно так же оказывают свое воздействие на общественную жизнь и ее развитие. У Маркса мы можем найти следующую живописную аналогию: „Философ производит идеи, поэт—стихи, пастор—проповеди, профессор—руководства. Преступник производит преступления... Преступник производит не только преступления, но также и уголовное право, а потому и профессора, читающего лекцию по уголовному праву, а вместе с ним и неизбежное руководство, в форме которого этот же профессор выносит на общественный рынок свои лекции, как товар... Преступник производит, кроме того, всю полицейскую и уголовную юстицию, судей, палачей, присяжных" и т. д. [3]).

Все эти соображения о роли и значении права должны быть приняты во внимание, когда мы говорим о праве переходной к бесклассовому обществу эпохи, диктатуре пролетариата. На этой ступени идеологическое воззрение начинает уступать место правильному отражению в сознании действительных отношений, их теоретическому осознанию, тесно связанному с практическим строительством этих общественных отношений. Право перестает быть идеологией и становится непрекрытым выражением классового господства пролетариата, теорией этого классового господства.

Политической и правовой теории пролетариата особенно ярко противостоит „политическая и правовая идеология" буржуазного общества, которая достигает тогда наивысшего расцвета и которой было посвящено особенное внимание Маркса и Энгельса. Такому пышному развитию правовой и политической идеологии в буржуазном обществе содействуют не только усложнившееся разделение труда и усложнение государственной машины, но и самая психология общества и его экономические идеологии. Господство „продукта над производителем", вещи, товара—над человеком, „перепутывание субъекта и объекта", возникновение „превратных отношений" между трудом и капиталом, дополнение их „превратными отношениями" процесса обращения и т. д.—из всех этих „превратных отношений" необходимо возникает... собственное превратное представление, „вызванное этими отношениями сознание, которое... развивается дальше" [1]). Экономическая идеология, представляющаяся юридическим идеологам действительным выражением экономических отношений, еще более углубляет и обосновывает правовую идеологию... Но есть еще одна причина, также „экономического" характера [2]).

„С того времени, как буржуазия овладела положением, частью сама взяв в свои руки государство, частью вступив в компромисс с его прежними владельцами, она признала идеологические сословия плотью от плоти своей и везде превратила их в своих служителей, прообразов в их сообразно своей собственной природе... Даже самые высшие виды духовного производства получают признание и становятся извинительными в глазах буржуа только благодаря тому, что их изображают прямыми производителями материального богатства и ложно выдают за таковых".

И. П. Разумовский.

[1]) Письмо Энгельса к К. Шмидту, стр. 282, 283, 284 (ed. cit). Обратное действие государственной власти на экономическое развитие может быть трояного рода: содействующее экономическому развитию, препятствующее таковому и, в случае завоевания, „уничтожение экономических ресурсов". Таким образом, „политическая власть может причинить экономическому развитию величайший вред".

[2]) Сравни „Анти-Дюринг", стр. 262, 263.

[3]) К. Маркс: „Теории прибавочной стоимости", стр. 303, СПБ, 1906 г.

[1]) „Капитал" т. III. Изд. 1922 г., стр. 19.

[2]) К. Маркс. „Теории прибавочной стоимости" т. I., СПБ 1906, стр. 319, 303.

Теория „квант“ и современная физика.

27 апреля 1900 года лорд Кельвин, один из величайших представителей естествознания, уходившего в область прошлого XIX века, прочел в Лондонском Королевском Институте лекцию, носившую несколько сентиментально-поэтическое заглавие: „О тучах, появившихся в конце XIX столетия и нависших над динамической теорией тепла и света“.

С первых же слов этой замечательной лекции выяснилось, что речь будет итти о двух противоречиях, которые к концу XIX столетия наметились со всей отчетливостью в учении о свете и тепле и которые никак не удавалось разрешить...

Теперь, 23 года спустя, мы еще не можем сказать, что вполне готовы отвечать на все поставленные тогда вопросы, но во всяком случае мы без всяких колебаний, подражая стилю Кельвина, можем сказать: одна из этих туч разразилась принципом относительности, другая—теорией „квант“!

Первое событие произошло в 1905 году, когда в Annalen der Physik была напечатана статья А. Эйнштейна, второе событие случилось несколько раньше—в том самом 1900 году, когда Кельвин прочел свою лекцию. Надо, впрочем, оговориться, что когда появилась работа Берлинского профессора Макса Планка, в которой было сделано предположение, что свет и вообще лучистая энергия выделяется ее источником не сплошным и непрерывным потоком, а в виде ряда следующих друг за другом взрывов—строго определенными по величине „порциями“ или „квантами“, то еще не было ясно, что эта новая теория—быть может наиболее революционная из когда-либо появлявшихся на почве физики—захватывает, и даже с избытком, ту область, которую Кельвин назвал „второй тучей“.

Приходится только удивляться проницательности великого физика, который на склоне своих дней [1]) отчетливо увидал куда направится научная мысль в ближайшие десятилетия наступившего XX столетия.

[1]) Кельвину в это время было 76 лет.

Судьба этих двух новых теорий оказалась весьма различной. Кто в наше время не слыхал о теории относительности и не подержал в руках одной из бесчисленных книжек, распространяющих вкривь и вкось это учение? С другой стороны, можно спросить: много ли найдется **не специалистов**, которые хоть что нибудь слышали о теории квант кроме туманных намеков?

Спросите теперь специалиста, и он вам скажет, что нет ни одной области физики, куда бы не проникла теория квант: не овладев ею, физику невозможно следить за новыми успехами своей науки и в то же время даже такой горячий сторонник принципа относительности, как профессор Зоммерфельд, пишет: „в противоположность широко распространенному взгляду—влияние принципа относительности на реальное изучение природы весьма ограниченно“... Вдумываясь в эти слова Зоммерфельда мы быть может найдем объяснение, почему этим двум учениям был оказан такой различный прием с одной стороны у небольшой группы специалистов и, с другой, в более широких кругах мыслящего человечества.

В самом деле, чем меньше влияния оказывает какая-либо теория на реальное изучение природы, тем меньше фактов требуется, чтобы иллюстрировать эту теорию, чтобы ее обосновать в элементарном изложении, а это ведь крайне облегчает, по существу нелегкую, задачу популяризации. При популярном изложении принципа относительности можно очень быстро от скучных описаний деталей опытов перейти к отвлеченным чисто-умозрительным рассуждениям о пространстве и времени, рассказ можно разнообразить фантастическими, реально неосуществимыми, мысленными опытами—все это действует на воображение и легко удерживает внимание читателя или слушателя.

Ту же мысль подчеркивает и профессор Ричардсон в своей президентской речи на съезде британской ассоциации в 1921 году, указывая, что, по его мнению, успех теории относительности объясняется тем, что в ней хорошо знакомые всем и каждому понятия пространства и времени истолковываются „в очень приятной для весьма многих степени непонятным образом“.

Если же мы обратимся к теории „квант“, то перед нами сразу вырастет целый лес новых фактов, самых неожиданных сопоставлений: в одно стройное целое связываются целые области науки, не имевшие раньше ничего общего между собой. И вот если мы попытаемся дать хотя сколько-нибудь серьезное представление о роли этой новой теории в современной физике, останавливаясь при этом только на наиболее существенных чертах, то нам придется погрузиться в самую гущу текущей работы современного физика,—в гущу его текущих мыслей с их, быть может, мелкими будничными подроб-

ностями, без которых, однако, немыслимо уловить основного их содержания. Вот почему так мало еще распространилась теория квант за пределы узкого кружка специалистов, и вот почему, вероятно, очень многим читателям и настоящий очерк покажется крайне скучным.

Едва ли не самая блестящая победа, среди громадного числа других, уже одержанных теорией квант, состоит в применении этой теории к объяснению распределения спектральных линий в спектре водорода и к объяснению строения водородного атома. Первый шаг в этом направлении сделал датский физик Нильс Бор в 1913 году. Эта сторона теории особенно интересна потому, что она особенно наглядно показывает ошибочность философских взглядов Маха и Авенариуса, когда то пользовавшихся успехом даже среди некоторых из физиков.

Но сначала несколько слов о спектральных линиях. Если мы рассматриваем при помощи спектроскопа свет, исходящий от светящегося газа не очень большой плотности, то мы вместо обычной полосы спектра, содержащего все цвета радуги, видим ряд узких светлых полосок различных цветов [1]), носящих название спектральных „линий". Таким образом светящийся газ дает не все составные части белого света, а лишь очень небольшое число областей в разных частях спектра, в который развертывается белый свет при его разложении призмой. Конечно, слово „линия" надо понимать условно, не в абстрактно-математическом смысле этого слова. Речь идет здесь об очень узкой области спектра в той или другой его части и соответственно этому спектральная линия имеет тот или другой цвет и воспринимается глазом или одним из наших искусственных способов открывать невидимые лучи (чувствительные термо-электрические термометры, фотографические пластинки, светящиеся экраны и т. д.), которые мы употребляем для изучения инфра-красных и ультра-фиолетовых невидимых частей спектра, непосредственно примыкающих к фиолетовому и красному краям видимого спектра.

Различию в цветности объективно соответствуют различия в длинах волн, соответствующих этим цветам. Весь видимый спектр, начиная от темно-красного через оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и кончая фиолетовым, соответствует очень небольшому различию в длинах волн—от 7 до 4 десятитысячных долей миллиметра. Это очень хороший пример на переход количества в качество: все бесчисленные оттенки цветов радуги, дающие несомненно качественно различные ощущения и резко отличающиеся по своим разнообразным действиям, сводятся к малым непрерывным изменениям длины волны. Точность современных спектральных измерений так велика, что на указанном малом интервале мы в состоянии отмеривать и отличать друг от друга до 300.000 отдельных участков спектра.

Вообще надо сказать, что вопреки скептическому взгляду не специалиста на световые волны, это такие величины, которые нам удается измерять с самой большой точностью с какой вообще человеку удавалось что-нибудь измерить. Для измерения длины волны употребляют в качестве единицы одну стомиллионную долю сантиметра, носящую название единицы Ангстрёма. Выраженная в этих единицах длина волны, соответствующая красной линии водорода, изображается числом $\lambda = 6573{,}07$; таким образом измерять можно еще сотые доли единицы Ангстрёма, т.-е. десятимиллиардные доли сантиметра.

Совершенно ясно поэтому, что мы, по выражению Зоммерфельда, можем говорить о „спектроскопической" точности, которая во много раз превосходит, всем хотя бы и по наслышке только известную, т. н. „астрономическую".

Очень часто, однако, в спектроскопических исследованиях, спектральная „линия" характеризуется не длиной волны λ, а числом колебаний в секунду, вызывающих данные волны. Представим себе, что источник волн испускает эти волны непрерывно в течение секунды. За эту секунду свет успевает распространиться на 300.000 километров и, следовательно, все вышедшие за это время из данного источника волны уложатся одна за другой на этом громадном промежутке. Число волн мы узнаем, разделив $c = 300.000$ километров $= 3{,}10^{10}$ сантиметров (30 миллиардов сантиметров) на длину одной волны λ (конечно надо, чтобы обе величины были выражены через одни и те же единицы длины: сантиметры, метры или Ангстрёмовы единицы). Но это число $\nu = \frac{c}{\lambda}$ равное числу волн, выпущенных данным источником в секунду, равно числу колебаний, производящих эти волны в данном источнике, так как каждое полное колебание производит одну волну с гребнем и долиной, подобно тому, как полный размах руки, держащей за один конец длинную веревку, вызывает в этой веревке одну полную волну.

Иногда в спектральных исследованиях берут не число колебаний ν или, что то же самое, число волн, выпущенных источником в одну секунду, а характеризуют данную спектральную линию числом волн, укладывающихся на одном сантиметре $\nu_1 = \frac{1}{\lambda}$, что равняется

[1]) Газы при известных условиях могут давать спектры с широкими светящимися полосами весьма сложного строения, называемые немцами „полосатыми спектрами" (Bandenspectrum), но в рассмотрение этих явлений мы вдаваться в настоящем очерке не будем.

$\nu = \frac{c}{\lambda}$ разделенному на с. Эти сведения из области спектральной техники или вернее спектрального правописания нам сейчас же пригодятся.

Первые систематические исследования спектров светящихся газов и раскаленных паров наводили невольно на мысль, что между спектральными линиями, испускаемыми одним и тем же веществом, есть какая-то связь, т.-е., что эти спектральные линии образуют составленные по какому-то закону ряды или как их принято теперь называть „серии". Между сериями, сходных между собой в химическом отношении элементов, также была установлена несомненная связь. Однако, дальше эмпирических формул, лишенных какой бы то ни было теоретической базы, дело долго не подвигалось.

Первую эмпирическую формулу, связывающую в одно целое спектральные линии водородного спектра, удалось найти Бальмеру в 1885 году. По Бальмеру длины волн водородных линий λ или числа этих волн, приходящихся на один сантиметр, могут быть выражены следующей формулой:

$$\frac{1}{\lambda} = \nu_1 = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2}\right) \ldots\ldots \text{(Б)},$$

где R—число = 109.677,69 или, так называемая, постоянная Ридберга, а k—ряд целых чисел начиная с трех. Это значит, чтобы вычислить длину волн λ или числа ν_1 надо по очереди вместо k подставлять 3, 4, 5 и т. д., умножать эти числа самих на себя, составлять дроби $\frac{1}{9}; \frac{1}{16}; \frac{1}{25}$ и т. д., вычитать их из $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ и полученные результаты помножать на число R (постоянную Ридберга).

Насколько эта, сравнительно, простая формула, найденная Бальмером наудачу, хорошо изображает действительно наблюдаемые факты, показывает следующая таблица, в которой приведены вычисленные по формуле Бальмера длины волн и в нижней строке приведены длины волн, непосредственно измеренные в спектре.

Число k	3	4	5	6	7	8	9
λ вычислена по Бальмеру	6563,07	4861,52	4340,64	4101,90	3970,24	3889,21	3835,54
λ наблюденная	6563,04	4861,49	4340,66	4101,90	3970,25	3889,21	3835,53

Маленькие отступления лежат в пределах неизбежных ошибок. Едва ли найдется другая область точного знания, где бы совпадения вычислений и наблюдений были так близки и где бы наблюдения могли производиться с такой изумительной точностью.

С точки зрения Маха и его последователей на этом наука и оканчивается. В самом деле разве формула Бальмера не представляет собой „экономного описания" явлений? Да притом еще какого точного. И однако, физики, не исключая и тех, которые в свое время (да, может быть, и теперь) на словах соглашались с Махом, непрерывно делали попытки объяснить формально установленную зависимость между спектральными линиями в спектре водорода, т.-е. с точки зрения Маха погружались в „материалистическую метафизику". Попытки эти долго не удавались, пока наконец в 1913 году Бору не удалось найти крайне оригинальное решение задачи.

Бор, прежде всего, попытался связать теорию спектральных линий с той картиной строения атома, которая наметилась к тому времени благодаря работам Томсона, Рутерфорда и их сотрудников. Модель водорода по Бору чрезвычайно проста: вокруг центрального положительно заряженного ядра по круговой орбите вращается один отрицательно заряженный электрон. Модель напоминает планету с одним спутником, однако Бор делает следующее предположение: электрон в противоположность спутнику планеты движется не всегда по одной и той же орбите; для него существует целый ряд возможных, устойчивых, круговых орбит. Бор выбирает эти орбиты прямо удивительным образом: он допускает, что для устойчивой орбиты произведение из массы электрона m на скорость его движения по орбите v и на длину самой орбиты, т.-е. на длину окружности $2\pi a$, по которой происходит это „устойчивое" движение должно равняться целому числу некоторой постоянной величины h, носящей название „постоянной Планка". Читателя, которому последняя фраза может показаться тарабарской грамотой, можем утешить или встревожить—это конечно зависит от его настроения—что и для специалиста физики совершенно неясно, почему Бор так, а не иначе определил те орбиты, которым он приписал устойчивость. Правда, специалист знает, что упомянутое произведение $mv\,2\pi a$ есть т. н. „интеграл действия", играющий большую роль в теоретической механике, но почему этот интеграл, который, как раньше думали, мог изменяться непрерывно, может принимать для устойчивых форм движения только определенные значения, кратные некоторого числа h, которое поэтому теперь часто называется „элементом" или „квантом" действия, пока нам совершенно непонятно. Предположение Бора является весьма смелым, почти фантастическим допущением в том смысле, что мы не можем еще привести его в связь с известными нам законами механики или указать, где и как надо эти законы обобщить или изменить. Надо впрочем оговориться, что в теоретической механике еще недостаточно разработаны вопросы об устойчивых формах движения и не исключена возможность, что начав

углубленные исследования в области механики, начав изучать условия устойчивых форм движения, что еще пока не сделано в должной мере, мы найдем, наконец, связь между механикой и „квантовым условием" Бора. Как бы то ни было, принимая гипотезу Бора и хорошо нам знакомые законы притяжения электрона положительным ядром, а также основные законы динамики Ньютона, мы очень легко получаем радиусы устойчивых орбит [1]). Радиусы эти относятся как квадраты ряда натуральных чисел 1, 2, 3, 4, 5..., т.-е. как числа 1, 4, 9, 16, 25... На прилагаемом чертеже 1 радиусы начерченных кругов взяты как раз в этом отношении.

Далее Бор делает следующее предположение: когда электрон вращается по любой из устойчивых орбит, он не излучает энергии, тогда как по электро-магнитной теории света всякий электрический заряд находящийся в колебательном движении,—а здесь ведь мы имеем случай круговых колебаний,—должен излучать энергию, должен испускать волны видимого света или какой-либо группы невидимых лучей, смотря по частоте колебаний и связанной с этой частотой длиной волны. Вот это и есть то отрешение от наших старых воззрений, которое так сильно отпугивало на первых порах более осторожных ученых от этой новой теории. Надо впрочем отметить, что многие сторонники теории „квант" действительно немного легкомысленно относятся к этому вопросу. Ведь если, в данном случае, мы встречаемся с противоречием электромагнитной теории света, оправдавшейся и оправдывающейся в тысячах случаев, то ясно, что надо в этом вопросе разобраться, надо постараться выяснить границы ее приложимости, посмотреть, чем и как ее надо дополнить. Во всяком случае нельзя ограничиваться простым констатированием факта, а такая тенденция — не будем

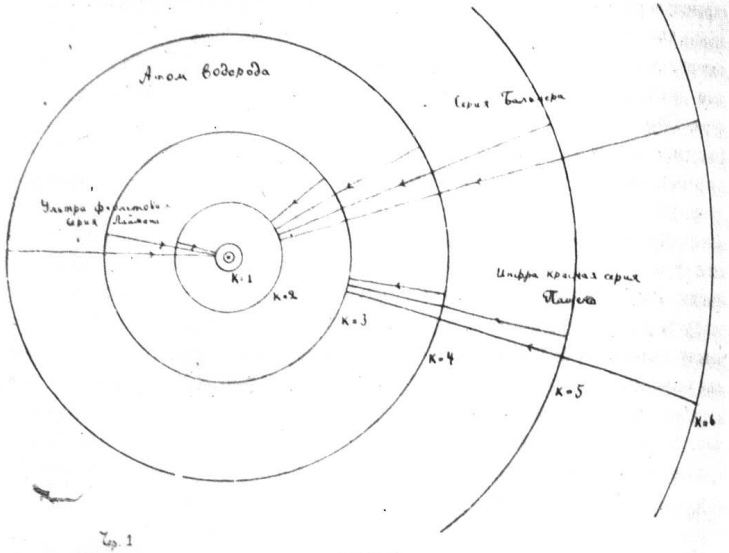
[1]) Для интересующихся приводим вывод. Если через ω мы обозначим угловую скорость движения электрона, то условие Бора можно переписать так: $2\pi ma^2\omega = kh$...(1), где k—целые числа 1, 2, 3 и т. д., дающие первую орбиту, вторую, третью и т. д. Уравнение движения, т.-е. равенство центробежной и центростремительной силы в данном случае выразится следующим образом: $ma\omega^2 = \frac{e^2}{a^2}$... (2) центробежная сила, по механике Ньютона, равняется массе на радиус круга и на квадрат угловой скорости. Центростремительная сила, в данном случае, есть сила притяжения электрона ядром, которая пропорциональна произведению зарядов (в данном случае по величине равных, но противоположных по знаку—ядро+, электрон—) и обратно пропорциональна квадрату расстояния, отделяющего электрон от ядра.

Второе уравнение дает $ma^3\omega^2 = e^2$... (2¹). Подставляя из первого уравнения $\omega = \frac{kh}{2\pi ma^2}$ в (2¹) находим $ma^3 \frac{k^2h^2}{4\pi^2m^2a^4} = e^2$ или $a = \frac{k^2h^2}{4\pi^2me^2}$... (3). Т.-е. радиусы последовательных кругов относятся как квадраты чисел k, определяющих порядок орбиты: первую, вторую и т. д.; другими словами радиусы, устойчивых орбит относятся между собой, как числа 1 : 4 : 9 : 16 : 25...

скрывать от себя — среди физиков довольно распространена. На вопрос—когда же получается излучение, когда же собственно та модель, которую мы сейчас разбираем, излучает свет—дает начало тем спектральным линиям, которые так хорошо зарегистрированы формулой Бальмера, Бор дает удивительный ответ: излучение происходит тогда, когда электрон с одной устойчивой орбиты перескакивает на другую! Эту совершенно новую, революционную в теории строения атома и в теории излучения, мысль — мысль исключительно смелую, Бор выражает формально самым обычным уравнением закона сохранения энергии. Проследим ход его мысли. Раз мы, хотя и необычным путем, но все-таки установили радиусы устойчивых орбит и раз мы допускаем, что силы действующие между ядром и электроном, те же самые, какие знал еще Кулон, то этим уже определяется скорость движения электрона, а стало быть и его энергия. Простой подсчет, в детали которого мы входить здесь не можем, показывает, что энергия обратно пропорциональна квадрату числа k, которым мы определяем порядок орбиты (см. чер. 1). Выражение энергии имеет вид, как показывает вычисление $U_k = C - \frac{B}{k^2}$... (э), где C наибольшая энергия, которую может иметь электрон, это будет в том случае, когда он находится очень далеко от ядра атома—теоретически бесконечно далеко. В самом деле, так как электрон притягивается ядром, то когда мы его удаляем от ядра—мы производим работу против силы притяжения; при этом мы сообщаем ему энергию, также точно, как поднимая гирю часов над уровнем пола нашей комнаты мы сообщаем ей энергию и тем большую, чем выше мы ее подняли. Этим запасом энергии мы „заводим часы". Чем дальше орбита от центра, тем больше k (см. чер. 1), тем меньше вычитаемое в выражении (э) — $\frac{B}{k^2}$ и тем больше энергия электрона, U_k. Таким образом „сам собой", т.-е. без заимствования энергии, из какого-либо внешнего источника, электрон может перескакивать только с одной из внешних орбит на какую-либо внутреннюю; обратный переход возможен при затрате энергии извне; например, когда на атом налетает другой атом и выбивает электрон с внутренней орбиты на какую-либо из наружных; или когда волна лучистой энергии идущая извне, подхватит электрон и вытолкнет его из прилежащей к ядру области атома.

Эти процессы поглощения энергии „заводят машину" — сообщают ей энергию, которую она может потом растрачивать при перескоках электрона с внешних орбит на внутренние.

Так как энергия электрона при переходе от наружных орбит к внутренним уменьшается, то при этих перескоках электрона на внутренние орбиты должна освобождаться энергия — по Бору это и



Черт. 1.

Модель атома водорода по Бору. На чертеже изображены устойчивые орбиты электрона. При перескакивании с орбиты на орбиту электрон излучает лучистую энергию—дает „серии" спектральных линий. На чертеже указано какие орбиты соответствуют той или другой „серии". Чтобы составить понятие об истинном размере орбит укажем, что радиус первой орбиты, соответствующей k=1, равняется $0{,}532 \cdot 10^{-8}$ сантиметра т. е. немного больше пяти миллиардных долей сантиметра!

есть лучистая энергия, соответствующая той или другой спектральной линии.

Подсчитаем, как выразится эта излучаемая энергия при перескоке электрона с любой орбиты порядка k на вторую. Для этого из выражения $U_k = C - \frac{B}{k^2}$ надо вычесть такое же выражение, в котором k заменено 2, т.-е. $U_2 = C - \frac{B}{4}$. Разность будет равна $U_k - U_2 = B\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2}\right)$. Далее Бор делает второе „квантовое" предположение: вычисленная сейчас разность энергии должна равняться „элементу энергии", или „кванту энергии" $h\nu$ где h—та же постоянная, что и в первом условии, а ν—число колебаний, соответствующее той или другой спектральной линии; таким образом, разность энергии, зависящая от того из далекой или близкой орбиты перепрыгнул на данную орбиту электрон, определяет число колебаний, соответствующее данной спектральной линии.

В теории „квант", следовательно, предполагается, что всякая

лучистая энергия выделяется не сплошным и непрерывным потоком, а порциями или „квантами", размеры которых зависят от числа колебаний; так, например, частые колебания соответствующие фиолетовым лучам дадут большие кванты $h\nu$ — у них ν большое; в красной же части спектра кванты будут меньше, потому что красные волны длиннее и число колебаний, соответствующее им, будет меньше.

Итак по Бору „второе квантовое условие" выражается так: $h\nu = B\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2}\right)$, т.-е. энергия, излученная электроном при перепрыгивании с орбиты порядка k на вторую равняется избытку энергии, которую он имел на своей прежней орбите по сравнению со второй.

По внешней форме написанное только что равенство есть самое скромное уравнение энергии! Если мы всмотримся в это второе квантовое условие Бора, мы увидим, что оно выражается формулой Бальмера. В самом деле, разделив полученное равенство на h мы получаем $\nu = \frac{B}{h}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2}\right)$, а разделив еще на скорость света, т.-е. рассчитав сколько волн укладывается на одном сантиметре (см. выше), мы находим формулу Бальмера $\nu_1 = \frac{B}{ch}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{k^2}\right)$, только раньше у нас вместо $\frac{B}{ch}$ стояла постоянная Ридберга R.

Всякий специально физикой не занимавшийся читатель готов уже сказать: „для чего было огород городить!" Ведь мы пришли к той же самой формуле Бальмера. А сколько тут было гипотез и не прав ли в самом деле Мах, когда он говорил, что всякая попытка выяснить механизм явления — праздная фантазия?

Не будем однако торопиться, посмотрим какие преимущества дает нам теория Бора. Прежде всего постоянная Ридберга в теории Бора связывается с целым рядом величин, которые мы можем измерять независимым способом. Из последней формулы, выражающей второе квантовое условие, следует, что если эта формула тождественна с эмпирической формулой Бальмера, то постоянная Ридберга $R = \frac{B}{ch}$, где постоянная B входит в выражение энергии электрона $U_k = C - \frac{B}{k^2}$, и может быть выражена через массу электрона, его заряд и постоянную h. Вычисления показывают, что $R = \frac{2\pi^2 me^4}{h^3 c}$, где m—масса электрона, e—заряд, h—планковский „квант действия" и c—скорость света.

Когда в эту формулу были подставлены известные нам величины m, e, h и c, то получилось число 109.000, число поразительно близкое к постоянной Ридберга, найденной эмпирически—109.677,69. Необходимо ведь помнить, что величина заряда, массы электрона и

кванта действия не могут быть измерены даже с малой долей той точности, какую допускают спектральные измерения, а кроме того величину заряда, а также и кванта действия приходится умножать самих на себя, как показывает только что приведенная формула несколько раз, вследствие чего во столько же раз возрастают и ошибки, допущенные во время измерения. Вот почему лучшего совпадения нельзя было и ожидать.

Результат этого вычисления был первой победой теории Бора, так как утверждение скептика, что совпадение „случайно" столь же основательно, как утверждение, что несколько сотен букв типографского набора могут случайно сами собой сложиться в какое нибудь стихотворение и при том настоящее — не футуристическое!

Но этот успех теории далеко не единственный. По только что изложенной теории „спектральная серия" Бальмера получается при перескакивании электрона с любой внешней орбиты на вторую. Раз мы составили себе совершенно определенную картину строения атома водорода (см. рис. 1), то эта картина невольно начинает подсказывать нам и дальнейшие мысли. Мы невольно задаем вопрос: нельзя ли подсчитать какая „серия" линий получится, если электрон будет перескакивать не на вторую орбиту, а, скажем, на первую или третью? Вот эти мысли, которые нам подсказывает конкретная, придуманная нами модель, и являются могучим орудием дальнейших исследований. Поэтому всякий активно работающий исследователь ценит теории, пользующиеся определенными конкретными моделями гораздо больше, чем „чистые описания" Маха и его поклонников.

Подсчет показывает, что перескакивание на первую орбиту дает нам серию линий с большей частотой, так как выделяемая энергия будет больше, а следовательно и „кванты" лучистой энергии должны быть больше; больше будет и частота колебаний.

Мы получаем сходную с Бальмеровской формулу $\nu_1 = R\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{k^2}\right)$ где k целые числа, начиная с 2, а в первом члене в скобках стоит 1 вместо $2^2 = 4$.

Эти линии лежат в ультра-фиолетовой части спектра и все до единой были найдены на тех же местах, как предсказывает теория, Лайманном и Милликаном!

Точно также подсчет перескоков электрона на третью по счету орбиту дает серию линий, лежащих в инфра-красной части спектра, непосредственно глазу невидимой.

И эта серия, выражаемая формулой $\nu_1 = R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{k^2}\right)$ была обнаружена на опыте Пашеном с помощью исследования инфра-красной части спектра чувствительными электрическими термометрами-термоэлементами. Объяснять и этот результат „случайным совпадением" едва ли кто решится.

Можно ли однако распространить теорию Бора на другие атомы? На этом пути возникают громадные трудности вследствие того, что число электронов, кружащихся вокруг центрального ядра, возрастает по мере того как мы переходим к атомам большего атомного веса, чем водород. Но один атом должен быть по своей структуре очень близок к водороду — это так называемый ионизованный атом гелия. У гелия предполагается ядро с двойным положительным зарядом по сравнению с зарядом водородного ядра и вокруг него кружатся два электрона. В целом ряде процессов, например, при столкновении с другими атомами при действии лучей Рентгена, от любого атома, в том числе и от атома гелия, можно отщепить по одному или по несколько электронов. Рассмотрим случай, когда из атома гелия выбит один электрон. Тогда получается полная аналогия водородному атому, только ядро вдвое более сильно заряжено. Так как по теории Бора Ридбергова постоянная R зависит от второй степени заряда электрона и ядра в отдельности, то увеличение вдвое заряда должно повлечь увеличение вчетверо постоянной R, т.-е. мы должны получить формулы вида $\nu_1 = 4R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{k^2}\right)$ для электрона, перескакивающего на третью орбиту и $\nu_1 = 4R\left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{k^2}\right)$ для электрона, перескакивающего на четвертую орбиту с любой орбиты, начиная с четвертой в первом случае и начиная с пятой во втором.

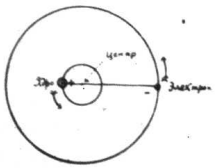
Если мы во втором из приведенных рядов положим $k = 6$, т.-е. подсчитаем какая частота колебаний должна получиться при перескакивании электрона в ионизованном атоме гелия с шестой орбиты на четвертую, мы получим $\nu_1 = 4R\left(\frac{1}{16} - \frac{1}{36}\right)$ или сокращая дроби на 4, находим $\nu_1 = R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right)$, т.-е получается Бальмеровская линия для водорода, соответствующая перепрыгиванию электрона с третьей орбиты на вторую. Такое же совпадение с Бальмеровскими линиями получится в ряде $\nu_1 = 4R\left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{k^2}\right)$ для всех орбит, для которых k^2 делится на 4, т.-е. для шестой, восьмой, десятой и т. д.

Усовершенствованные методы спектральных исследований показали, однако, что полного совпадения не получается. В следующей таблице приведены длины волн для ионизованного гелия, а рядом в столбце указаны водородные линии. Эта таблица взята из работы Ф. Пашена (Annalen d. Physik 1916, T. 50, p. 901).

Получается вывод, что Ридбергова постоянная R не совсем одна и та же для гелия и водорода, а между тем по теории Бора она должна совпадать. Таким образом более тщательные измерения приводят как будто к опровержению теории Бора.

к	Ионизованный Гелий He +	Водород H.
6	6560,1	6562,8
7	5411,6	—
8	4859,3	4861,3
9	4561,6	—
10	4338,7	4340,5
11	4199,9	—
12	4100,0	4101,7

История разрешения этого противоречия и вместе с тем новая победа теории Бора являются блестящим примером диалектического процесса. Еще задолго до работ Бора было установлено, что постоянная Ридберга, входящая в формулу Бальмера, входит также и в эмпирические формулы, установленные для спектральных серий, относящихся к целому ряду химических элементов,—теория Бора объясняет это совпадение, а более тщательные изменения опровергают это объяснение! Тезис переходит в антитезис. В чем же будет состоять синтез? Бор обратил внимание, что его модель, рассмотренная сейчас нами не удовлетворяет основам Ньютоновой механики. Действительно мы ведь предполагали, что электрон вертится вокруг ядра; по Ньютону такое движение невозможно, по Ньютону и ядро и электрон должны вертеться вокруг общего центра тяжести; также как нельзя утверждать, что луна ходит вокруг земли: в действительности и луна и земля вращаются вокруг общего центра тяжести, который лежит гораздо ближе к земле, чем к луне, так как масса земли больше массы луны. Для электрона и ядра неравенство масс еще более резко выражено, чем в случае земли и ее спутника. На черт. 2 изображено схематически движение электрона и ядра по Ньютону.



Чер. 2.

Если повторить все вычисления с этой поправкой, то прежнюю Ридбергову постоянную приходится заменить выражением $R_1 = \frac{R}{1+\frac{m}{m_1}}$ где R—прежняя Ридбергова постоянная, m—масса электрона, а m_1—масса ядра атома. Для гелия отношение $\frac{m}{m_1}$ должно быть в четыре раза меньше, чем для водорода, так как атомный вес гелия в четыре раза больше атомного веса водорода. Таким образом постоянная R^1 должна быть немного больше для гелия, чем для водорода, и действительно из опытов Пашена мы получаем для гелия $R^1_{He} = 109722,144 \pm 0,04$ (± относится к вероятной ошибке в измерениях Пашена) и для водорода $R^1_H = 109677,691 \pm 0,06$.

Синтез, следовательно, в рассматриваемом диалектическом процессе заключается в том, что более детальная теория как раз и должна отрицать тожество постоянной Ридберга для всех спектральных серий, принадлежащих различным элементам. Весьма характерно, что и в усовершенствованную теорию входит старая постоянная Ридберга и притом она сохраняет свое значение во всех случаях. Таким образом первоначальное утверждение, основанное на менее точных наблюдениях и на упрощенной теории, в известном, более ограниченном смысле, сохраняется. Если бы этого не было, то было бы невозможно вообще никакое познание природы. Каждый новый шаг в науке дополняет, изменяет и развивает предшествующие достижения, но он никогда, если можно так выразиться, их начисто не отменяет; иначе ведь невозможно было бы никакое развитие науки; мы все время топтались бы на месте. Приведенный пример обобщения теории Бора поучителен между прочим в том отношении, что он нас предостерегает от презрительно-легкомысленного отношения к Ньютоновой механике, что в последнее время стало даже как будто признаком хорошего тона. Конечно, не следует основным положениям Ньютона придавать абсолютно незыблемый метафизический характер; быть может дальнейшее развитие той же теории квант покажет, где и как придется обобщить или дополнить Ньютонову механику. Но это нисколько не мешает применять ее и притом, как мы сейчас видели, с громадным успехом для разрешения многих и многих вопросов и противоречий, с которыми мы сталкиваемся при решении текущих задач современной физики.

Если мы сравним между собой только что приведенные постоянные R^1 для водорода и для гелия, то из этих данных можно подсчитать во сколько раз атом водорода тяжелее электрона. Получается число $\frac{m_1}{m} = 1847$, т.-е. получается то же самое число, которое получалось совершенно другим способом из опытов с, так наз., „катодными лучами“.

Это новое подтверждение является новым громадным успехом теории Бора. Скептикам, утверждающим, что все это случайные, удачные совпадения, можно ответить, подражая фельдмаршалу Суворову: „удача, удача — помилуй бог, когда нибудь ведь, наконец, и умение!“

Дальнейший шаг в развитии теории был сделан Зоммерфельдом;

он сделал предположение, что, также как и в движениях планет, в движениях электрона в атомной системе могут быть не только круговые орбиты, но и орбиты эллиптические.

Эти орбиты вычисляются по обобщенным „квантовым" правилам Бора и в значительной части дают мало нового: при перескоках электрона с эллиптических орбит на круговые или наоборот, количества выделяемой энергии, как правило, оказываются те же самые, что и для соответствующих им круговых орбит. Но некоторые из эллиптических орбит оказываются сильно вытянутыми, и кроме того одной своей частью они близко подходят к ядру, как это видно, например, на схематическом черт. 3. В этих частях движение электрона сильно ускоряется, также как это происходит и для планетных движений; а при больших скоростях возрастает масса электрона[1]). Отсюда вытекает следствие, что выражение энергии для этих орбит будет, хотя и очень мало, отличаться от выражения энергии для круговой орбиты соответствующей данному эллипсу. Поэтому, при перескакивании электрона с такой эллиптической орбиты на какую-нибудь круговую, будет освобождаться несколько иное количество энергии, чем при перескакивании с круговой на круговую, а это должно сказаться в изменении числа колебаний испускаемого света. Таким образом, хотя большинство вычисленных Зоммерфельдом эллиптических орбит и не вносит ничего нового, так как каждой эллиптической орбите соответствует какая-либо круговая с одинаковой энергией движущегося по ней электрона; но в тех случаях, когда эллипс оказывается сильно вытянут, вследствие изменения массы от увеличившейся при прохождении вблизи ядра скорости электрона, получается небольшое различие. Это приводит к тому, что некоторые из линий водорода должны представлять собой группу линий для значительной части наших спектроскопов, сливающихся в одну. В 1916 году эта теоретически предсказанная Зоммерфельдом сложная структура спектральных линий водорода была подтверждена измерениями Ф. Пашена, воспользовавшегося самыми сильными спектроскопическими приборами и являющегося едва ли не самым искусным спектроскопистом на всем земном шаре.

Из приведенных данных видно, что водородный спектр и спектр

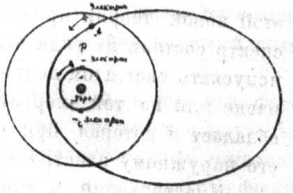
[1]) Об изменении массы со скоростью см. А. Тимирязев „Опровергает ли современная электрическая теория материи материализм?" „Под Знаменем Марксизма" 1922, № 4,

В связи с излагаемой работой Зоммерфельда часто приходится слышать, что в этом случае получено блестящее оправдание принципа относительности. С этим едва ли можно согласиться, так как зависимость между массой и скоростью, вытекающая из принципа Эйнштейна, получается и другими способами. Таким образом правильнее было бы сказать, что приводимые здесь факты не противоречат теории Эйнштейна.

ионизованного гелия изучены сейчас во всех подробностях и что многие из этих деталей были выведены теоретически, прежде чем их увидал человеческий глаз. И вот теперь уместно снова поставить вопрос, могли ли бы мы узнать все это пользуясь методом „описания", как этого требует Мах? Можно ли было бы предсказывать факты, не изучая движений электронов? А ведь, по Маху, изучение электронов равносильно изучению „шабаша ведьм"!

В связи с изложенной теорией Бора необходимо указать на замечательные работы проф. Д. С. Рождественского, указавшего путь, по которому можно распространить теорию Бора и Зоммерфельда на другие элементы с более сложным образом построенными атомами.

Разбираясь в целом лесе эмпирических формул, выражающих спектральные серии щелочных металлов: лития, натрия, калия и цезия, у которых, по целому ряду соображений, должно быть по несколько орбит с движущимся по ним значительным числом электронов (при чем у всех этих элементов на наружной орбите должен быть, также как и у водорода, только один электрон), Рождественскому удалось установить соответствие между спектральными линиями этих элементов и водородом: число спектральных линий оказалось во всех случаях одинаковым. Это навело Рождественского на мысль, которая иллюстрирована на черт. 3. Орбиты наружного электрона, как круговые, так и эллиптические, построены по тем же законам, как и водородные. Различие состоит в том, что в центре атома мы имеем не одно ядро, а ядро, окруженное кольцами, по которым движутся электроны — и для этих электронов можно рассчитать, по Бору, большое число устойчивых орбит, но этого мы пока касаться не будем. На черт. 3 мы имеем одно кольцо с двумя электронами, это как раз имеет место в атоме лития, детально изученном Д. С. Рождественским.



Черт. 3

Из чертежа ясно, что когда наружный электрон А проходит мимо кольца ВС, то электроны В и С должны „возмущать" своими отталкивательными силами движение электрона А, наподобие того, как пути малых планет „возмущаются" планетой Юпитер. Таким образом, спектр любого щелочного металла можно представить себе как спектр водорода, более или менее искаженный возмущениями внутри лежащих электронов; при этом, конечно, степень „искажения" определяется близостью данной орбиты к внутренним кольцам, по которым движутся электроны, а также числом и размерами этих колец и числом находящихся на них электронов.

Приводим ряд чисел, взятых из работы Рождественского, с по-

мощью которых вычисляются величины энергии электрона на орбитах различных порядков, и которыми можно охарактеризовать эти орбиты. В следующей таблице сопоставлены данные для натрия и для водорода.

Порядок орбиты k	9	8	7	6	5	4	3	2
Орбиты водорода	135	171	224	305	439	685	1219	2742
Орбиты натрия	131	165	215	301	415	640	1118	2479

Отсюда видно, что более далекие от ядра орбиты—орбиты более высоких порядков „возмущаются“ или „искажаются“ в меньшей степени, чем те, которые или всеми своими частями или отчасти—если это орбиты вытянутые — лежат вблизи ядра и окружающих его внутренних колец с движущимися по ним электронами. Таким образом уже намечен путь к изучению спектров атомов, построенных более сложно, чем водород.

Попытаемся однако вникнуть к чему собственно сводится по этой новой теории процесс излучения, в тех именно случаях, когда спектр состоит из ряда отдельных полос или линий? Для того, чтобы испускать свет, атом должен накопить энергию—эта энергия черпается извне или из той энергии поступательного движения, которой атом обладает и которая при столкновении с другим атомом передается его наружному электрону.

Участвующий в этом процессе электрон переводится на все более и более удаленную от ядра орбиту. На этой орбите электрон кружится и не излучает, почему — пока это еще нам неясно, далее, в результате более или менее длительного процесса, нам пока еще также неизвестного, создаются условия, при которых наступает скачок, и электрон, выделяя, как при взрыве определенного количества взрывчатого вещества, определенное количество лучистой энергии в виде вереницы волн, перелетает на другую, при данных условиях более устойчивую орбиту, более близкую к ядру атома. По опытам В. Вина, длина вереницы эфирных волн, соответствующей одному кванту энергии, все равно каково бы ни было число колебаний, вызывающее эти волны, приблизительно равна 10 метрам. То, что мы наблюдаем глазом или при помощи спектроскопа—это как раз „скачки“ или взрывы: их собственно мы и рассчитываем по методам, предложенным Бором. В теории спектральных линий, следовательно, мы имеем прекрасный пример, как непрерывное развитие приводит к скачкам, но ввиду того, что мы еще не вооружены пока такими средствами, которые позволили бы нам видеть весь атом как у себя на ладони, для нас еще неясно, что собственно происходит в промежутке между этими скачками или взрывами. Наши средства наблюдения настолько еще грубы, что мы в атомном мире можем заметить одни только „революции“, подготовка же к ним пока еще ускользает от наших глаз.

В нашем очерке теории спектральных линий мы могли коснуться только части вопроса; в настоящее время физики располагают богатейшими данными в области так наз. рентгеновских спектров. Различные химические элементы, подвергаемые бомбардировке электронов в так наз. „катодных лучах“, т.-е. потоках быстро движущихся электронов, дают начало лучам Рентгена и притом, наряду со спектром сплошным—непрерывным, получаются сложные системы спектральных линий. Длина волн соответствующих этим линиям во много раз короче лучей видимого спектра и ультра-фиолетовых. Законы распределения этих линий в спектре объясняются совершенно таким же способом, как и водородный спектр в модели Бора. Только перескакивания электронов происходят на орбитах, расположенных вблизи самого ядра: в этих процессах играют роль электроны, кружащиеся по внутренним, более близким к ядру орбитам — близким по сравнению с теми, по которым движутся электроны, дающие видимый глазу свет.

Переходим теперь к другой группе явлений, к так наз. фото- или актино-электрическому явлению [1]). Явление состоит в следующем: Если осветить хорошо вычищенную пластинку какого-либо металла [2]) лучами света—особенно сильно действуют в этом случае лучи фиолетовые и ультра-фиолетовые—то металл заряжается положительным электричеством. Объясняется это тем, что с поверхности металла под действием света выделяются электроны. В атомах металлов некоторые электроны легко отделяются от атома и свободно двигаются в промежутках между атомами, чем и объясняется большая электропроводность металлов. Исследования показали, что скорость, с которой электрон вылетает с поверхности металла, зависит от числа колебаний того света, при помощи которого получается самый эффект, и совершенно не зависит от напряжения или силы света, т.-е. от энергии падающих лучей. Чем число колебаний больше, тем больше скорость и, следовательно, энергия вылетающего электрона. От напряжения света зависит только число испу-

[1]) Основные законы этого явления, а также методы исследования были установлены в Москве покойным проф. А. Г. Столетовым в девяностых годах XIX столетия.

[2]) Для демонстрационных целей особенно удобно пользоваться цинком.

скаемых электронов. Закон, связывающий скорость электрона с числом колебаний луча, был установлен Эйнштейном на основании теоретических соображений, от которых он потом сам отказался; но закон этот оправдался на опыте с замечательной точностью. Выразить этот закон можно следующей формулой:

$$h\nu = A + \frac{mv^2}{2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

здесь мы имеем дело с тем же „квантом энергии" $h\nu$, который сообщается электрону волнами лучистой энергии частоты ν. Эта энергия превращается в кинетическую энергию электрона, вылетевшего с поверхности металла $\frac{mv^2}{2}$ (m—масса, v—скорость электрона), при чем часть энергии, доставленной лучом, затрачивается на работу A, которую надо произвести, чтобы извлечь электрон из металла. Кинетическую энергию мы измеряем по скорости вылетающих электронов методом, который был разработан Дж. Дж. Томсоном еще в 1896 году. Масса электрона нам известна, а „квант" $h\nu$ определяется тем светом, при помощи которого мы производим опыт.

Получается очень наглядная картина. Чтобы вызвать выделение электрона—**новое качество**, требуется, чтобы в атоме накопилась энергия до некоторого **количества** $h\nu$. Самый процесс имеет характер взрыва: с металлической поверхности вылетает снаряд—электрон, движущийся с громадной скоростью.

Если мы возьмем меньшую частоту колебаний, т.-е. возьмем луч ближе к красному концу спектра — это будут волны с меньшей частотой ν—, то у нас может оказаться, что этого небольшого кванта будет недостаточно, чтобы извлечь электрон из данного металла: условие $h\nu^1 = A$ определяет для данного металла границу в спектре со стороны длинных волн, за которой прекращается всякое актино-электрическое действие. Граница эта очень хорошо наблюдается на опыте; она чрезвычайно резко выражена. Далее общее количество падающей энергии определяет собой число „квант" или порций, а следовательно число освобождаемых электронов, но так как для каждого электрона требуется определенное количество энергии: именно один квант, то каково бы ни было наличное количество энергии, электрон выделится только тогда, когда в соответствующем атоме наберется требуемое количество энергии $h\nu$.

Эти исследования были с замечательным искусством выполнены в Америке Р. Милликаном в 1918 году. Одно из главных затруднений состоит в необходимости тщательно чистить поверхности металлов. Для этой цели Милликан в том самом приборе, в котором производились опыты и из которого выкачивался воздух самыми лучшими из имеющихся сейчас насосами, помещал вспомогательный прибор, обтачивавший в безвоздушном пространстве металлические поверхности. Милликан в шутку называет этот прибор, находящийся в запаянном стеклянном сосуде и приводимый в движение вращающимся снаружи электромагнитом: вакуум—токарный станок!

В последнее время описанный метод был применен с большим успехом к извлечению электронов из более глубоких частей атома. Для этого приходится освещать металлические поверхности лучами более короткой длины волны—лучами Рёнтгена. Для них частота ν больше, а следовательно больше и „квант" энергии, и его хватает чтобы вывести электрон из какой-либо внутренней орбиты, т.-е. из той области атома, которая сама дает рёнтгеновский спектр.

Различие с фотоэлектрическим эффектом для видимого света заключается в том, что там энергия, потребная для выделения электрона A, была одна и та же — это были электроны легко отщепляющиеся от атома или электроны свободные; здесь же энергия A_k зависит от того, с какой орбиты данный „квант" выбивает электрон. Поэтому кванты одного и того же размера $h\nu = A_k + \frac{mv^2_k}{2}$ могут дать электроны с различными скоростями, смотря по тому, откуда они их выбили.

Таким образом освещая металл лучами Рёнтгена одной и той же частоты ν, т.-е. посылая одни и те же „кванты" $h\nu$, мы получаем несколько потоков электронов с различными скоростями, измеряя которые мы можем определить A_k, энергию потребную, чтобы удалить электрон с той или другой орбиты порядка k. Этот прием, разработанный Видингтоном и Де-Бройлем, и позволяющий независимо от спектральных исследований, по одним только скоростям электронов определять энергию электронов на орбитах внутри атомов, вызвал большой восторг на съезде Британской ассоциации осенью 1922 г.

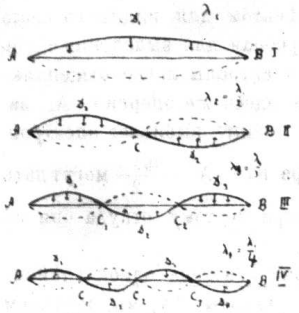
Этими последними работами, как мы видим, устанавливается связь между актино-электрическим эффектом и теорией спектральных линий как самого Бора, так и теорией рёнтгеновского излучения, являющейся распространением — развитием теории Бора.

Рассмотрим теперь, как Макс Планк впервые пришел к выводу, что поток энергии, идущий от раскаленного тела, дающего непрерывный спектр, состоит из „квант", а не представляет из себя сплошного и непрерывного потока.

Представим себе ряд упругих шаров, находящихся в закрытом ящике, который встряхивают по всем направлениям. В тех хаотических движениях шаров с их столкновениями как друг с другом, так и со стенками ящика мы будем замечать одну закономерность:

в среднем энергия поступательного движения будет для всех шаров одинаковая.

Этот результат лежит в основе многих выводов кинетической теории материи и был много раз проверен на опыте. Однако это положение, носящее название принципа равномерного распределения энергии, пытались возвести в какой-то непреложный догмат; между тем всякий диалектически мыслящий исследователь всегда должен иметь в виду, что любой установленный наукой вывод имеет свои границы приложимости, за пределами которых мы вынуждены будем вносить целый ряд поправок. Вот к такой-то границе подошел Макс Планк в 1900 году, когда он попытался применить этот закон к распределению лучистой энергии в непрерывном спектре.



Черт. 4.

Представим себе струну, натянутую между двумя гвоздями A B (см. чер. 4). Если мы приведем ее в колебательное движение, то может получиться один из типов движения, изображенный на рис. 4, или может получиться сложное движение, состоящее из наложения всех типов движения, изображенных на рис. 4 и им подобных.

Движения, изображенные на чер. 4, можно легко наблюдать на веревке, если привязать один конец ее к гвоздю, а другой раскачивать рукой. Тогда в зависимости от частоты колебания руки у нас появятся короткие или длинные „стоячие" волны с неподвижными точками c; c_1, c_2; c_1, c_2, c_3— узлами. Ясно, что на струне могут быть движения с такими длинами волн, у которых на протяжении струны укладывается целое число полуволн. (На чер. 4 в случае I одна полуволна, в случае II — две и т. д.).

Если мы пойдем в сторону более коротких волн, то мы все чаще и чаще будем встречаться с возможными на данной струне типами колебаний. В самом деле, от длины волны λ_1 до $\frac{\lambda_1}{2} = \lambda_2$ нет такой волны, которая могла бы существовать на данной струне. Промежуток от λ_2 до λ_3 будет уже меньше, от λ_3 до λ_4 еще меньше и т. д.

Если мы ко всем этим типам волнообразных движений применим закон равномерного распределения энергии, то на короткие волны придется больше энергии, так как вообще установившихся движений с короткими волнами будет больше, чем с длинными.

Распространяя этот вывод на источник света, испускающий волны всевозможной длины, т.-е. дающий непрерывный спектр, мы

приходим к выводу, что энергия в спектре возрастает непрерывно к ультра-фиолетовому концу спектра и дальше. А, между тем, опыт показывает, что энергия в спектре по направлению к коротким волнам возрастает, достигает максимума [1]) и потом спадает.

Из этого противоречия Планк вышел следующим образом: на каждый тип колебаний в зависимости от их частоты приходятся разные „кванты" энергии и притом такие же, какие мы рассматриваем в теории Бора, т.-е. hν. Для того, чтобы в данном источнике волн могли появиться короткие волны, должно накопиться в нем относительно больше энергии, а это будет случаться реже. Таким образом, хотя число возможных типов движения с короткими волнами и больше, чем с длинными, но возникать короткие волны будут реже, так как для этого требуется большее скопление энергии. Рассуждая таким образом, Планк получил закон распределения энергии в спектре [2]), удивительно хорошо совпадающий с опытом!

Весьма интересно, что для длинных инфра-красных волн можно применять принцип равномерного распределения энергии без поправки Планка. Для длинных волн число колебаний будет мало, а следовательно, и „кванты" будут маленькие, а следовательно, практически не будет различия между непрерывным распределением и распределением по „квантам". Здесь количество переходит в качество: для длинных волн энергия распределяется непрерывно, для коротких — необходимо считаться с „квантами" энергии.

В 1905 году Эйнштейн тем же путем устранил противоречие, с которым долго не могли справиться физики в учении о тепле; ему удалось объяснить отступления от так называемого закона или правила Дюлонга и Пти. По этому правилу, если взять вещества в количествах, пропорциональных их атомным весам, т.-е. брать одинаковые числа атомов, то количества тепла, необходимые, чтобы нагреть их на одно и то же число градусов, будут одинаковы. Это показывает, что энергия распределяется равномерно между атомами независимо от их массы и на любой атом приходится в среднем одинаковое количество энергии. От этого правила, однако, наблюдаются значительные отступления, изменяющиеся притом в зависимости от температуры, чего теория совершенно не предусматривала. Какой же выход нашел

[1]) Положение максимума определяется температурой источника лучистой энергии: по мере повышения температуры максимум перемещается к фиолетовому концу спектра.

[2]) Закон Планка приложим, строго говоря, к излучению т. наз. „абсолютно черного" тела, практически же этот закон приложим к изучению, выходящему из маленького отверстия в металлическом ящике, равномерно нагреваемом со всех сторон. Чтобы непосредственно от наружной стороны стенок не было излучения, перед ящиком ставится ряд экранов, имеющих отверстия, против отверстия в самом нагреваемом ящике.

Эйнштейн? Так как закон Дюлонга и Пти относится к твердому состоянию, а в твердом теле атомы могут только колебаться вокруг их положения равновесия—поступательно они двигаться не могут, то естественно является мысль, не будет ли энергия и здесь распределяться „квантами" пропорционально числам колебаний атомов вокруг положения равновесия. Но эти же числа колебаний определяют собой и спектр поглощения данного твердого тела. Из всех падающих на данное тело волн раскачивать атомы будут только те, частота которых совпадает с частотой колебаний самих атомов, но при этом раскачивании будет тратиться энергия волны,—волны будут поглощаться. Таким образом была разработана теория, блестяще оправдывающаяся на многочисленных опытах и связавшая между собой отступления от закона Дюлонга и Пти, спектры поглощения, упругие свойства тел и температуру их плавления. Почти что одним росчерком пера были объединены в стройное целое самые разнообразные факты, на первый взгляд не имевшие ничего общего между собой. Как раз в этой области и лежали противоречия, которые Кельвин и назвал „второй тучей".

Подведем итог. Даже из настоящего, весьма неполного очерка ясно, что теория „квант" оказалась необыкновенно плодотворной. Эта теория стала сразу на положение необходимого для физика-теоретика орудия труда. Не будем скрывать от себя, что многое в этой теории для нас еще неясно; но было бы ошибочно думать, что эта новая теория упраздняет всю старую физику, как это любят говорить не в меру усердные популяризаторы. Мы ведь видели, что на-ряду с новыми положениями этой действительно революционной теории нам в равной мере необходимы и механика Ньютона и классическое учение об электромагнитных процессах. Таким образом вся задача сводится к тому, чтобы связать новое со старым, нам надо выяснить пределы приложимости классической механики и электродинамики и выяснить те общие законы, которые должны их объединить и дополнить, так как ясно, что „кванты" вносят что-то свое, новое. Руководствуясь диалектическим методом, мы сразу можем сказать, чего нам еще не хватает: если громадное число фактов заставило даже самых осторожных мыслителей из буржуазного мира отказаться от предрассудка, что „природа не делает скачков" и утверждать „что природа делает скачки и притом весьма странного сорта" [1]), то в мире атомов нам еще неизвестны те непрерывные процессы, те процессы подготовки, которые приводят к наблюдаемым уже нами скачкам, а в диалектическом процессе всякий скачок предполагает предшествующее непрерывное развитие.

А. Тимирязев.

[1]) М. Планк. „Новые пути физического познания". „Под знаменем марксизма". № 1. 1923 год, стр. 76.

Возникновение и постепенное развитие теории „квант".

(Нобелевская речь, читанная 2 июня 1920 г. в Шведской Академии Наук в Стокгольме).

Перевод с немецкого Вл. Семенченко.

Если я правильно понимаю смысл принятого мною на сегодня обязательства прочесть публичный доклад относительно моих работ, то думаю, ничто не может лучше соответствовать выполнению этой задачи, важность которой подчеркивается для меня чувством благодарности к великодушному основателю этого учреждения, как попытка набросать вам в общих чертах историю возникновения теории квант и дать вам приблизительную картину развития этой теории до настоящего времени и ее теперешнее значение для физики.

Оглядываясь на времена, лежащие двадцать лет тому назад, когда впервые из целого ряда опытных фактов начали вырисовываться понятие и величина кванты действия и на долгий извилистый путь, приведший, в конце концов, к ее открытию, то кажется мне теперь все это новой иллюстрацией к давно доказанным словам Гёте, что человек ошибается, пока он стремится вперед. И вся напряженная работа духа могла бы показаться прилежному исследователю тщетной и безнадежной, если бы иногда поразительные факты не давали ему в руки неопровержимого доказательства того, что он в конце своего тернистого и извилистого пути, по крайней мере, хоть на шаг приблизится к истине. Преследование определенной цели, привлекательность которой не меркнет от первых неудач, является необходимой предпосылкой, хотя далеко не залогом, для успеха.

Для меня такой целью уже давно было решение вопроса о распределении энергии в нормальном спектре лучистой теплоты [1]). С тех пор, как Густав Кирхгофф показал, что свойства теплового излучения, которое образуется в пустом пространстве, ограниченном любыми равномерно нагретыми поглощающими и излучающими телами, вполне независимы от природы этих тел, было доказано существование некоторой универсальной функции, зависящей только от температуры и длины волны, но никоим образом не от особенных свойств какого-либо вещества; и отыскание этой замечательной функции сулило более глубокое проникновение в сущность связи между

[1]) Лучи различных цветов, т.-е. различных длин волн, содержат далеко не одинаковое количество энергии. При повышении температуры большая часть энергии смещается к лучам с меньшей длиной волны. В видимом спектре такими лучами являются голубые и фиолетовые. Математическим выражением этого является так наз. „закон смещения" Вина. *Прим. перев.*

энергией и температурой, связи, которая является главной проблемой термодинамики, а следовательно и всей молекулярной физики. Для решения этой задачи не оставалось иного пути, как выбрать из всех различных, встречающихся в природе, тел, какое-нибудь одно с определенной испускательной и поглощательной способностью и вычислить свойства теплового излучения, находящегося с ним в состоянии равновесия. Тогда по теореме Кирхгоффа эти свойства не должны зависеть от свойств тела.

Телом, особенно пригодным для этой цели, показался мне линейный осциллятор Генриха Гертца, законы излучения которого при данном числе колебаний незадолго до этого были вполне установлены Гертцем. Если в пустом пространстве, окруженном зеркальными стенками, находится некоторое число таких Гертцевских осцилляторов, то они так же, как и акустические резонаторы и камертоны, будут, поглощая и испуская электромагнитные волны, обмениваться друг с другом энергией, и, в конце концов, в этом пространстве установится стационарное, т. н. черное излучение, соответствующее закону Кирхгоффа. Тогда я предавался розовым надеждам, кажущимся теперь, конечно, немного наивными, что законов классической электродинамики, взятых в достаточно общем виде и освобожденных от специальных гипотез, достаточно, чтобы понять важнейшее в рассматриваемом процессе и достичь таким образом желанной цели. Тогда я вывел законы излучения и поглощения линейного резонатора из возможно более общих оснований, действуя обходным путем, которого я мог бы вполне избежать, применяя электронную теорию Г. А. Лоренца, в то время уже вполне законченную в основных положениях. Но так как я не вполне доверял электронной гипотезе, то я предпочел рассматривать энергию, входящую и выходящую из шаровой поверхности, описанной определенным радиусом около резонатора. При этом рассматриваются только процессы в пустоте, знания которых достаточно, чтобы вывести необходимые заключения об изменении энергии резонатора.

Плодом длинного ряда исследований, из которых отдельные могли быть поверены сравнением с опытными данными, именно, с измерениями затухания Бьеркнеса, и при этом подтвердились, было установление общей зависимости между энергией резонатора определенного периода и энергией излучения соответствующей спектральной области в окружающем поле при стационарном обмене энергии. При этом получился замечательный результат, что это отношение совершенно не зависит от природы резонатора, даже от его постоянной затухания [1]), обстоятельство особенно благоприятное и радостное

[1]) Если маятник незаведенных часов толкнуть, то он будет совершать колебания, размах которых будет постепенно уменьшаться. Такие колебания могут служить

для меня, так как, благодаря ему, всю проблему можно было упростить, заменяя энергию излучения энергией резонатора, отчего запутанная система со многими степенями свободы [2]) заменялась простой системой с одной единственной степенью свободы.

Конечно, этот результат обозначал не более, как подготовительный шаг в одолении самой проблемы, которая теперь казалась еще неприступнее в своей страшной высоте. Первая попытка завоевать ее не удалась, так как моя первоначальная робкая надежда на то, что испускаемое резонатором излучение будет каким-нибудь характерным образом отличаться от поглощаемого, благодаря чему явилась бы возможность вывода дифференциального уравнения, интеграцией которого можно было бы получить особенные условия для свойств стационарного излучения, оказалась обманчивой. Резонатор реагировал только на те лучи, которые он сам испускал, и оказывался совершенно нечувствительным к соседним областям спектра.

К тому же мое утверждение, что резонатор может производить одностороннее, следовательно, необратимое действие на энергию окружающего излучения, вызвало энергичные возражения со стороны Людвига Больцмана, доказывавшего со всей своей опытностью в таких вопросах, что по законам классической динамики каждый из рассмотренных мною процессов может итти в совершенно противоположном направлении таким образом, что излученная резонатором шаровая волна обратно, в виде непрерывно уменьшающейся шаровой поверхности, сгустится на резонаторе и будет опять поглощена им, благодаря чему энергия, только что им поглощенная, будет снова испускаться в пространство по тем же направлениям, по которым она пришла; и если даже я могу исключить введением ограничительного предположения, а именно гипотезы естественного излучения, подобные отдельные явления, как направленная внутрь шаровая волна, то все-таки из этого анализа выясняется все отчетливее, что для полного понимания сущности всего вопроса недостает еще важного связующего звена.

Тогда мне не оставалось ничего другого, как попытаться одолеть эту задачу с противоположной стороны, термодинамической, где я

затухающих колебаний. В формулу, выражающую свойства затухающего колебания, входит некоторая величина, постоянная для данного колебания и служащая мерилом скорости затухания. *Прим. перев.*

[2]) Степенями свободы данного движения называются величины, необходимые для определения положения движущегося тела. Напр., подъемник лифта имеет одну степень свободы, так как может двигаться только в вертикальном направлении, и его положение вполне определяется высотой, на которую он поднялся. Тело, двигающееся по плоской поверхности, имеет две степени свободы для определения положения точки на плане нужно знать долготу и широту, т.-е. две величины). Прибавляя еще движение вверх, мы получам три степени свободы и т. д. *Прим. перев.*

чувствовал себя более компетентным. Здесь мне помогли мои более ранние работы по второму началу термодинамики в том отношении, что я сразу установил отношение между энергией (а не температурой) резонатора и его энтропией и даже не самой энтропией, но ее второй производной по энергии, так как эта производная обладает прямым физическим значением для необратимости обмена энергией между резонатором и излучением. Так как я в то время был настроен еще слишком феноменологически, чтобы задаться вопросом о связи между энтропией и вероятностью, то я обратил прежде всего внимание на непосредственные результаты опыта. Тогда в 1899 году наиболее интересным представлялся только что выведенный Вином закон распределения энергии, экспериментальной поверкой которого были заняты Пашен в высшей школе в Ганновере и Луммер и Принсгейм в государственном физическом институте в Шарлоттенбурге. Этот закон представляет зависимость интенсивности излучения от температуры с помощью показательной функции. Вычисляя обусловленную им связь между энтропией и энергией резонатора, получаем замечательный результат, что обратное значение вышеупомянутой производной, которую я хочу обозначить здесь через R, пропорционально энергии. Это весьма простое отношение может считаться вполне адэкватным выражением Виновского закона распределения энергии потому, что при помощи общеизвестного закона смещения Вина оно вместе с зависимостью от энергии даёт непосредственно и зависимость от длины волны.

Так как во всех этих вопросах дело шло об универсальном законе природы и так как я тогда так же, как и теперь, держался мнения, что закон природы выражается тем проще, чем он общее, причем, конечно, вопрос, какую формулировку рассматривать, как более простую, не всегда можно решить несомненно и окончательно, то я думал одно время, что в положении о пропорциональности величины R энергии нужно видеть основу всего закона распределения энергии. Но такое предположение вскоре оказалось неустойчивым перед результатами новых измерений. Именно, в то время, как для небольших значений энергии и для коротких волн закон Вина вполне подтвердился, для более длинных волн Луммер и Принсгейм установили заметные отклонения, а измерения, произведенные Рубенсом и Курльбаумом с остаточными лучами [1]) плавикового шпата и каменной соли, обнаружили отношения совершенно другого рода, но также чрезвычайно простые, которые характеризуются тем, что величина R пропорциональна не энергии, но квадрату энергии, при том, тем точнее, чем к большим энергиям и длинам волн мы переходим.

[1]) Остаточными лучами называются лучи, полученные многократным отражением пучка света от ряда поверхностей, сделанных из определенного вещества. *Прим. перев.*

Таким образом прямым опытом для функции R были определены две границы: для малых энергий пропорциональность с энергией, для больших энергий — с квадратом энергии. Ничего не было проще, как приравнять для общего случая величину R сумме двух членов: одного, содержащего энергию в первой степени, другого—во второй, таким образом, чтобы для малых энергий первый, для больших—второй член имел перевес, и таким образом была найдена новая формула излучения, которая вполне удовлетворительно выдерживала до сих пор экспериментальную поверку. Конечно, сейчас нельзя говорить об окончательном подтверждении ее опытом, скорее была бы весьма желательна новая поверка.

Но даже если эта формула излучения оказалась бы абсолютно точной, то она имела бы очень ограниченное значение, только как счастливо отгаданная интерполяционная формула. Поэтому я со дня ее нахождения был занят задачей установления ее истинного физического смысла, и этот вопрос привел меня к рассмотрению связи между энтропией и вероятностью, т. е. к больцмановскому образу мыслей. После нескольких недель напряженнейшей работы в моей жизни, темнота рассеялась и показались новые неподозреваемые раньше дали.

Разрешу себе здесь небольшое отступление. По Больцману, энтропия является мерой для физической вероятности, и сущность второго начала термодинамики состоит в том, что в природе какое-либо состояние встречается тем чаще, чем оно вероятнее. В действительности измеряется всегда не сама энтропия, но только разность энтропий, и поэтому без известного произвола нельзя говорить об энтропии какого-нибудь состояния. Но все-таки рекомендуется введение определенной надлежащим образом абсолютной величины энтропии из соображения, что посредством ее можно известные общие теоремы формулировать особенно просто. Также не измеримы и сами энергии, а только их разности. Поэтому раньше вычисляли не энергию, но работу, и Эрнст Мах, который много занимался законом сохранения энергии, но избегал принципиально всех рассуждений, выходящих за пределы области непосредственного наблюдения, всегда старался не говорить о самой энергии. Также и в термохимии придерживались вначале теплового эффекта, т. е. разности энергий, пока Вильгельм Оствальд с убедительностью не указал, что многие растянутые рассуждения могут быть значительно сокращены, если их вычислять не с калориметрическими цифрами, а с самыми энергиями. Добавочная постоянная, оставшаяся тогда еще неопределенной в выражении энергии, позже была окончательно определена тео-

ремой теории относительности о пропорциональности между энергией и инерцией [1]).

Подобно тому, как для энергии можно теперь определить абсолютное значение, так же и для энтропии и, следовательно, для физической вероятности, определяя добавочную постоянную из условия, что энтропия исчезает вместе с энергией (еще лучше с температурой). На основании подобных рассуждений получается для вычисления физической вероятности определенного распределения энергии в системе резонаторов относительно простой прием комбинаторики, который приводит к такому же точно выражению энтропии, как и закон излучения, и после многих испытанных разочарований мне доставило особенное удовлетворение, что Людвиг Больцманн выразил свой интерес и принципиальное согласие с развитыми мной идеями в письме, которым он ответил на присылку моей работы.

Чтобы провести упомянутое вычисление вероятности, необходимо знание двух универсальных постоянных, каждая из которых имеет самостоятельный физический смысл. Возможно их определение из закона излучения, а, следовательно, и решение вопроса — представляет ли весь этот способ только искусственный вычислительный прием или он имеет определенный физический смысл. Первая постоянная более формального характера, она связана с определением температуры. Определяя температуру, как среднюю кинетическую энергию [2]) одной молекулы идеального газа, т.-е. как ничтожно малую величину, мы получаем для этой постоянной значение $\frac{2}{3}$. В общепринятых единицах температуры эта константа, напротив, принимает чрезвычайно малое значение, которое естественно стоит в тесной связи с энергией одной молекулы и точное значение которой приводит поэтому к вычислению массы одной молекулы и связанных с ней величин. Эта постоянная часто обозначается, как больцмановская постоянная, хотя сам Больцман никогда не вводил ее, насколько я знаю; особое обстоятельство, которое объясняется тем, что Больцман, как это ясно из его случайного мнения, совершенно не думал о возможности точного измерения этой постоянной. Ничто не может лучше иллюстрировать те бурные успехи, которые сделаны в последние двадцать лет экспериментальным искусством, как факт, что теперь

[1]) Абсолютная величина энергии равна произведению массы на квадрат скорости света. *Прим. автора.*

Так как скорость света равняется 300.000 километрам в секунду, то ясно, что абсолютная энергия даже незначительного количества вещества должна быть колоссальной. *Прим. перев.*

[2]) Кинетической энергией тела называется половина произведения его массы на квадрат его скорости. *Прим. перев.*

открыт не один, но целое множество методов измерения массы одной молекулы с такой же точностью, как и массы планеты.

В то время, когда я произвел соответствующее вычисление из формулы закона излучения, точная поверка полученного числа была вообще невозможна и не оставалось ничего другого, как определить допустимость порядка его величины. Вскоре Резерфорд и Гейгер определили, посредством прямого счета α частиц [1]), значение элементарного электрического заряда в $4{,}65 . 10^{-10}$ электростатических единиц [2]), согласование которого с вычисленным мной числом $4{,}69 . 10^{-10}$ может рассматриваться, как решительное подтверждение пригодности моей теории. С тех пор методы, разработанные Регенером, Мелликаном и друг., привели к небольшому повышению этого значения.

Значение второй универсальной постоянной закона излучения, которую я назвал элементарной квантой действия, так как она представляет произведение энергии и времени, равной по первому вычислению $6{,}55 . 10^{-27}$ эргам [3]) в секунду, было менее понятно. Она была совершенно необходима для получения правильного выражения энтропии, так как только с ее помощью можно было определить величину элементарной области вероятности, но не поддавалась никаким попыткам уместить ее в каком-нибудь подобающем виде в рамки классической теории. При больших энергиях или больших периодах времени, пока их можно было рассматривать как бесконечно малые, все было в полном порядке, но в общем случае раскрывалась в каком-нибудь месте щель, раскрывавшаяся еще больше при переходе к более слабым и быстрым колебаниям. Крушение всех попыток перебросить мост через возникшую пропасть вскоре не оставляло никакого сомнения: или кванта действия была фиктивная величина и тогда весь вывод закона излучения был принципиально иллюзорным и представлял просто лишенную содержания игру в формулы, или при получении этого закона в основе была положена правильная физическая мысль—тогда кванта действия должна была играть в физике фундаментальную роль, тогда появление ее возвещало нечто совершенно новое, до того неслыханное, что, казалось, требовало пре-

[1]) Радий испускает три рода лучей: α—заряженные электричеством атомы элемента гелия, β—свободные электроны и γ—аналогичные лучам Рентгена. Подробнее смотреть об этом статью Дарвина в журнале „Под знаменем марксизма“ за 1922 г., № 4-й (апрель). *Прим. перев.*

[2]) Электростатической единицей электричества называется количество электричества, которое может поддерживать в воздухе заряженный таким же зарядом шарик, весящий $^1/_{1000}$ грамма и находящийся на расстоянии 1 сантиметра. Приведенный в тексте заряд — заряд одного электрона и одной β-частицы. *Прим. перев.*

[3]) Если работу умножить на то время, в которое она произведена, то полученная величина наз. действием. Единица действия—поднятие приблизительно $^1/_{1000}$ грамма на высоту одного сантиметра в секунду, наз. эргом. Кванта действия и представляет $6{,}55 . 10^{-27}$ частей этой величины. *Прим. перев.*

образования самых основ нашего физического мышления, покоившегося, со времен обоснования анализа бесконечно малых Ньютоном и Лейбницем, на предположении о непрерывности всех причинных связей.

Опыт решил в пользу второй альтернативы. Но тому, что это произошло так скоро и определенно, наука обязана не подтверждению закона распределения энергии теплового излучения, тем более — не данному мною специальному способу вывода этого закона, она обязана неустанно стремившейся вперед работе тех исследователей, которые пользовались в исследованиях понятием кванты действия.

Первый толчок к этому был дан А. Эйнштейном, который, с одной стороны, указал на то, что для ряда замечательных наблюдений о действии света, как правило Стокса [1]), испускание электронов [2]), ионизация газов [3]), повидимому, можно получить простое объяснение, если ввести, обусловливаемые квантой действия, кванты энергии, а с другой стороны, отождествляя выражение энергии системы резонаторов с энергией твердого тела, получил формулу для теплоемкости твердого тела, дающую в общем правильное представление об изменениях теплоемкости, в особенности об ее уменьшении при низких температурах. При этом поднято было немало различных вопросов, всесторонняя точная разработка которых требовала с течением времени числовых данных.

Даже приблизительно полный обзор множества выполненных здесь работ не может быть моей задачей; речь может итти лишь о том, чтобы отметить важнейшие характерные этапы на пути развивающейся науки.

Сначала кое-что о термических и химических явлениях. Что касается теплоемкости твердого тела, то вывод Эйнштейна, основанный на предположении одного единственного собственного колебания атома, был распространен М. Борном и Карманом на случай собственных колебаний различного рода, ближе соответствующий действительности, и Дебай получил, при помощи смелого упрощения в предположении о характере собственных колебаний, относительно простую формулу для теплоемкости твердого тела, которая не только

[1]) Правило Стокса относится к так называемым явлениям флюоресценции, состоящим в том, что некоторые вещества при освещении принимают характерную окраску, видимую главным образом сбоку. По правилу Стокса длина волны света, возбуждающего флюоресценцию, всегда меньше длины волны света флюоресценции. *Прим. перев.*

[2]) Поверхности некоторых металлов при освещении испускают электроны. Обычно это явление называется фотоэлектрическим эффектом. *Прим. перев.*

[3]) Молекулы некоторых газов при освещении рентгеновскими и короткими световыми лучами теряют один или несколько электронов, отчего делаются положительно заряженными. *Прим. перев.*

давала для низких температур совершенно те же значения, как и измеренные Нернстом и его учениками, но и хорошо согласовалась с упругими и оптическими свойствами тела. Также выяснилось и значение кванты действия для теплоемкости газов. Еще раньше Нернст указал на то, что кванте энергии колебания должна соответствовать кванта энергии вращения и поэтому можно было ожидать, что и вращательная энергия молекулы газа исчезает при низких температурах. Измерения теплоемкости водорода Эйкепом подтвердили это заключение, и если вычисления Эйнштейна, Штерна, Эренфеста и друг. до сих пор не дали никакого удовлетворительно согласующегося с опытом результата, то причиною этого, понятно, является наше еще далеко неполное знание модели молекулы водорода. После работ Бьеррума, Евы Бар, Рубенса и Геттнера и друг. о полосах поглощения инфра-красной части спектра нельзя больше сомневаться в том, что в природе действительно существуют подчиняющиеся квантовым условиям вращения молекулы, хотя до сих пор еще нельзя дать всесторонне исчерпывающего объяснения этих замечательных ротационных спектров.

Так как в конце концов все свойства химического сродства какого-либо вещества обусловлены его энтропией, то кванто-теоретическое вычисление энтропии дает возможность подхода ко всем проблемам учения о сродстве. Абсолютное значение энтропии газа характеризуется химической константой Нернста, которую Сакур вычислил прямо при помощи приема комбинаторики, подобного примененному мной к осцилляторам, а Штерн и Тетроде определили, посредством рассмотрения процесса испарения, разность энтропий в газообразном и твердом состоянии, в приложении к данным, полученным ими из измерений.

Если в рассмотренных до сих пор случаях дело шло постоянно о состоянии термодинамического равновесия, для которого измерения могут дать относящиеся к большим периодам времени и многим частицам статистические средние значения, то наблюдение столкновений электронов вводит в частности динамики исследуемого процесса, и поэтому, произведенное Франком и Гертцем определение так называемого резонансного потенциала или той критической скорости, которой должен обладать электрон, чтобы при столкновении с нейтральным атомом побудить его к испусканию одного светового кванта, дает метод измерения кванты действия, прямее которого невозможно и желать. Для возбуждения открытого Барклой характеристического рентгеновского излучения можно по исследованиям Вебстера, Вагнера и др. найти соответствующие методы, которые приводят к хорошо согласующимся результатам.

Испускание световой кванты при ударе электронов представляет процесс, обратный испусканию электронов при освещении световыми рентгеновскими и γ-лучами, и здесь кванты энергии, выражающиеся через кванту действия и частоту колебания, играют характерную роль, как это уже раньше можно было понять из поразительного факта, что скорость испускаемого электрона зависит не от интенсивности освещения, но только от цвета падающего света. Вышеупомянутое Эйнштейновское отношение к световым квантам подтвердилось во всех отношениях и количественно, что было определено Миликаном измерением скорости, с которой вылетает испускаемый электрон, в то время как Варбург открыл значение световой кванты для начального периода фотохимических реакций [1]).

Если, приведенные мной до сих пор, взятые из различнейших областей физики, опытные факты представляют подавляющий материал в пользу существования кванты действия, то с обоснованием и развитием теории атома Нильсом Бором гипотеза квант получила еще более прочную основу. В кванте действия эта теория получила долго искомый ключ к воротам в чудесную страну спектроскопии, которая со времени открытия спектрального анализа упорно не поддавалась всем попыткам открыть ее. Как только путь освободился, полился целый поток новообретенных познаний о целой области одинаково близкой как физике, так и химии. Первым блестящим достижением было получение формулы серии Бальмера [2]) для водорода и гелия включительно до выражения универсальной постоянной Ридберга через хорошо известные величины, при чем даже небольшая разница этих постоянных для водорода и гелия оказалась необходимо обусловленной движением тяжелого атомного ядра. Это закончилось открытием других серий в оптическом и рентгеновском спектре с помощью всегда плодотворного комбинационного принципа Ритца, только теперь понятного во всем своем основном значении.

После того, как Зоммерфельд показал, что при надлежащем распространении закона распределения квант на систему с многими степенями свободы при условии учета, требуемого теорией относительности, изменяемости массы [3]), получается волшебная формула, по

[1]) Фотохимическими называются реакции, происходящие под действием света. *Прим. перев.*

[2]) Линии спектров различных элементов распределены не беспорядочно, а по так называемым сериям, при чем Бальмеру еще в 1885 г. удалось найти формулу, которой подчинялось распределение линий спектра водорода. Но эта формула была только остроумной догадкой, а Бор установил связь строения атома с его спектром. *Прим. перев.*

[3]) По принципу относительности масса тела зависит от его скорости и возрастает пропорционально ей. Впрочем, это делается заметным лишь при скоростях близких к скорости света, следовательно для обычной жизни значения не имеет. *Прим. перев.*

которой спектры водорода и гелия должны были открыть загадку их тонкой структуры, насколько она вообще была определена измерениями Пашена, тончайшими из всех ныне возможных, работа вполне равноценная знаменитому открытию планеты Нептуна, существование и элементы орбиты которой были вычислены Леверрье, раньше чем ее видел человеческий глаз. После всего этого даже те, кто, несмотря на количественные совпадения, которые при чрезвычайной точности спектроскопических измерений должны быть особенно убедительны, все еще склонялись считать все это игрой случая, в конце концов принуждены были бросить последние сомнения. Идя дальше по этому пути, Эпштейн добился полного объяснения эффекта Штарка—расщепления спектральных линий в электрическом поле. Дебай раскрыл простое значение исследованной Манном Зигбаном К серии рентгеновского спектра, и за этим следует целый ряд исследований, более или менее успешно раскрывающих тайну строения атома.

После всех этих результатов, для полного изложения, которых сюда нужно было бы привлечь еще другое громкое имя, судье, который не желает итти против фактов, не остается ничего другого, как дать кванте действия, которая из пестрого множества различных процессов в каждом отдельном всегда появлялась как одна и та же величина, именно $6{,}54.10^{-27}$ эргов в секунду, полные права гражданства в системе универсальных физических постоянных. Должно показаться странным совпадением, что в то время, когда мысль об общей относительности проложила себе свободную дорогу и достигла неслыханных успехов, природа открыла там, где этого менее всего можно было ожидать, нечто абсолютное, некоторую действительно неизменную единицу измерения, посредством которой можно содержащуюся в пространственно-временном элементе величину действия выразить совершенно определенным свободным от произвола числом, отчего она лишится своего относительного характера.

Конечно, введение кванты действия еще не создает никакой истинной теории квант. Может быть путь, который еще остался исследованию, не менее далек, чем путь от открытия скорости света Олафом Ромером до обоснования теории света Максвеллом. Выше я уже касался трудностей, которые возникли с самого начала при введении кванты действия в классическую теорию. С течением времени они скорее увеличились, чем уменьшились, и если за этот промежуток бурно несущееся вперед исследование перешло на время от них к текущим вопросам, то удручают добросовестного систематика эти зияющие пустоты еще мучительнее. То, что является в теории Бора основным предположением при установлении законов, действующих в атоме, слагается из известных гипотез, которые, без сомнения, каждым физиком прошлого поколения были бы совер-

шенно отвергнуты. Еще можно считать приемлемым то, что известные, отмеченные совершенно определенными квантовыми условиями пути играют особенную роль, менее легко принять, что электроны двигающиеся по этим путям с ускорением, не излучают совершенно никакой энергии [1]). Но теоретику классической школы должно показаться чудовищным и совершенно неприемлемым требованием для способности воображения, что четко определенная частота испускаемой световой кванты должна быть иной, чем частота излучающего электрона.

Но цифры решили это дело иначе, и вследствие этого теперь роли изменились по сравнению с прошлым. Вначале дело шло о том, каким образом новый чуждый элемент с большими или меньшими усилиями втиснуть в рамки общепринятых теорий, теперь, завоевав верное место, он с своей стороны перешел в нападение и сейчас уже ясно, что эти старые рамки будут сломаны им каким-нибудь образом. Неясно еще только, где и в какой степени ему удастся сделать это.

Если позволительно уже сейчас высказать мнение об ожидаемом исходе этой горячей битвы, то, кажется, все говорит за то, что из классических теорий великие принципы термодинамики и в теории квант не только сохранят в неприкосновенности свое центральное положение, но даже соответствующим образом расширят свои владения. То значение, которое принадлежало при обосновании классической термодинамики умственному эксперименту, в теории квант принадлежит адиабатной гипотезе Эренфеста, и, как Клаузиусом за исходный пункт при измерении энтропии была введена теорема о возможности, при подходящем подборе обратимого процесса, два любых состояния материальной системы перевести друг в друга, так показывают нам новые идеи Бора соответствующий путь во внутренность открытой им страны чудес.

Существует особенно один вопрос, от исчерпывающего ответа на который мы должны, по моему мнению, ожидать многозначущих выяснений. Что будет после полного испускания с энергией одной световой кванты? Будет ли она по волновой теории Гюйгенса расширяться при дальнейшем распространении по всем направлениям, занимая все больше пространства и бесконечно утончаясь? Или по ньютоновской теории истечения она полетит, как брошенный снаряд, в одном направлении? В первом случае кванта не была бы в состоянии сконцентрировать свою энергию в одном месте пространства настолько, чтобы она смогла освободить электрон, связанный с атомом, но во втором пришлось бы пожертвовать главнейшим триумфом теории Максвелла: непрерывностью между статическим и динамическим по-

[1]) По электронной теории всякое изменение скорости движения электрона влечет излучение им электромагнитной энергии. *Прим. перев.*

лем, а вместе с этим и вполне разработанной до тончайших подробностей теорией интерференционных явлений. И то и другое следствие одинаково печально для теперешних теоретиков.

Но и здесь будет как всегда: ни в каком случае не может быть сомнения, что наука преодолеет также и эту тяжелую дилемму, и то, что сегодня кажется нам непонятным, когда-нибудь будет казаться особенно простым и гармоничным. Но прежде чем эта цель будет достигнута, проблема кванты действия не перестанет побуждать и оплодотворять мысль исследователей, и чем большие трудности представятся в ее решении, тем важнее она окажется для расширения и углубления всего нашего физического знания.

Современное естествознание и материализм Маркса и Энгельса.

(„Философия науки“ под ред. А. К. Тимирязева, и его же „Кинетическая теория материи“, акад. И. И. Павлова, „Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных“).

Естественные науки, без сомнения, являются одним из камней того фундамента, на котором Маркс и Энгельс построили свое материалистическое мировоззрение. И Маркс и в особенности Энгельс очень много занимались естествознанием, при чем ни одно крупное открытие в этой области не ускользало от их внимания. Но, занимаясь естествознанием, признавая огромное значение открытий и достижений в сфере наук о природе, Маркс и Энгельс прекрасно понимали, что ученые естественники, оставаясь материалистами в своей лаборатории, на кафедре и публично сплошь и рядом выступают самыми ярыми защитниками идеалистической философии. Диалектическая революционная сторона естествознания такими учеными, служителями буржуазии, намеренно замалчивалась и затушевывалась, больше того, основное здоровое ядро тех теорий, которые создавались выдающимися учеными естественниками, такого сорта людьми просто искажались.

Понятно поэтому, что ознакомление русской учащейся молодежи с первоисточниками, из которых берут свое начало эти истинно-материалистические теории и взгляды, в высшей степени важно и желательно. Издание некоторых произведений (речей и докладов) выдающихся естествоиспытателей, предпринятое т. А. К. Тимирязевым,

как раз и преследует эту цель, и можно только пожелать самого широкого распространения книги, недавно вышедшей в издании Гос. Изд. под названием: „Философия науки. Естественно-научные основы материализма". А. К. Тимирязев в предисловии указывает на те основные положения, которые каждый ученый естествоиспытатель обязательно кладет как фундамент своей работы, принимает за исходную точку, идя откуда, он только и может строить свои гипотезы и теории. Это прежде всего положение о том, что вне нас и независимо от нас существуют вещи, внешний мир. Люди, склонные думать, что обязательно нужно исправить и дополнить материалистическое мировоззрение Маркса, скажут: „Эка, невидаль! Это старо. Наука давно уже перешагнула через это миропонимание".

В особенности склонны к таким возражениям люди, считающие себя сторонниками Маха и Авенариуса, эмпириомонисты и эмпириокритики. И как бы ни уверяли они нас в том, что они гораздо лучше Плеханова и других ортодоксальных учеников Маркса понимают учение материализма, факт остается фактом: они, эти люди, пытаются, вместо материализма, внести чистейший идеализм, ибо что же, как не идеализм, есть утверждение, что все вещи, стало быть, внешний мир, — человек и природа — есть только комплекс моих ощущений. Совершенно справедливо замечает по этому поводу т. Тимирязев, что было бы величайшей глупостью тратить десятки лет на изобретение прибора, при помощи которого можно фотографировать облака водяного пара, выделяющегося при движении атомов гелия, заряженных электричеством, было бы просто безумием заниматься таким делом, если бы ученый, занимающийся им, не был уверен, не знал, что атомы действительно существуют.

Открытия физики и химии в области строения материи вообще разбили все хитроумные возражения идеалистов о том, что успехи и доказали ошибочность материалистического мировоззрения; вы вот утверждали, говорят они нам, что материя существует, что она состоит из неделимых атомов, а вот оказалось, что и атомы-то делимы и что существуют электроны; не есть ли это лучшее доказательство того, что все эти атомы и электроны суть только наши ощущения и не больше? А если это так, то не сводится ли все, что в нас и вне нас, к ощущению и в конечном счете к моему сознанию?

Тов. Тимирязев подчеркивает, что и это ошибочное мнение идеалистов в корне разбивается современным естествознанием, где красной нитью проходит непоколебимое убеждение, что наши ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира. В этом отношении интересна точка зрения всех выдающихся современных естественников, решительно отвергающих идеалистический подход к изучаемым естествознанием явлениям природы. Существование материи вне нас и

учение о сознании, как о свойстве этой самой материи, вот те основные истины, которые являются надежными руководителями всякого естествоиспытателя, плодотворно исследующего природу. С точки зрения этих двух истин такой естествоиспытатель и подходит к разрешению самых сложнейших проблем естествознания: „вне природы и ее действия на нас у него нет никаких задач, и к теориям, построенным на иных основаниях, он относится просто как к метафизическим измышлениям. Вот как, напр., О. Винер („Расширение области наших чувственных восприятий") относится к Кантовской вещи в себе. „Философы,—говорит он,—неоднократно высказывали мысль, что вещь сама в себе (das Ding an sich) навсегда остается недоступной нашему сознанию. Физик может на это ответить, что предметом его исследования бывают только отношения вещей к нему и между собой. Вещи, которые не действуют ни на его чувства, ни на другие вещи, непосредственно или посредственно на него воздействующие, конечно, не подлежат его познанию".

Если в этом взгляде еще, как будто, есть какая-то неуверенность, то не оставляет никакого сомнения выдержка из сочинения отца О. Винера—Христ. Винера, говорящая о том же предмете. „Существуют ли на том же месте (например, занятом каким-нибудь существом) еще другие вещи помимо тех причин, которые непосредственно или посредственно через другие явления оказывают воздействие на наши чувства, нам неизвестно и никогда не будет известно, потому что мы можем получать вести лишь о том, что вызывает какое-нибудь явление в нашем „я", т.-е. какое-нибудь ощущение или чувство непосредственное и посредственное. Не можем мы составить себе о них и представления, так как каждое представление берет начало от воспоминания об испытанном ощущении или чувстве и, наоборот, никакое ощущение или чувство не может быть порождено представлением. И потому, если бы они и существовали, они не имеют никакого значения ни для нашей деятельности, так как не могут влиять на нас, ни для нашего знания, так как мы бессильны составить себе о них представление. Если же этой вещи, которая остается в остатке за вычетом всех действующих на нас причин, люди присваивают название „вещи самой в себе", то они решительно заходят слишком далеко. Потому что, во-первых, мы не знаем, останется ли за этим вычетом что-нибудь в остатке, а, во-вторых, тому, существование чего не только не достоверно, но даже ничем не указано, конечно, совершенно неуместно давать особое название.

Правда, те, кто пользуется этим названием, верят в существование „вещи в самой себе", но и только верят, так как не имеют не только доказательства ее существования, но даже указания на то, что она существует. К тому же это название „вещь сама по себе"

обозначает, что она-то и является по существу всеопределяющею, но эта вера лишена уже всякого основания".

Вся статья О. Винера есть прекрасная иллюстрация того, как „вещи в себе" т.-е. то, что философы-метафизики могли бы назвать именем „непознаваемого", с усовершенствованием приборов и инструментов, какими располагает современный физик, становится познаваемым и известным для нас. С каждым новым открытием в физике и химии число таких „непознаваемых" вещей уменьшается и ignorabimus Дюбуа-Реймона превращается ignoramus, метафизическое утверждение о том, что навсегда останутся какие-то непознаваемые сущности и „вещи в себе" уступают место твердой уверенности в том, что есть еще много непознанного, но что это непознанное с каждым днем становится для нас ясным и понятным.

Девятнадцатое столетие и в особенности первая четверть нашего века разрешили уже очень много таких „непознаваемых" проблем, явлений и вещей: так уже намечается „путь к уничтожению дально-действующих сил, к уничтожению самих сил старой физики. Сила играет в ней роль математической, строго определенной вспомогательной величины". „Что же станется тогда,—замечает по этому поводу О. Винер,—с пресловутой вечной мировой загадкой о происхождении силы, когда самой силы в смысле этой загадки вовсе не существует"?

Это изгнание метафизики из самых ее укромных уголков характеризует современное естествознание, несмотря на то, что многие представители точных наук, пускаясь философствовать, являются самыми отъявленными метафизиками. Да и одни-ли естественники? Что же ждать от буржуазных ученых, если даже „наши" профессора, прославляя точные науки и математику, сами являются провозвестниками чистейшего идеализма.

Взять хотя бы книжку проф. петербургского университета И. Боричевского „Введение в философию науки (наука и метафизика)". Книга посвящена критике философов Марбургской школы, эмпириокритицизма, Маха и т. п.; в книге цитируются Маркс и Энгельс, превозносится математика; вообще разоблачается „сверхнаучная область познания" и провозглашается „истинная научная философия"—„философия математики".

„Оставаясь в строгих границах живого научного мышления, говорит И. Боричевский:—она ограничивается установкой того, что показует сама его внутренняя природа. Вопреки всем притязаниям сверхнаучной метафизики, математика оказывается не безусловно однозначной наукой о бытии, а условно многозначной наукой о многообразиях самой мысли". Чтобы расшифровать, что обозначает эта тирада И. Боричевского, обратимся к главе четвертой его труда, куда он сам отсылает читателя.

„Современная чистая математика,—говорится там на стр. 25,—есть наука о многообразиях чистого мышления. Весь смысл ее бытия заключается в том, что она есть наука условно-выводная, совершенно независимая от каких бы то ни было вопросов бытия вообще и бытия „безусловного" в частности. Это положение является азбучной истиной для всякого, кто прочел без предвзятых мнений хотя бы одно новейшее исследование о „началах" и „сущности" математики—а такие исследования очень многочисленны в международной математической литературе". В качестве таких новейших исследований проф. И. Боричевский называет работы Couturat, Whitehead, Voss, Васильева и т. п. Ссылается проф. И. Боричевский и на Гроссмана, этого „виднейшего провозвестника" чистой математики.

Итак, истинная научная философия покоится на трудах таких ученых, как Couturat, Voss, Васильев et cetera и в частности истинная научная философия—философия математики, эта наука о многообразиях чистого мышления, совершенно независимая от каких бы то ни было вопросов бытия, вообще покоится на трудах, как труды Гроссмана.

Посмотрим же, что утверждает Гроссман, из каких оснований исходит он, чтобы построить науку о многообразиях чистого мышления, науку, независимую от бытия вообще... „Чистая математика есть наука о частном бытии, как таком бытии, которое образовалось, стало благодаря мышлению. Частное бытие, понимаемое в этом смысле, мы называем формой мысли или просто формой. Поэтому чистая математика есть учение о формах". Так определяет чистую математику Г. Гроссман во введении к своей книге „Die lineale Ausdehnungslehre", 1844 г. Не оспаривая определения чистой математики Г. Гроссмана, позволительно, однако, спросить, может ли помириться современная научная философия с утверждением Гроссмана, что бытие, хотя бы оно называлось и „частным", становилось, являлось благодаря мышлению? Как согласовать это утверждение хотя бы с данными той самой науки, к которой постоянно взывает проф. И. Боричевский, науки Ньютона, Гельмгольца, Дарвина, Ротверфорда и т. д. и т. п.? Думается, что согласование это ни в каком случае немыслимо по той простой причине, что Гроссман в своей философии математики является чистейшим метафизиком. Вот что, например, он говорит о геометрии:

„Положение, занимаемое по отношению к учению о формах, зависит от отношения между наглядным представлением пространства и чистым мышлением. Говоря выше, что это наглядное представление противостоит мышлению, как самостоятельно данное, мы не ду-

мали этим утверждать, будто мы получаем наглядное представление пространства лишь из рассмотрения пространственных вещей. Оно является основным наглядным представлением, которое дано нам вместе с открытостью наших чувств для чувственного мира и которое присуще нам так же изначально, как тело душе. То же самое можно сказать относительно времени и относительно движения, основывающегося на наглядных представлениях пространства и времени".

Нетрудно догадаться, что это наглядное представление Г. Гроссмана есть не что иное, как наглядное представление Канта. В самом деле Кант в „Критике чистого разума" в первом отделе трансцендентальной эстетики утверждает, что „пространство есть необходимое представление a priori, находящееся в основе всех внешних представлений [1]), а так как по мнению Канта „пространство не есть понятие, извлекаемое нами из внешняго опыта", то ясно, что и Г. Гроссман строит всю свою чистую математику на внеопытных представлениях a priori и таким образом возводит свою философию математики на идеалистической основе.

Это станет еще яснее, если вспомнить, как рассуждал Кант о геометрии. В той же трансцендентальной эстетике он говорит: „...Наглядное представление a priori (происходящее не из опыта) находится в основании всех понятий о пространстве. Так, все геометрические положения, например, что в треугольнике две стороны, взятые вместе, больше третьей, вытекают не из общих понятий о линии треугольника, но выводятся нами из наглядного представления и притом с аподиктической достоверностью a priori" [2]). Но не только Г. Гроссман, а и творцы учения о многообразиях чистого мышления в математике, учения, на котором проф. И. Боричевский пытается построить свою научную философию, являются чистейшими идеалистами. Г. Кантор, создатель учения о многообразиях, нисколько и не думает скрывать метафизичность своего учения. Определяя многообразие, он прямо сводит свое учение к... идеалисту Платону. „Под многообразием или множеством я понимаю вообще всякое многое, которое можно мыслить как единое, т.-е. всякую совокупность определенных элементов, которая может быть связана в одно целое с помощью некоторого закона, и я думаю таким путем определить нечто, родственное платоновскому εἶδος ἰδέα, а также тому, что Платон в своем диалоге „Филеб или высочайшее благо" называет μικτόν. Он противополагает его ἄπειρον'у, т.-е. безграничному, неопределенному, называемому мной несобственно бесконечным, равно как и πέρας'у, т.-е. границе, и называет его упорядоченной „смесью" обоих последних". Так говорит Г. Кантор и добавляет: „Что понятия эти пифагорейского

[1]) „Критика чистого разума", пер. М. Владиславлева. Спб. 1867., стр. 27 и 28.
[2]) Ib., стр. 28.

происхождения—на это намекает сам Платон". Да и не только в определении многообразия Г. Кантор является идеалистом, повсюду в своих философских рассуждениях он не отрицает своего чисто-идеалистического образа мыслей. Так, напр., он говорит о целых числах, как об особом виде реальности, которую он называет интра-субъективной реальностью или имманентной реальностью. „...Они, говорит он, занимают на основе определений вполне определенное место в нашем рассудке, вполне ясно отличаются от других составных частей нашего мышления, стоят к ним в определенных отношениях и, таким образом, видоизменяют определенным образом субстанцию нашего духа".

Наконец Г. Кантор, автор учения о многообразиях, просто протаскивает боженьку. Ясно, что Г. Кантор, как и очень многие математики, как и те, на учении которых проф. И. Боричевский строит свою научную философию, признавали, что математика есть наука о многообразиях чистого мышления, что она „при развитии своих идей должна считаться единственно лишь с имманетной реальностью своих понятий и поэтому не обязана вовсе проверять их транзиентную реальность".

Иными словами, та самая научная философия математики, которой так восхищается проф. И. Боричевский, есть чистейшая метафизика, и строить на ней научную марксистскую философию нельзя. И напрасно И. Боричевский пугает нас новейшими исследованиями по математике; если это такие исследования, как философские утверждения Г. Кантора и Г. Гроссмана, то можно только поздравить проф. И. Боричевского с его научной философией, являющейся только новым изданием идеализма. Только совсем уж не следует утверждать, что все новейшие исследования по математике примыкают к идеалистической антиматериалистической струе.

Существуют работы не только Couturat, Voss'a и т. п., но и работы таких ученых, как, напр., Гельмгольц и Больцман и др. Эти математики и физики не отрывают математику от области опыта и всячески вооружаются против основного положения той чистой математики, которая пытается (что так нравится И. Боричевскому) построить научную философию, как науку о многообразиях чистого мышления, развивающегося в силу имманентных законов вне всякой зависимости от опыта. Наоборот математики и физики, как Больцман и Гельмгольц, полагают, что наглядное представление, даже если его рассматривать как основу, из которой вытекают геометрические понятия, есть самое законнейшее дитя опыта. Конечно, и эти ученые не отрицают того, что и в опыте играет большую роль понятие: ведь нет ни одного факта, ни одного опыта, который бы не выражался понятиями. Но те же самые ученые, прекрасно понимая, что законы, выражаемые понятиями, в том числе, без сомнения и законы, уста-

навливаемые в математике, не могут выражать ничего иного, как только то, что относится к вещам вне нас, как только, что существует в действительности. Гельмгольц как раз в речи „О цели и об успехах естествознания", напечатанной А. К. Тимирязевым, говорит по этому поводу: „Найти закон явлений, значит их понять. В самом деле, закон есть всеобщее понятие, под которое можно подвести ряд однородно протекающих явлений природы" и далее: „Таким образом, законы природы являются для нас чуждой силой, мы не можем выбирать их произвольно и устанавливать их в нашем мышлении, как это бывает при выработке различных систем классификации животных и растений, где мы преследуем только мнемотехническую цель — запомнить все их названия". С этой точки зрения и вся математика и все ее аксиомы суть самые настоящие результаты опыта (измерения тел, действия тел на наши чувства и т. д.); с этой точки зрения говорить о философии математики, строить научную философию математики и мыслить себе эту научную философию как науку, которая движется вне опыта в силу имманентных законов мышления, в каком-то особенном сверхопытном царстве логики, это значит мыслить метафизически, а не научно. Воззрение таких ученых, как Больцман и Гельмгольц, в тысячу раз ближе к материализму, хотя и они иногда, пускаясь в философию, отдавали долг идеализму. Пропаганда, которой занимается проф. И. Боричевский, глубоко враждебна материализму, несмотря на то, что он чуть ли не на каждой странице божится Ньютоном, Галилеем, Дарвином, Тимирязевым, Гамсаем и Эпикуром, несмотря на то, что он ополчается против Марбургской школы и Маха. Действительно, толковать о научной философии и валить в одну кучу и Рамсая и Гроссмана, и Тимирязева, и Куниора, и Фосса, и Васильева, это значит запутаться в тех самых метафизических построениях, против которых как будто бы воюет пр. И. Боричевский, по мнению которого истинная научная философия—философия естествознания—все больше и больше освобождается... от всякого опыта. Как иначе можно понять следующее место из его книги: „Не отделяясь от живой жизни действительного опыта, естественно научная теория познания, естествознание оказывается мыслительным зданием, которое по мере своего воздвижения все больше освобождается от „чистого ощущения" и все более приближается к чуждым всякой наглядности построениям „чистой мысли" (стр. 96). Нам думается, что пр. И. Боричевский, утверждающий, что истинная естественно-научная философия все более и более освобождается от наглядности и все больше и больше приближается к голым построениям чистой мысли (ибо что же иное, как не голая, пустая мысль—чуждое всякой наглядности построение чистой мысли?) только клевещет на современное естество-

знание, которое проникнуто материализмом, коль скоро ученые не пытаются философствовать и строить теории чуждые точным наукам. Именно поэтому у проф. И. Боричевского получается вопиющее противоречие, в силу которого его естественно-научная философия в одно и то же время и не отделяется „от живой жизни действительного опыта" и существует в каком-то самодовлеющем царстве чистой мысли. Это противоречие нисколько не удивительно, если принять во внимание, что для проф. И. Боричевского являются авторитетами в области философии такие философы, как Куниора и Фосс, Гроссман и Васильев.

Куниора, как известно, исходит из того положения, что объекты математики суть функции только логических понятий. Только логические понятия составляют содержание тех определений,—из которых, в свою очередь, состоит содержание математики, так что эта последняя сводится к пустой и бессодержательной логистике (Пуанкаре, исходивший из кантовских идей о представлении и интуиции, указывал уже давно на бессодержательность логистики Куниора, Пеано и др.). А Фосс, на которого, как на новейшего исследователя, ссылается проф. И. Боричевский, уходит еще дальше Куниора, он прямо, как и Кантор, отожествляет с боженькой, которого на словах как будто бы так не любит и проф. И. Боричевский.

„В высшем свете представляется нам теперь учение пифагорейцев, которые мистически усматривали в целом числе господствующую над всем гармонию и подлинную сущность вещей. „Духовная деятельность,—говорит А. Фон-Гумбольдт,—проявляется во всем своем возвышенном величии там, где она, не нуждаясь во внешних материальных средствах, получает свой блеск исключительно из того, что исходит из мира математических мыслей. Неотразимое очарование, восхищающее весь античный мир, присуще созерцанию математических истин, вечных соотношений времени и пространства, как они раскрываются в тонах, числах и линиях". А еще более великий, чем Гумбольдт, Гаусс выразил свои глубочайшие мысли в изречении: ὁ θεὸς ἀριθμητίζει. Это значит, что частица божественной сущности вложена в число; способность постигнуть эту ее сторону есть наивысший дар, присущий человеческому рассудку. Знание математика тоже несовершенно, все вновь возникают вопросы, на которые ответа нет и, повидимому, и не будет. Но нами руководит ни разу до сих пор не поколебленное убеждение, что разум должен быть способен ответить на вопросы, возникающие исключительно из его же, им же самим созданного царства.

По современному нашему разумению мы должны признать, что решение великих вопросов, касающихся происхождения органической жизни и ее выражений в ощущениях, представлениях и мы-

слях и вообще всех выражений духовной жизни, навсегда недоступно для нашего логического познания: ignoramus ignorabimus мы их не понимаем и, быть может, никогда не поймем. Но в математике нет ignorabimus, в ней господствует уверенность в преодолевающем все трудности прогрессе". Так говорит Фосс, которого берет себе в учителя проф. И. Боричевский. Уверенность Фосса в прогрессе математики, как видим, покоится на вере в боженьку, как бы этот боженька ни назывался: θεὸς ἀριθμητίζει Гаусса, божественная гармония пифагорейцев, логистика Куниора или a priori Гроссмана или абсолютное Кантора или многообразия чистого мышления или „самодеятельность и самозаконность разума", как выражается проф. И. Боричевский. Нам не хотелось бы, чтобы проф. И. Боричевский понял нас, как человека, злостно пытающегося представить противника в ложном свете. Совсем нет. Мы вполне сочувствуем борьбе проф. И. Боричевского с метафизикой Марбургской школы, с идеалистическим учением Маха и Авенариуса, мы знаем, что проф. И. Боричевский только еще обещает изложить основы своей научной философии естествознания (а это уж не такая легкая вещь, как знает сам проф. И. Боричевский: нужно и математику знать и естествознанием заняться не только по книжечкам, а, по примеру Маркса и Энгельса, в лаборатории, не даром проф. И. Боричевский где-то говорит, что одно дело рассуждать о математике, а другое знать ее), все это мы знаем, но мы знаем, что проф. И. Боричевский утверждает, что научная философия естествознания и математики—это наука о многообразиях чистого мышления, царство чистой мысли, как этому учат Куниора, Гроссман, Фосс... и Васильев. Все это очень хорошие математики, спора нет, но вот что говорит, напр., проф. А. В. Васильев в одной из своих книжек („Пространство, время, движение. Исторические основы теории относительности"): „Одной из целей нашей работы было выявить ту атмосферу научной мысли, в которой была создана общая теория относительности. Подобно тому, как гипотеза абсолютного пространства Ньютона выросла в атмосфере английского платонизма, так и идеи, положенные в основание теорий Эйнштейна, совпадают с идеями той школы научной философии, выдающимися представителями которой являются Мах и Авенариус". Ну что же, скажет проф. И. Боричевский, только хорошо, если проф. А. В. Васильев вскрывает идеалистическую подкладку учения Эйнштейна, сближая это учение с идеалистической философией Маха и Авенариуса: ведь и я борюсь с этими идеалистическими учениями. Ваша цитата за меня, а не против меня. Послушайте однако, уважаемый профессор, как рассуждает далее проф. А. В. Васильев. Совершенно справедливо указав на то, что учение Эйнштейна имеет точки соприкосновения с учением Маха и Авенариуса,

проф. А. В. Васильев не менее справедливо указывает, что это последнее берет свое начало в философии Беркли, самого крайнего идеалиста, какого только мы знаем. Заметив далее, что Кант в XVIII веке своей философией „дал синтез, сблизивший детерминизм математической философии Ньютона с идеалистическими воззрениями Декарта и Лейбница", проф. А. Васильев правильно замечает, что современная наука уже не удовлетворяется этим синтезом Канта и заявляет: „Новый будущий синтез, конечно, также не удовлетворит навсегда человеческую мысль. Расширение физического опыта, с одной стороны, могущество математического анализа с другой, откроют уму новые горизонты, подобно тому, как это сделала теория Эйнштейна. Но тот царственный путь, по которому пойдет человеческая мысль и впредь, будет одинаково далек и от антинаучных построений и безответственных мистических исканий современных неоплатоников и гностиков и от узкого фанатизма, считающего материализм Геккеля и Энгельса за последнее слово человеческого мышления". Вот тебе и научная философия, вот тебе и наука о многообразиях чистого мышления! Поистине, не было ни гроша, да вдруг алтын! Сначала выходило так, что эта самая наука о многообразиях чистого мышления и против Марбургской школы, и против Маха и Авенариуса, а, в конце концов, вышло, что дело пахнет... узким фанатизмом, считающим материализм Геккеля и Энгельса за последнее слово человеческого мышления. Так солидарность с основателями научной философии о многообразиях чистого мышления может завести в лагерь противников материализма Маркса и Энгельса. Берегитесь, проф. И. Боричевский: с кем поведешься, от того и наберешься. Впрочем, и при чтении прекрасно подобранных статей в сборнике т. А. К. Тимирязева нужно различать то здоровое, что в них есть, от той метафизической чепухи, которую сплошь и рядом заимствовали у буржуазных философов самые выдающиеся естествоиспытатели. Этим недостатком страдают, напр., поистине прекрасные во всех других отношениях вещи Гельмгольца: в некоторых местах речей великого физика чувствуется влияние неокантианства.

За всем тем сборник А. К. Тимирязева безусловно полезная книга. Все собранные статьи проникнуты действительно тем живым содержанием, тем действительно научным духом, той диалектикой, какой дышит современное естествознание, в основе своей истинное, материалистическое. В первой из статей Гельмгольц между прочим говорит: „...оказывается, что все силы природы могут быть измерены одною и тою же механическою мерою: все они в отношении их работоспособности эквивалентны чисто механическим силам. В этом заключается первый значительный шаг по пути к разрешению обширной теоретической задачи—свести все явления природы к движе-

нию". Гельмгольц подчеркивает при этом, что слово „сила" не заключает в себе ничего мистического и говорит, что „легко показать, что эти абстрактные понятия—сила и объекты природы, или тела, которым мы приписываем силу,—не могут быть отделены друг от друга". Как известно в той самой математике, которую так возлюбил проф. И. Боричевский, силы обозначаются символами всяческими значками, операции с которыми и производятся в этой самой науке „о многообразиях чистого мышления". Как мы видим, Гельмгольц, который знал математику нисколько не хуже любого из своих современников физиков и математиков, придает значение этим символам и значкам постольку, поскольку они не отделимы от тел, от материи. „Говоря о силах движения, мы обыкновенно называем то, что может быть приведено в движение, просто массой или подвижной материей.

Сила без материи не имеет смысла, как не имел бы смысла закон, говорящий об изменениях там, где нет объектов, которые могли бы подвергаться изменениям. Такой закон противоречил бы сам себе и сам бы себя упразднял; столь же мало смысла было бы говорить о материи без силы; такие материальные предметы не могли бы подвергаться изменениям, так как изменения всегда предполагают существование силы.

Из этого простого рассуждения уже ясно, что материальный объект и силы представляют собою два абстрактные понятия, которые нельзя отделять одно от другого и которые имеют определенный смысл только при их данном соотношении и связи" [1]).

Отсюда вполне понятно отрицательное отношение Гельмгольца ко всякого рода метафизическим попыткам ввести в науку всякую ненаучную метафизическую пустяковину, вроде, напр., особой жизненной силы.

„В науке, говорит он,—часто забывался собственный смысл, который следует связывать со словом „сила", и содержание того, что обозначалось существительным, принималось за некоторую реальную вещь, могущую иметь самостоятельное существование. В результате возникло не мало различных заблуждений.

В физиологических науках долгое время шла речь о том, что „жизненные силы" представляют собою, возможно, свободные силы, независящие от какой-либо материи, и что человеческую душу равным образом можно рассматривать, как некоторую силу, не связанную с материей, т.-е. отделенную от объектов, подвергающихся изменениям. Но раз мы уяснили себе происхождение понятий силы и материи, такие воззрения утратили всякий смысл".

[1]) Сравни это рассужд. с замечанием Гегеля в его „Логике", стр. 103 русск. изд. „Наука логики".

Это изгнание метафизики из самых укромных ее уголков, где она пытается спрятаться под защиту всяких старых и новых слов, совершается в естествознании беспрерывно. Как только ни пытались метафизики исказить, напр., понятие закона, они не в силах были опровергнуть того понимания, с которым естествознание только и может итти успешно вперед.

„Формулируя закон, как таковой, мы высказываем содержание некоторого опыта, о котором мы должны предположить, что он будет повторяться всегда, раз будут даны условия, при которых может иметь место данное явление. То, что выражается законом, наступает,—как нам хорошо известно, и как в любое мгновение может быть подтверждено нами на основании опыта,—независимо от нашего представления, независимо от наших желаний".

Так говорит Гельмгольц о законах природы и естествознание в лице Больцмана только продолжало итти по пути, указанному великим физиком, когда оно старается установить и доказать тот факт, что и законы, которым подчиняется наше сознание, одного и того же порядка, что и законы мертвой природы. В высшей степени интересны рассуждения Больцмана о бессилии современной идеалистической философии.

„Самые обыденные вещи являются для философии источником неразрешимейших загадок. Для объяснения наших восприятий она строит понятие материи, а затем находит ее совершенно непригодной для получения восприятий или для возбуждения восприятий. С бесконечным остроумием она строит понятия пространства и времени, а затем находит абсолютно невозможным, чтобы в этом пространстве помещались вещи и в этом времени происходили явления. Она встречает непреодолимые затруднения в отношении между причиной и действием, между телом и душой, в возможности сознания—одним словом во всем и всюду. Наконец, она считает совершенно необъяснимым и видит противоречие даже в том факте, что что-либо существует, что что-либо возникло или может изменяться. Назвать это логикой кажется мне столь же целесообразным, как если бы кто-либо, желая предпринять прогулку по горам, надел такое длинное платье, что запутался бы в нем, еще идя по равнине. Источником такого сорта логики является чрезмерное доверие к так называемым законам мышления. Если мы захотим назвать их законами мышления, то они в такой же мере априорны, в какой они имеются в нашей душе или, лучше, в нашем мозгу раньше какого-либо восприятия. Но ничто мне не кажется столь мало обоснованным, как заключение из априорности в этом смысле об абсолютной достоверности и непогрешимости их.

Эти законы мышления образовались вследствие того же за-

кона эволюции, как оптический аппарат глаза или акустический аппарат уха или нагнетательный аппарат сердца".

Так рассуждает Больцман и понятно, что с этой точки зрения наше сознание может представляться ничем иным, как свойством той самой материи, без которой нельзя мыслить никакое сознание, как никакое движение или энергия не мыслится без материи. А раз это так, то естественно, что остается только упорно и настойчиво изучать это сознание именно, как свойство материи, и мы, без сомнения, рано или поздно найдем те специфические законы, которым подчиняется это сознание. Что значит здесь слово специфические? Значит ли оно, что законы физики и химии не господствуют над нашим сознанием? Конечно, нет: и над нашим сознанием господствуют они, но те взаимоотношения, которые имеются между различными формами вещества и энергии, комбинации которых и создают условия, где материя приобретает это свойство-сознание, но эти взаимоотношения настолько еще неясны для нас, что выразить их числом и мерою еще не представляется возможным. Да и не удивительно. Наука только что приступила к изучению той формы материи, в которой так ярко образуется это ее особенное свойство-сознание; наука еще не знает достаточно хорошо химический состав этого вида материи, наука не может сплошь и рядом определить причины даже, казалось бы, самых простых изменений этой материи. Но несомненно одно: естествознание твердо идет по намеченному пути и область изучения законов, которым подчиняется сознание, становится на твердую почву фактов физики и химии, а, стало быть, и числа, которое рано или поздно выразит самые точнейшие движения мысли. Ведь если в области точных наук „нашей задачей,—как говорит Больцман,—является не судить данные опыта с помощью наших законов мышления, а, наоборот, приспособить наш образ мыслей, представления и понятия к данным опыта", то такая же задача стоит и пред ученым, изучающим наше сознание, ибо только такой метод даст возможность открыть числовые взаимоотношения между теми видами и формами единой материи, свойством которых является наше сознание, что в свою очередь даст человечеству возможность предвидения и в этой области.

На такой путь и стала физиология человека и животных в течение последних двадцати пяти лет. Один из самых выдающихся ученых в этой области русский физиолог-академик И. П. Павлов. Этот ученый поставил изучение так называемой душевной деятельности животных, как естественно-научное изучение.

„Естествознание,—говорит академик И. П. Павлов,—это работа человеческого ума, обращенного к природе и исследующего ее без каких-либо толкований и понятий, заимствованных из других источников, кроме самой внешней природы. Говоря же о психической деятельности высших животных, он переносил бы на природу идеи, заимствованные из его внутреннего мира, т.-е. теперь повторил бы то, что он сделал некогда, при первом обращении его мысли на природу, когда он подкладывал под различные мертвые явления природы свои мысли, желания и чувства. Для последовательного натуралиста и в высших животных существует только одно: та или другая внешняя реакция животного на явления внешнего мира. Пусть эта реакция чрезвычайно сложна по сравнению с реакцией низшего животного и бесконечно сложна по сравнению с реакцией любого мертвого предмета, но суть дела остается все той же". Мы не можем входить в детальное рассмотрение в высшей степени интересных работ И. П. Павлова и его учеников и сотрудников над условными рефлексами (отсылаем всех к его замечательной книге „Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных". Гос. Изд. 1923 г.)

Но мы хотим обратить внимание всех интересующихся и изучающих философию, материалистов в особенности, какое богатство материала, мыслей и иллюстраций к теории материалистического миропонимания находишь в интересных работах И. П. Павлова. Пускай сам И. П. Павлов не делает никаких философских выводов (он тысячу раз прав в этом), пускай некоторые ученики его держатся кантианских взглядов, огромное научное значение работ Павлова бесспорно.

В речи, произнесенной на XII съезде естествоиспытателей в Москве еще в 1909 году, Павлов указывал, что естествознание сделало такие огромные успехи вообще и в частности в деле изучения низшего отдела мозга. Но этот успех приостановился, как только наука подошла к изучению высшего отдела мозга. И это произошло потому, что в то время, как при изучении низших отделов мозга ученые пользовались обычными методами естествознания, а при изучении высших отделов мозга ученый „перестает сосредоточивать внимание на связи внешних явлений с реакциями на них животного и вместо этих фактических отношений начинает строить догадки о внутренних состояниях животных по образцу своих субъективных состояний". Стало быть, это произошло потому, что при изучении высших отделов мозга господствовали приемы метафизического исследования, очень сильно свойственного психологии и отсутствующего в физиологии. „...Психология в качестве союзницы не оправдала себя перед физиологией".

Необходимо было изучение и высшего отдела мозга возвратить на свойственный естествознанию путь. Это и сделал Павлов.

„...в низшем отделе центральной нервной системы физиология

давно уже установила механизм так называемого рефлекса, т.-е. постоянной связи посредством нервной системы, между определенными явлениями внешнего мира и соответствующими им определенными реакциями организма. Как простую и постоянную связь, этот рефлекс было естественно назвать безусловным рефлексом. В высшем отделе нервной системы, согласно нашим фактам и нашему выводу из них, осуществлен механизм временной связи. Явления внешнего мира, при посредстве этого отдела, то отражаются в деятельности организма, то остаются для него индифферентными, как бы не существующими. Эту временную связь, эти новые рефлексы также естественно было назвать условными рефлексами. Что дает организму механизм временной связи? И когда появляется временная связь, условный рефлекс? Выйдем из живого примера. Существеннейшею связью животного организма с окружающей природой является связь через известные химические вещества, которые должны постоянно поступать в состав данного организма, т.-е. связь через пищу. На низших ступенях животного мира только непосредственное прикосновение пищи к животному организму или, наоборот, организма к пище—главнейшим образом ведет к пищевому обмену. На более высших ступенях эти отношения становятся многочисленней и отдаленней. Теперь запах, звуки и картины направляют животных, уже в широких районах окружающего мира, на пищевое вещество. А на высочайшей ступени звуки речи и значки письма и печати рассыпают человеческую массу по всей поверхности земного шара в поисках за насущным хлебом. Таким образом, бесчисленные, разнообразные и отдаленные внешние агенты являются как бы сигналами пищевого вещества, направляют высших животных на захватывание его, двигают их на осуществление пищевой связи с внешним миром. Рука об руку с этим разнообразием и этой отдаленностью идет смена постоянной связи внешних агентов с организмом на временную: так как, во-первых, отдаленные связи есть по существу временные и меняющиеся связи, а во-вторых, по своей многочисленности и не могли бы уместиться в виде постоянных связей ни в каких самых объемистых аппаратах. Данный пищевой объект может находиться то в одном, то в другом месте, сопровождаться, следовательно, то одними, то другими явлениями, входить элементом то в одну, то в другую систему внешнего мира. А потому раздражающими влияниями, вызывающими в организме положительную двигательную, в широком смысле слова, реакцию к этому объекту должны временно быть то одни, то другие явления природы. Чтобы сделать осязательным второе положение о невозможности для отдаленных связей быть постоянными, позвольте мне воспользоваться сравнением. Представьте себе вместо теперешнего соединения постоянное телефонное соединение

всех абонентов между собою. Как бы это было дорого, громоздко и, в конце концов, неосуществимо! То, что теряется в данном случае в некоторой условности соединения (не каждый момент можно соединяться) страшно выигрывается в широте соединения". Работая над слюнными железами, Павлов показал, что „в основе этой сложной деятельности слюнной железы, этих ее сложнейших отношений к внешнему миру лежит механизм временной связи—условного рефлекса"... при чем опыты доказали, что „все из внешнего мира: все звуки, картины, запахи и т. д.—все могло быть приведено во временную связь с слюнной железой, слюногонным агентом, раз все это совпадало по времени с безусловным рефлексом, с слюноотделением от попавших в рот веществ"...

Исходя из этих опытов, Павлову удалось подойти и к изучению высшей психической деятельности чисто объективным путем устраняя всю метафизическую чепуху современной психологии, т.-е. к изучению тех сложнейших механизмов (анализаторов), которые начинаются наружным воспринимающим аппаратом и кончаются в мозгу. Основной факт физиологии анализаторов это то, что каждый перефирический аппарат есть специальный трансформатор данной внешней энергии в нервный процесс.

Но вопросы о том—„Каким процессом в последней инстанции происходит эта трансформация? На чем основан сам анализ?" и т. д. и т. п., эти и другие многочисленные вопросы до работ Павлова оставались без ответа.

„В настоящее время все эти вопросы подлежат чисто объективному изучению на животных при помощи условных рефлексов. Таким путем удалось, например, установить, что ушной анализатор собаки различает тончайшие тембры, мелкие части тонов и прочно удерживает это различение; установлена также постепенность анализа, дознано далее, что диференцирование достигается путем задерживающего процесса, как бы заглушения остальных частей анализатора, кроме определенной.

Это только начало того пути, по которому отныне должно пойти изучение высшей нервной и, стало быть, психической деятельности животных. Этот путь длинен, на нем много препятствий, конечно, дело гораздо сложнее, чем это кажется, но несомненно одно,—что человеческая психика стала объектом естествознания, а не только метафизики и что рано или поздно законы, закованные в числовые соотношения, откроют человечеству тайну мышления и сведут его к законам физики, химии и механики, т.-е. превращения и движения материи.

„Как часть природы,—говорит академик И. П. Павлов,—каждый животный организм представляет собою сложную обособленную си-

стему, внутренние силы которой каждый момент, покуда она существует, как таковая, уравновешиваются с внешними силами окружающей среды. Чем сложнее организм, тем тоньше, многочисленнее и разнообразнее элементы уравновешивания. Для этого служат анализаторы и механизмы как постоянных, так и временных связей, устанавливающие тончайшие соотношения между мельчайшими элементами внешнего мира и тончайшими реакциями животного организма. Таким образом, вся жизнь от простейших до сложнейших организмов, включая, конечно, и человека, есть длинный ряд все усложняющихся до высочайшей степени уравновешений внешней среды. Придет время—пусть отдаленное—когда математический анализ, опираясь на естественно-научный, охватит величественными формулами уравнений все эти уравновешивания, включая в них, наконец, и самого себя".

Вот к каким выводам приходит истинный ученый, когда он остается верен материалистической основе естествознания. Без сомнения, в настоящее время еще очень трудно применить в физиологии хотя бы те уравнения и формулы, какие имеются и приносят, напр., в физике и химии такую пользу, напр., закон подвижного равновесия; еще труднее применения этого принципа в сфере общественной жизни. Здесь пока только гению Маркса удалось извлечь из применения этого принципа огромные и прочные результаты; но здесь возникает масса препятствий и нужна колоссальная предварительная работа, если исследователь общественной жизни не хочет оставаться при пустых и голых аналогиях, не только ничего не говорящих уму, но часто и затемняющих дело. (Об этом интересном вопросе следовало бы поговорить особо и подробно). Гораздо успешнее дело создания единой научной картины мира идет в области мертвой природы, несмотря на огромные трудности, какие приходится встречать естественнику и здесь. В этом отношении можно порекомендовать прекрасную книжку А. К. Тимирязева „Кинетическая теория материи", где дано в высшей степени интересное элементарное изложение вопроса. Теория частичного или атомного строения вещества, как она излагается в этой книге, представляется уже теперь, как кинетическая теория материи, ибо эта теория позволяет устанавливать аналогии, основанные на предположении об атомном строении вещества, гораздо более глубокие и плодотворные, чем это позволяют какие-либо другие теории, аналогии, охватывающие самый обширный и разнообразный круг явлений.

„Атомы,—говорит М. Планк,—не более и не менее реальны, чем небесные тела и окружающие нас земные объекты". Методы, позволяющие считать атомы, измерять их размеры, изучать траектории их движения—все это дало возможность построить такую картину мира, которая еще больше утверждает материалистическое мировоззрение. Возражения идеалистов, что открытие электронов разрушило понятие материи, рассыпалось в прах, когда науке удалось разложить элементы и дать хотя бы приблизительные модели атомов простейших тел. Книга А. К. Тимирязева в очень простой и легкоусвояемой форме показывает, как кинетическая теория газов, основание которой было заложено Клаузиусом, затем трудами Максвелля, Больцмана и других была перенесена и в области других физических явлений; мы видим, что те методы, какие дали такие блестящие результаты в области изучения газообразного состояния материи, постепенно применяются и дают не менее плодотворные результаты и при изучении электронной теории проводников, и в области магнетизма, и при изучении коллоидального состояния вещества, броуновских движений и т. д. Мир представляется, как единый бесконечный процесс, сущность которого бесконечные и беспрестанные изменения, движение материи. На каждом шагу вы чувствуете, как та диалектика, о которой говорил Маркс, присуща всей природе, и миллионы примеров этого диалектического процесса вы находите в любой области естествознания.

Приходят в память слова Энгельса в письме к Марксу 30 мая 1873 г.:

„Предмет естественной науки—движущаяся материя, тела. Тела нельзя отделить от движения. Формы и виды тел можно познать только в движении. О телах ничего нельзя сказать, не касаясь движений, не касаясь различных отношений к другим телам. Лишь в движении тело обнаруживает, что оно из себя представляет. Естествознание, таким образом, познает тела, рассматривая их в их соотношении друг к другу, в движении. Познание различных форм движения и есть познание тел. Таким образом, изучение этих различных форм движения является главным предметом естествознания".

Кто желает знать, как современное естествознание подвинулось в этой области изучения „этих различных форм движения", тот с удовольствием познакомится с книгой А. К. Тимирязева.

Рассматривая с этой точки зрения механику, физику и химию, Энгельс говорит: „Химия является переходом к науке об организме, но диалектический переход можно будет установить только тогда, когда химия или уже сделает действительный переход или будет близка к этому".

Химия приближается к этому переходу и вместе с физикой, рисуя картину мира, как картину движения тел и атомов, их составляющих, т.-е. материи, дает и в руки физиологов могучее средство подойти верным путем к изучению мира психического, т.-е. того мира, который есть сознание, т.-е. свойство все той же самой материи. А это обстоятельство даст в руки человека возможность охватать величественными формулами математического анализа и те

явления, которые обозначаются словами сознание, психическая деятельность, психика и т. д., т.-е. между прочим понять, что и самые сложные построения хотя бы, например, математической мысли не есть какой-то самодовлеющий процесс, а процесс, охватывающий только одно из свойств материи, процесс, в котором нет ничего мистического и который может быть познан только тогда, когда будет всесторонне изучен тот вид материи, имя коему мозг.

Так, современное естествознание, являющееся самым прочным фундаментом материализма, с каждым своим новым завоеванием подтверждает и укрепляет учение, созданное и формулированное Марксом и Энгельсом.

Вот почему к изучению естествознания и должен обратиться пролетариат и прежде всего пролетарская молодежь, ибо в связи с диалектикой Маркса и Энгельса оно является самым превосходным оружием в борьбе со старыми фетишами и пугалами метафизики.

В. Невский.

I. От народничества к марксизму.

Мы не сшивали своих взглядов из кусочков чужих теорий, а последовательно вывели их из своего революционного опыта.

Г. В. Плеханов „Пред. к Туну“, стр. 54.

(Г. В. Плеханов.—„Сочинения“, т. I. Биб. Научн. соц. под редакцией Д. Рязанова.—Госизд. 1923. М.

„Черный Передел“.—Орган социалистов-федералистов 1880—1881. Госизд. 1922 г. Пб.

Одна из самых интересных и, с нашей точки зрения, мало исследованных и неосвещенных эпох в истории революционного движения России—эпоха возникновения российского марксизма.

Как самый процесс зарождения в России научного социализма,—смены двух принципиально разных мировоззрений, так и их внутренняя зависимость, точно так же как и причины, облегчавшие оформление русского марксизма, до сих пор чрезвычайно мало исследованы.

Установился трафаретный взгляд, который повторяется почти всеми писавшими об этой эпохе, принимается всеми историками революционного движения за аксиому, за доказанную и уже известную посылку.

Этот привычный взгляд знает, что было народничество с его страстью и бунтами и агитацией, с его верой в общину и социалистические инстинкты народа, с его отрицанием „политики“. Но что в этом народничестве, под влиянием преследования и жестоких репрессий правительства, невозможности агитации в народе и разочарования в возможность скорой революции—возникло новое течение, признающее политику, борьбу за политические свободы, произошло столкновение старого направления с новым, в результате которого народничество раскололось на Народную Волю и Черный Передел. Н. В. повела отчаянную геройскую дуэль с правительством, а Ч. П. после

некоторого короткого бесплодного существования расклеился, часть его членов перешла к террористам (Стефанович и др.), а другие (Плеханов, Засулич и др.) переехали за границу, предались наукам и стали марксистами.

Это, повторяю, наиболее распространенная схема, ее настойчиво выдвигали либералы и народники [1]), ее же и по сей день с усердием, достойным лучшей участи, преподносят нашим читателям и марксисты.

Это—с х е м а, и как и всякая схема, она лишь более или менее верно передает в н е ш н и е хронологические вехи, оболочку явления, но ведь давно известно, что развитие явления заключается не только в видимом развитии. Во всяком случае одна х р о н о л о г и я, внешняя история—не есть еще вся история.

К о н с т а т и р о в а н и е последовательности сменяющихся событий, составляющих данное явление, еще далеко не означает понимание этого явления.

Это азбучная истина, и если эту азбучную истину либеральные историки не понимали, то это было понятно, непонятно только, как это нередко марксисты забывают ее.

Весь поразительный теоретический интерес рассматриваемой эпохи, этого чрезвычайно яркого образца крутой смены так называемого общественного идеала, заключается в том, что одно и то же лицо (Г. В. Плеханов) являлось наибольшим средоточием потенции марксизма в З. и В., накапливало, обогащало и развивало ее в Ч. П. и реализовало эту потенцию в группе „Освобождение Труда".

В этом, повторяем, весь интерес этой эпохи, к этому мы и обратимся.

1.

Г. В. Плеханов вступил в революционную организацию „Земля и Воля" в самом конце 1875 года.

Каково было его воззрение в эту раннюю эпоху его революционной деятельности?

Для ответа на этот вопрос у нас не имеется объективного материала, каковым могли бы служить его литературные работы, если бы они сохранились, либо его речь на казанской демонстрации. го листовки до сих пор еще не найдены, а его речь агентами полиции была передана чрезвычайно лаконически. Но зато воспоминания рисуют его последовательным бакунистом-народником.

О том, что Плеханов в первую эпоху своего народничества был действительно последовательным бакунистом, свидетельствует и то

[1]) Богучарский, Морозов, Любатович и др.

отношение, которое он обнаруживал к немецким социал-демократам в первую свою поездку за границу (1877 г.). Зунделевич показывает, что молодой Плеханов относился чрезвычайно отрицательно, „насмешливо" к немцам, высмеивая их пристрастие к императору, в чем будто бы повинны были даже лидеры рабочих — Бебель и Либкнехт [1])—это очень похоже на правду. Для бакуниста, российского народника, немецкая соц.-демократия должна была казаться партией „умеренности и аккуратности". Сам Бакунин, как известно, относился крайне враждебно к немцам.

В России горсточка людей—грандиозные планы социальной революции, всенародного бунта, в то время как в Германии целая партия—и столь умеренные планы, будничная работа по организации масс, борьба за политические права.

Сам Плеханов в своем „Русск. рабоч." себя причисляет к „бунтарям-народникам", именно говоря об этой ранней эпохе своей деятельности [2]).

Таким ортодоксальным народником Плеханов оставался вплоть до 1878 года.

Его первые известные нам корреспонденции из Каменской станицы носят на себе все следы этого еще мало затронутого критикой девственного бакунизма.

„Вся русская история представляет не что иное, как непрерывную борьбу государственности с автономными стремлениями общины и личности",—этой подлинно анархически-бакунистской философией русской истории начинается его первая известная нам корреспонденция, которая была написана, очевидно, осенью 1878 г. (она была напечатана в „Земле и Воле", № 2,—15 декабря).

Если корреспонденция сама, по содержанию дает очень немного для определения воззрений автора, то п о в о д, по которому написана она, очень много говорит сам за себя.

Летом 1878 г. на Дону казаки заволновались по поводу введения там земства.

Землевольцы поспешили туда с целью использовать эти волнения для агитации и бунта. Плеханов был одним из первых отправлен туда. Познакомившись на месте с положением дел, он вызвал на помощь себе А. Михайлова, а тем временем с товарищами написал „Воззвание к славному в о й с к у д о н с к о м у"; он взял его в Петербург отпечатать, но уже вернуться не смог обратно — организация сильно ослабла вследствие провала, погубившего многих из испытанных и ответственных членов „Земли и Воли".

[1]) Л. Г. Дейч, „Г. В. Плеханов", стр. 30.

[2]) „Русск. рабоч. в революц. движении", II изд., 1902 г., стр. 2—3.

Корреспонденции из Каменской станицы были как бы публичным отчетом об одном из его народнических революционных „дел".

Но это была корреспонденция и по ней немыслимо узнать полностью лицо автора. Корреспонденция обнаруживает лишь внешнюю сторону воззрения автора в этой первой резонерской фразе.

Первой по времени статьей, в которой Плеханов пробует свои силы в качестве теоретика народничества, является его статья „Об чем спор", помещенная в „Неделе" Гайдебурова (декабрь 1878 г., № 52).

Вокруг „Недели" в это время было сгруппировано значительное количество передовых литераторов, среди которых не последнее место занимал Каблиц (Юзов); последний и привлек Плеханова, тогда уже нелегального землевольца, к участию в легальном еженедельнике. О том, что в это время Плеханов был близок к Каблицу, указывают многие. А. Фаресов в своих воспоминаниях рассказывает об их совместной работе весной 1878 г. в „Начале"—органе русских революционеров [1]), а Русанов в „Былом" утверждает, что знаменитая в свое время статья Каблица „Ум и чувство, как факторы прогресса"—(„Неделя", №6 февраль—март, 1878 г.)—была написана при участии Плеханова [2]); можно и должно относиться с большой осторожностью к заявлению Русанова, тем более, что впоследствии Плеханов прямо говорит об этой статье Каблица и не только не упоминает о своем участии в ней, но и говорит о ней с некоторой иронией; но что несомненно, это то, что Плеханов в 1878 г. был хорошо и близко знаком с Каблицом и через него и при его содействии напечатал свою первую теоретическую статью ярко народнического характера в легальной „Неделе" [3]).

Именно потому, что это его первая теоретическая статья, остановимся на ней несколько подробнее.

Статья направлена против легальных народников, которых революционные народники-землевольцы обвиняли в ревизионизме, в непоследовательности и неопределенности.

Уже к этому времени народнические бытописатели, как Энгельгардт, Эртель, как Г. И. Успенский—которые подобно огромному большинству передовой интеллигенции своей эпохи проводили много времени в народе, познакомившись с так называемыми народными воззрениями не могли не притти к довольно тревожным пессимистическим выводам. В крестьянстве медленно, но неуклонно происходило расслоение, появлялся мироед-кулак, показывались заметные следы

[1]) „Заря России" № 41 за 1918 г.

[2]) В статье о Михайловском, как революционере.

[3]) Статья эта по существу должна была быть помещена в 1 томе собр. соч., но ввиду того, что она целиком направлена против Г. Успенского и очень важна для определения его отношения к последнему, редакция решила поместить ее в X томе.

разложения общины—все бытовые факты, подмеченные и описанные ими, приводили их к выводам пессимистическим; пессимизм их был обусловлен, конечно, тем, что они не могли видеть в тогдашней русской действительности иной силы, которая могла бы решить давнишний вопрос, ставший перед русской интеллигенцией: „Что делать?".

В противовес легальным народникам-пессимистам, революционные народники были пламенные энтузиасты, безоговорочно верили в прирожденный коллективистический инстинкт народа и жестоко обрушивались на легальных.

Статья Плеханова несомненно является не только документом литературной полемики, но отголоском устных яростных споров этих двух лагерей. Он пишет: „этот старинный спор ни на иоту не потерял своего значения и в наше время. И он ведется как в литературе, так и в частных кружках".

Плеханов дает очень интересную формулировку ответа обеих фракций на „проклятый" вопрос „Что делать?"

„Одни говорят, что в характере нашего народа есть много прекрасных, много обещающих черт, что без всяких указаний науки он выработал такое отношение, положим, к земле, главному орудию производства в России, какое только теперь начинает „сниться нашим философам", что он отстаивал излюбленную им форму землевладения чуть не целое тысячелетие и, слабый и уступчивый в многом, в вопросе о типе своего экономического устройства проявлял удивительную стойкость и упорство. Когда приходилось невтерпеж, он „ударялся в бега", скрывался „за рубежом", населяя пустынные окраины, но и там он

Знал одной лишь думы власть.

Эта дума была о его праве на землю, „куда топор, коса и соха ходит", о праве свободного, общинно-автономного устройства.

Так было и в истории.

Современные явления, вроде штунды, которая возникла положительно у нас на глазах; вроде указанных у г. Ефименко толков о „черном переделе"; вроде возникающих время от времени слухов о переходе крестьян в казаки; вроде съемки земли целыми крестьянскими обществами на началах круговой поруки, которая при таком ее применении есть только самый справедливый вид взаимного страхования—все эти явления доказывают, что мачеха-история не вытравила у русского народа начал общественности, что и до сих пор наш крестьянин „один в поле не воин", что и до сих пор его „жуто съедает", когда ему приходится действовать в одиночку. Эти качества характера гарантируют народу светлое будущее, только не искажайте этого характера, только устраняйте тормозы, стоящие на пути народа к этому будущему.

Такова точка зрения революционного народничества, но не так думает часть легальных народников и „многие голоса из публики". Они смотрят на народ „как на малолетнего ребенка, которого нельзя оставить без помочей; в его характере много задатков, которые обусловливают собою существование современных экономических зол; мало освободить его от этих последних, нужно прежде просветить его, чтобы этим застраховать от их возвращения; нужно пустить в ход хорошую педагогическую систему для переработки народного характера, потому что, как говорит г. Иванов, „западно-европейских язв у русского так же много (или почти так же), как и в его подлиннике. До сих пор мы думали, что западно-европейский человек служил подлинником только высшим классам общества, до и то не во всех отношениях, по г-ну же Иванову [1]),—то и мужик наш заражен „европеизмом", да и вдобавок и неевропейские черты русского человека оказались с язвами".

Так стоит, по мнению Плеханова, спор. Против пессимистического народничества Успенского мы имеем ярко-оптимистический энтузиазм подпольника, против идеологии „критически-мыслящего" человека—мы имеем четко выраженный бакунизм.

Самый последовательный бакунизм, с его смесью материализма и идеализма в объяснении общественных явлений: с одной стороны, он считает „экономические отношения данного общества самым лучшим реагентом для узнания степени развития социальных чувств в этом обществе" и отсюда делает тот несомненно материалистический вывод, что „альтруистических чувств, привычки к общественности и „социализации труда"—которыми только и держится всякое общество—русскому народу не занимать стать у его западно-европейских соседей, у которых испарилось всякое воспоминание об общине", что, следовательно, характер и чувства народа обусловлены его экономикой,—а с другой стороны—утверждает, что без высокого уровня социальных чувств народу нельзя было бы выработать таких справедливых земельных отношений, того обычного права, в основе которого лежит трудовое начало и по которому судятся и рядятся наши крестьяне,—были бы немыслимы такие явления русской жизни, как раскол,—выходит, будто справедливые земельные отношения—продукт „социальных чувств". Бакунизм с его абсолютным неумением оценить городского рабочего по достоинству: „известно, что промышленные рабочие в Петербурге, как и везде, разделяются на заводских и фабричных. Последние всегда живут артелями, между тем как первые селятся в одиночку. И как бы вы ни доказывали заводскому рабочему экономических преимуществ артельной жизни, он, может быть, и согласится с вами, но все-таки ответит вам роковым „с нашим народом не уживешься". А между тем фабричные, гораздо ниже заводских стоящие в умственном отношении, уживаются с своим народом. Какая же разница между этими „народами."

[1]) Псевдоним Г. И. Успенского.

Разница та, что заводские рабочие преимущественно горожане, с малолетства воспитанные в привычках городского индивидуализма, а фабричные—крестьяне-общинники малоземельных центральных губерний. В общине заключается разгадка этой, непонятной на первый взгляд, разницы между двумя классами промышленных рабочих.

Тут путаница понятий полная. Он считает привычку фабричных рабочих жить артельно за прогрессивное явление и объясняет это влиянием общинного владения землею и не находит иного объяснения для „странного индивидуализма" заводских рабочих—несомненно самых развитых и передовых—как развращающее влияние города с его индивидуалистическим укладом. Ссылка на влияние города делает честь его материализму, но нужно было быть последовательнейшим багунистом, чтобы при всем том дать предпочтение „фабричному классу рабочих"—т.-е. самому отсталому отряду пролетариата.

Он с большим удовлетворением противопоставляет Успенскому—Златовратского, ему импонируют „научные исследования"—Соколовского, Ефименко, покойного Щапова—которые убеждают его в том, что русский народ все привык делать „скопом", что артельный, общинный дух, несмотря на многовековую борьбу с совершенно противоположными принципами, все еще „насквозь пронизывает" русского мужика; что „мир всякого жалеет", как говорили г-ну Трирогову крестьяне Саратовской губернии; что особенности экономического строя, выразившиеся в существовании поземельной общины и промышленных артелей, обусловливают собою и особенности юридических понятий нашего крестьянина (по словам г-жи Ефименко, трудовое начало служит „основою" обычного крестьянского права). Эта привычка к „скопу", к артели, выразившаяся в пословицах „на миру и смерть красна", „мир—велик человек" и т. д., создает тот довольно высокий уровень альтруистических чувств, который заставляет крестьянина гуманнее относиться к преступникам,—там, где борьба с преступником не заостряется до того, что становится вопросом жизни и смерти. На обыкновенном—сознаемся, несколько туманном,—языке это называется большею чуткостью непосредственного чувства в крестьянине.

Этого непосредственного чувства Успенский в народе не нашел, он называл его „скользким и неуловимым, как „налим", что приводит в большое негодование Плеханова. В качестве утешительного для народничества факта в противовес утверждениям Успенского Плеханов выдвигает наблюдения Златовратского, который вынес противоположные впечатления из деревни той же местности—Поволжья. Не

в объективной действительности—не в деревне нужно искать причину пессимизма Успенского, а в его субъективных настроениях. Ответ на старый вопрос „что делать?“ остается, тем самым, тот же старый. Что делать? Идти в народ, организовывать бунты, помогать народу отстоять свой исконный коллективизм, вот тот „старый ответ“, который он противопоставляет новым словам легальных народников.

Таков Плеханов народник, ортодоксальный бакунист, в конце осени 1878 г. Статья эта была написана почти одновременно с корреспонденциями, поэтому мы не рискуем ошибиться, если скажем, что Плеханов до зимы 1878 г. был последовательным народником, причем совершенно ясно, из только что приведенных отрывков, в его народничестве много таких противоречий, которые при первом же прикосновении критической мысли должны были привести его к пересмотру и проверке бакунизма. И спустя всего несколько месяцев он под влиянием рабочих волнений и научных занятий приступил к этому.

2.

Уже следующий номер „Земли и Воли“ (№ 13 от 15 января 1879 г.) открывается передовой статьей Плеханова, которая сразу дает нам очень богатый материал для суждения о его воззрениях.

Стоит только внимательно прочесть эту ответственную статью, чтобы убедиться, что плехановское народничество значительно отличается от нормального тогдашнего народничества.

Что уже в эту относительно раннюю эпоху с народничеством Плеханова стряслась беда, которая выразилась в том, что, пытаясь развить народнические положения, Плеханов нащупывал такое направление, которое ни в коей мере не могло его приблизить или оставить столь же верным духу воззрения своего учителя, как он был до того, ясно уже из самой постановки вопроса.

На самом деле. Как мы уже говорили выше, Плеханов был народник-бакунист, естественно перенял его анархизм и утопическую веру в русскую общину, самобытно прирожденный социализм русского мужика вместе с тем глубоким уважением к материалистическому объяснению истории, которое заставляло его учителя Бакунина, человека жестоко ненавидевшего творца этой теории и как авторитариста, и как немца, признать в Марксе глубокого ученого. Это несомненно так. Но в то время как его товарищи-народники, также бакунисты, сочли „глухим углом“ материалистическое понимание истории, не находили нужды искать в этом направлении путей развития и обращали все свое внимание на политическую (или было бы точнее сказать—аполитическую) сторону построения Бакунина, Плеханов уже в эпоху своей первой передовой в „Земле и Воле“ (№ 3) именно направляет свой взгляд на этот „глухой угол“, в эту совершенно непривычную для народника почву экономического материализма. Ниже мы уви-

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ФИЛОСОФСКИЙ и ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.

Год издания второй.

ВЫХОДИТ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:

А. ДЕБОРИНА, В. НЕВСКОГО, Д. РЯЗАНОВА, А. ТИМИРЯЗЕВА и др.

Книгами не менее 12 листов.

НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМЕЮТСЯ:

№ 3, № 7—8, № 9—10 и № 11—12 за 1922 г. и № 1 за 1923 г.

АДРЕС:

Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиженский пер., д. № 9, кв. 13.

Телеф. № 2-34-53.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

МАТЕРИАЛИСТ

ВЫШЛА и ПОСТУПИЛА в ПРОДАЖУ

КНИГА

Людвиг Фейербах

Принципы материалистической теории познания.

Перевод Я. ВИТКИНД.

С ПРИЛОЖЕНИЕМ СТАТЬИ

А. М. ДЕБОРИНА. — Людвиг Фейербах.

Цена 60 коп. зол. по курсу кот. ком.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“, Б. Дмитровка, 15.

дим, под влиянием каких условий совершилось это „перемещение интереса", а пока отметим, что оно было прямо направлено враз-рез с тенденцией тогдашнего бакунизма, которое на русской почве превратилось в „своего рода анархическое славянофильство",—по справедливому выражению Плеханова.

В чем основная мысль статьи „Законы экономического развития общества и задачи социализма в России"?

Возражая либералам, которые пытались использовать против революционеров учение Маркса, Плеханов пытается при помощи ряда умозаключений и толкований доказать, что даже на основании учения Маркса в России иной программы, чем та, что имеет „Земля и Воля", нельзя себе представить.

Маркс учит, что „общество не может перескочить через естественные фазы своего развития, когда оно напало на след естественного закона своего развития" [1]; само собою разумеется, что доказать, что какая-нибудь страна не „напала на след естественного закона", означает доказать, что этот закон Маркса для такой страны не действителен. Сама Западная Европа напала на этот роковой след после падения „западно-европейской общины", на смену которой пришла феодальная аристократия, породившая уже буржуазно-индивидуалистический принцип. „Ход развития социализма на Западе был бы совершенно иной, если бы община не пала там преждевременно" [2]).

Он совершенно прав, когда говорит, что по учению Маркса нет абстрактных законов развития человеческого общества, а мысль, что „те или другие формы общественных отношений устанавливаются не „общественным договором", а экономической необходимостью" [3]), прямо мысль марксиста; однако, над Плехановым еще довлеют старые представления об общине, он думает, что „принцип общественного землевладения не носит в себе неизгладимого противоречия, каким страдает, положим, индивидуализм, поэтому он не носит в себе самом элементы своей гибели" [4]), но эта мысль важна не по существу, а по самой постановке дилеммы. Искать причину гибели общественных форм в противоречиях, вложенных в них самих, это уже означало приближаться намного, если не к правильному решению, то к правильной постановке вопроса. Ведь его народничество сейчас уже висит на волоске. Доказать (а это уже было дело количества знания, сведений об общине), что в общине существуют такие же противоречия (или аналогичные),

[1]) Плеханов, „Соч.", т. I, стр. 59. (Курсив его.)
[2]) Ibid., стр. 61.
[3]) Ibid., стр. 64.
[4]) Ibid., стр. 61.

как и в индивидуалистическом обществе, либо доказать, что существуют некие иные противоречия—скажем, между старой формой землепользования и новой городской промышленностью,—дальнейшее развитие которых не может не привести к разрушению общины,—означало фактически подорвать самую надежную основу его народничества.

Вторая его статья, посвященная тому же вопросу, представляет собою совершенно исключительной яркости документ, обнаруживающий, с каким поразительным успехом и исключительной интенсивностью Плеханов разбирался в этом „кривом колене" бакунизма; колено, которое его и должно было и привело прямехонько к марксизму.

1878 год, конец и начало 1879 года—время самых интенсивных, до того еще не виданных, волнений среди фабричного населения, волнений, которые целиком поглотили внимание Плеханова и некоторых его товарищей землевольцев.

Плеханов еще и ранее очень много занимался с рабочими, но эту зиму он целиком провел в Петрограде, вел систематическую агитацию среди рабочих, организовывал стачки, принимал участие в демонстрациях, писал требования рабочих к хозяевам — словом, с головой ушел в эту работу.

Подробно об этом читатель может найти в брошюре Плеханова „Русский рабочий в революционном движении", для нас же важен самый факт интенсивной деятельности его среди петербургских рабочих.

Что дала эта деятельность ему теоретически-нового?

Она поставила вверх дном его прежние представления о роли города в предстоящей революции. Именно под влиянием широких волнений рабочих, он был вынужден прийти к вопросу, самая постановка которого и то, как он поставлен, обнаруживали в авторе чрезвычайно чуткого политического деятеля, а в мировоззрении его обнажают те самые элементы, которые приведут и не могут не привести к его отрицанию: „волнения фабричного населения, постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня, заставляют нас раньше, чем мы рассчитывали, коснуться той роли, которая должна принадлежать нашим городским рабочим в этой организации", а коснуться этого опасного для народничества вопроса нельзя было, не подвергая критике, не преодолевая установившийся взгляд на эту роль. В деятельности народников „городской рабочий занимал второстепенное место... ему посвящалась, можно сказать, только сверхштатная часть сил", теперь же „вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей" революционная партия должна отвести городскому рабочему „подобающее ему место", вести систематическую среди них пропаганду, создавать организации рабочих, вести массовую агитацию на

почве повседневной нужды, принять участие в жизни массы, „в его борьбе, обобщить решения и направить частные проявления борьбы масс за свои интересы в одно общее русло"... [1])

Но, ведь, одним из тех теоретиков, которые априорно решили вопрос о городском рабочем, был он; всего шесть месяцев до этой статьи он не менее других теоретиков пламенно рвался в деревню, а несколько ранее, летом 1878 г., он ездил на Дон разжечь пожар крестьянской революции против государственности и видел основную задачу революции в спасительном бунте, напоминающем бунты Разина, Пугачева и Булавина...

Зима 1878—1879 годов должна быть отмечена в идейной биографии Плеханова, как самая плодотворная эпоха в его молодости. Не следует принимать дословно, будто ему действительно удавалось отвести надлежащее место городскому рабочему в революции: он все еще думает, что рабочая революция крупных городов будет подмогою революции крестьянской, он думает, что социальную революцию совершат крестьяне, а рабочие будут лишь союзниками их [2]), он отводит еще рабочему классу роль „воровских прелестников" Стеньки Разина, которые должны были по деревням и селам подготовлять почву, приближающую революцию.

Однако, за этой народнической фразеологией просмотреть мятежные духовные и теоретические искания, направленные именно в сторону проблем экономического материализма,—значит совершить величайший грех и обнаружить величайшее непонимание Плеханова.

Два положения, которые он завоевал себе под сильнейшим влиянием и непосредственно из опыта руководства рабочими волнениями, гласили: единственная гарантия успешности социальной революции и крестьянского бунта—революция городских рабочих, и, во вторых, „личности гибнут, но революционная энергия единиц переходит сначала только в оппозиционную, а затем мало-по-малу в революционную энергию масс".

Второе положение об отношении единицы (личности) к массе его занимает в этой статье чрезвычайно. Почему? Несомненно потому, что он не менее других сознавал, как глубоко противоречит материалистический взгляд на историю с нормальным тогда среди народников учением о роли личности в истории, взгляд, сложившийся под сильным влиянием П. Лаврова. „История создается народом, а не единицами", утверждает Плеханов, прямо возражая лавристам, а народ, массу можно привлечь к делу, к революции

[1]) Ibid., стр. 69.
[2]) Ibid., стр. 70.

только агитацией. Все сознательные революционеры в данной местности могут быть уничтожены, но это не значит, что их дело пропало даром: „личности погибли, но масса знает, за что они погибли, борьба дала ей опыт, которого она не имела раньше, борьба рассеяла ее иллюзии, она осветила настоящим светом смысл существующих общественных отношений. Такие уроки не пропадают даром [1]). Вспомните вышеприведенные слова об энергии единиц, которая переходит в энергию масс. Каких масс? Чтобы решить этот вопрос в материалистическом и подлинно революционном духе, Плеханову надлежало решить другой вопрос—вопрос о природе русского крестьянства, так тесно связанного с проблемой поземельной общины.

Или община, народ носит в самом себе, в потенции социальную революцию, и тогда все должно служить делу его агитации и организации, или Россия уже вступила на зап.-европейский путь развития, „напала на след естественного закона своего развития", и тогда в нашем отечестве вступают в силу и те законы, которые Маркс установил для Западной Европы, для индивидуалистического общества.

Вот перед какой дилеммой стоял Плеханов весной 1879 года, т.-е. в тот самый момент, когда возникло движение дезорганизаторское, народовольческое.

Или бакунизм, т.-е. самобытный российский социализм, или марксизм, т.-е. по пути запада, западный социализм; всякое третье стремление искать неких новых, самобытных путей для Плеханова было уже невозможно.

И не потому он оказался один фактически, как мы увидим ниже, что он был консерватор, а потому, что он был теоретически впереди всех своих товарищей по „Земле и Воле". Но прежде чем приступить к вопросу о расколе „Земли и Воли", попытаемся установить, насколько самостоятельна была эта его эволюция, каков был путь его теоретического роста.

3.

Накануне Воронежского съезда, таким образом, у Плеханова наметилось ясное развитие от утопизма Бакунина к научному социализму, и, что примечательнее всего, среди своих товарищей землевольцев Плеханов был единственный, проделавший это развитие. Я имею в виду „Землю и Волю" в том составе, какой был представлен на Воронежском съезде. Не только бывшие народовольцы, но и будущие его товарищи чернопередельцы были совершенно девственны и рас-

[1]) Ibid., стр. 73.

сматривали столкновение, предшествовавшее съезду, и раскол, как борьбу старого с новым; потому-то так легко на Воронежском съезде новому удалось одержать победу над якобы старым, — фактически же это была победа привычного утопизма над намечающимся научным решением дилеммы, стоящей перед революцией и революционерами. Но об этом ниже, а пока сам собою напрашивается вопрос: а каковы те причины, которые заставляли Плеханова сосредоточивать внимание свое именно на этом „кривом колене" бакунизма?

Самого Плеханова этот вопрос интересовал с несколько иной стороны: он в ряде своих статей ставит очень интересный вопрос о том, почему русский марксизм вышел из бакунизма, а не был порожден лавризмом, казалось бы, стоящим ближе к учению автора „Капитала"; впрочем, этот вопрос по существу ничем не отличается от предыдущего, и решение его есть одновременно и решение первого.

„В теоретическом отношении лавризм мог бы быть для русских революционеров только школой эклектизма на идеалистической подкладке, а такая школа вообще плохо подготовляет к восприятию уроков жизни и уже ни в каком случае не может служить подготовкой к пониманию марксизма. Те из наших революционеров, которые основательно прошли эту школу, сроднились с употреблявшимся в ней методом мышления, навсегда лишились способности понять учение Маркса (курсив мой — В. В.). Как ни резко и как ни сильно расходился с автором „Капитала" Бакунин, он все-таки был гораздо ближе к нему, чем автор „Исторических писем", и потому его влияние все-таки более подготовляло русских революционеров к пониманию учения Маркса, чем влияние Лаврова" [1]). Этот чрезвычайно любопытный отрывок гораздо правильнее, чем в других местах и по другим поводам, решает вопрос о влиянии Бакунина и об отношении марксизма к Лаврову. Именно „все-таки более подготовляло", а не абсолютное утверждение, превращающее бакунизм в подготовительную ступень к марксизму.

Разумеется, бакунизм был не из последних благоприятствующих причин, и его благоприятствование исходило не столько из его научных достоинств, сколько из того, что сама система Бакунина содержала в себе жесточайшие противоречия и двойственность. Плеханов говорит, что из сочинений Бакунина он „и вынес великое уважение к материалистическому объяснению истории" [2]); вопреки мнению тов. Рязанова, нам кажется, что Плеханов прав. Он мог, и несомненно из Бакунина он первоначально и черпал свою философию истории,

[1]) Предисловие к „Туну" — Птрб. 1920 г., стр. 29.
[2]) Соч., т. I, стр. 19.

особенно русской; материалистическое объяснение истории у Плеханова никак не было сложнее того, что было дано бакунизмом, по крайней мере, в раннюю пору, когда Плеханов еще только начал свои искания. Но, ведь, те самые сочинения Бакунина, из которых он вынес „великое уважение" к материалистическому пониманию истории, должны были вселить в него и чрезвычайно отрицательное отношение, почти ненависть к Марксу, главе и теоретику авторитаризма, с истинно немецкой ограниченностью, — как говорили бакунисты, — работавшего над укреплением государственности и вносившего диктаторские начала в организацию работников всего мира. Все остальные народники не только не избавились от этой жестокой ненависти к Марксу, но и переняли ненависть Бакунина к немцам вообще, к немецкой социал-демократии в частности.

Я уже выше говорил, что Плеханов не был свободен от этой ненависти к немцам и питал большие симпатии к Дюрингу (тоже своеобразное свойство народнического утопизма), который еще долго оставался авторитетом для народников. В той же самой первой статье „Законы экономического развития", где мы уже ощущаем новое веяние и влияние, он еще стоит на точке зрения позитивизма (очень примитивного и путанного) и еще считает в числе блестящей плеяды „Родбертуса, Энгельса, К. Маркса и Дюринга".

Следовательно, одним Бакуниным решить вопрос нельзя. Дело не в том, откуда у него было заложено „великое уважение" к материалистическому объяснению истории, а в том, под влиянием каких причин это „великое уважение", во-первых, развивалось (ибо у значительной части народников оно так и осталось уважением, не приняв никаких теоретических форм), а во-вторых, развивалось именно в направлении к наиболее строгому научному материализму-марксизму.

Тут мы имеем возможность установить влияние целого ряда причин, с нашей точки зрения одинаково важных и имеющих одинаково большое значение при объяснении этого развития.

Практический опыт и руководство революционной работой, характер этой работы имели для него очень большое значение. Богатейший опыт как самого Плеханова, так и его товарищей полностью был использован лишь за границей, значительно позже; однако непосредственное, повседневное влияние опыта, практики, было исключительно велико, об этом мы узнали от него же самого—из его второй статьи „Законы экономического развития", об этом же свидетельствует он в своем предисловии к „Туну" [1]), как и в своем „Русском Рабочем".

С самых первых шагов своей революционной деятельности он

[1]) „Тун", стр. 31.

знакомится и входит в круг социалистов-рабочих, всю зиму 1877—1878 [1]) и следующую 1878—1879 [2]) он проводит в Петербурге, руководя рабочими кружками, а в случаях стачек и волнений руководя стачками. Перед его глазами на протяжении нескольких лет рабочее движение вырастает и в глубь, и размером, выдвигается целый ряд самых неотложных задач, решать которые, оставаясь догматиком-народником, становилось изо дня в день труднее, а временами и совершенно невозможно. Тесные товарищеские отношения с членами Северо-русского рабочего союза — которые явились живым примером—предтечей будущей организации „работников", еще усиливало и особенно оттеняло смысл личного опыта Плеханова.

„К началу 1879 года рабочее движение переросло народническое учение на целую голову" [3]), — пишет совершенно справедливо Плеханов; находясь в этом рабочем движении и посильно руководя им, естественно, Плеханов, такой чуткий и проницательный человек, не мог не расти вместе с ним — и к началу 1879 года, т.-е. перед Воронежским съездом, Плеханов был, подобно рабочему движению, по своим теоретическим запросам на целую голову выше своих товарищей народников, как и будущих народовольцев, которые со всей остротой ощущали практическую безвыходность народнического движения, но которые не были в силах найти выхода из этого теоретического тупика.

Именно потому, что так высоки были теоретические запросы Плеханова, так многообразны и сложны были практикой выдвинутые перед ним вопросы, именно поэтому он с особым вниманием и с интересом следил за литературной деятельностью Н. Зибера, стремясь найти в его статьях ответы на „проклятые вопросы", стоящие перед ним. Н. Зибер в это время старался, насколько это позволяли цензурные условия, популяризировать экономическое, отчасти и социологическое учение Маркса и Энгельса, ввести западно-европейский элемент в русскую общественную науку.

Роль Зибера в этом смысле очень большая. С шестидесятых годов российское западничество развивалось в направлении апологии самобытности и своеобразия путей социализма в России, и уже ко времени организации „Земли и Воли" мы имеем фактически вместо былого западничества славянофильствующий бакунизм. Подлинными и последовательными западниками выступали лишь открытые идеологи нарождающегося русского промышленного капитала — русские либералы. Само собою разумеется, их западничество имело очень мало схожего с западничеством русских просветителей, но непосред-

[1]) „Воспоминания о Михайлове"—Соч., т. 1, стр. 163.
[2]) Там же, стр. 164—165.
[3]) „Русск. рабоч. в революц. движении". Изд. второе, тип. „Искры", 1902 г., стр. 44.

ственные ученики последних далеко отклонились от пути своих учителей. Начиная от российских бланкистов-Ткачева и кончая российскими самобытниками, все они ушли далеко в сторону от подлинного западничества. Одним из чрезвычайно немногих, который пытался подобно старым просветителям поднять западничество на уровень европейской науки того времени, был Н. Зибер. Его отличие от наших великих просветителей было в том, что он в противовес своим предшественникам не был по натуре человеком дела, революционного действия.

Каждый из наших просветителей, беря западно-европейскую науку, примерял на России: что нового вносит она в решение задач российской революции? Как выглядывают российские революционные задачи при новом свете? Как влияет новая наука на решение старых задач, старых вопросов, при чем эти старые задачи сами вечно становились новыми по неотвратимым законам диалектики и лишь для самих просветителей оставались старыми.

Не то делал Зибер; он популяризировал наипередовое учение тогдашней Европы, переводил, разными ухищрениями проводя цензуру, целые главы лучших трудов Энгельса, спорил с Чичериным и с иными критиками Маркса и Лассаля, но все это он делал как верный страж науки, а не как революционер. Говоря проще, он не пытался, да и вряд ли было бы ему под силу, пересмотреть господствовавшую тогда революционную идеологию — народничество при свете новой науки. Но и то, что он сделал, было большое дело.

Не один Зибер интересовался Марксом и марксизмом. Время от времени русские либералы в борьбе с народничеством пытались опираться на Маркса, и тогда народникам приходилось брать Маркса под защиту. В своей первой программной статье Плеханов это и делает: он пытается защитить Маркса от либералов и примирить его учение с народничеством. При этом чрезвычайно важно то обстоятельство, что в этой своей статье он цитирует Зибера — не называя его — и отзывается о нем, как об одном „из талантливейших учеников и популяризаторов Маркса“ [1]). Важно это потому, что показывает, как Плеханов регулярно следил за Зибером, читал его статьи и считался с его мнением. Совершенно прав тов. Рязанов, когда пишет: „Когда Плеханов в этой своей первой теоретической статье говорит об „общественной кооперации“, о ее различных формах, о „капиталистической продукции“, мы узнаем терминологию тогдашних статей Зибера“ [2]), но тов. Рязанов ошибается, когда то обстоятельство, что в этой первой статье чрезвычайно выпукло проявляется это его увле-

[1]) Соч., т. I, стр. 57.

[2]) Предисловие к соч. Плеханова, т. I, стр. 12.

чение материалистическим объяснением истории, которое обнаруживается уже в самой постановке вопроса, приписывает влиянию Зибера. Бакунинская закваска автора в этой статье так ярко выражена, самый материализм носит на себе такую яркую печать бакунинского, что ни ошибкам, ни колебаниям места не может быть; что стоит одна фраза: „Главные усилия должны быть направлены на устранение разрушающего влияния современного государства. А оно может быть устранено только окончательным разрушением государства и предоставлением нашему освобожденному крестьянству возможности устраиваться „по всей своей воле“ [1]) — это махровый бакунизм. В этой, как и во второй статье чрезвычайно примечательно не это, а то, что какие-то причины непрерывно держат его интерес в направлении проблем материалистического понимания истории. В числе этих причин большое место занимает, конечно, Зибер. Таким образом, значение Зибера в эту раннюю пору развития Плеханова заключалось в том, что он помогал Плеханову замечать противоречия бакунинского исторического материализма и держал внимание и интерес его непрерывно в направлении исканий в этом „глухом колене“ бакунизма, как я выше назвал.

Гораздо большее влияние на Плеханова Зибер имел впоследствии в эпоху его второго отъезда за границу, во время своих работ над „Родбертусом“ [2]), и далее, когда он был лично с ним знаком и вел подолгу беседы на теоретические темы [3]).

Так, подталкиваемый практикой, Плеханов теоретически преодолевал народничество, все более и более приближаясь к марксизму.

Его теоретическое развитие было прервано весною 1879 года, когда практический вопрос дня, — вопрос о борьбе с властью путем террора, путем дезорганизации — как тогда говорили, — превратился в теоретическую дилемму — политика или социализм.

В этом деле роль Плеханова чрезвычайно интересна и с теоретической, и с фактической стороны, и мы остановимся на ней несколько подробнее.

4.

Обыкновенно принято изображать дело так, будто разногласия между членами „Земли и Воли“ выявились на знаменитом совещании петербургской группы по вопросу о предложении Гольденберга и Соловьева убить Александра II. На самом деле это верно лишь отчасти. Несомненно, разногласия накапливались еще до того. Пле-

[1]) Соч., т. I, стр. 65.

[2]) Письма Лаврову—Л. Дейч, „Плеханов“.

[3]) Мон. взгляд—изд. Гос. Изд. 1923 г., стр. 73.

ханов свидетельствует, что А. Д. Михайлов, уже после Ростова, осенью 1878 г., вернувшись в Петербург, уже высказывал мысли о необходимости оставить агитацию в народе, для чего сил у организации не хватит, и перейти к мести правительству [1]). Но эти мысли не принимали ясные формы, высказывались лишь как частные мнения, и даже и на этом знаменитом и чрезвычайно бурном собрании вопрос стоял не на той принципиальной основе, не в форме дилеммы, как это случилось очень скоро вслед за тем.

„Но каким бурным это заседание совета ни было, о разделе (организации) и речи в это время еще не заходило" — свидетельствует М. Р. Попов [2]), а о разделе не было речи потому, что еще не были ясны, еще не наметились для большинства, в чем разногласия, „теоретические взгляды большинства членов „Земли и Воли" немногим разнились" [3]).

Аптекман с М. Р. Поповым не совсем согласен, он думает, что Попов преуменьшил значение этого совета: „а между тем это историческое заседание было чревато важными и роковыми для нас последствиями. Оно было для нас зловещим признаком надвигающегося на нас полного крушения" [4]) — но, ведь, зловещий признак это еще далеко не самое крушение. Нам кажется прав в своей осторожности М. Р. Попов: — заседание совета было чрезвычайно бурное, но принципиальное разногласие еще не достаточно созрело. Еще более ошибается Н. Морозов, когда пишет, что на этом собрании „неизбежность распадения общества „Земли и Воли" сделалась очевидной почти для каждого из нас", — так он мог сказать по отношению к себе и узкого круга своих единомышленников, которые, как мы увидим ниже, не только не стремились предупредить раскол, но и энергично добивались этого и готовились к нему. Отдельные члены организации уже к весне 1879 г. явно приняли террористическую тактику; особенно выделялись в их числе А. Д. Михайлов [5]), Н. Морозов [6]) и др.

Не то было в редакции центрального органа группы — „Земля и Воля". К этому времени — весна 1879 г. — редакция состояла из след. лиц: Н. Морозов, Д. Клеменс, Л. Тихомиров и Г. Плеханов. Клеменс был арестован до того, как Тихомиров и Плеханов были назначены в редакцию. Новая редакция была составлена чрезвычайно неудачно,

[1]) Пред. к Туну — стр. 38.
[2]) „Земля и Воля накануне Воронежск. Съезда" — Былое, VIII, 1906 г., стр. 21.
[3]) Ibid., стр. 22.
[4]) О. Аптекман, „Из истории революцион. народничества" — „Земля и Воля" — стр. 184.
[5]) Плеханов. — Сочинения, т. I, стр. 167.
[6]) Н. Морозов. „Возникновение Народной Воли" — Былое, XII, 1906 г.

ибо с самого же начала носила в себе непримиримое противоречие. Разногласия прежде всего наметились между Плехановым и Морозовым; последний к этому времени пришел к убеждению необходимости действовать „методом Вильгельма Телля и Ш. Кордэ" — т.-е. террором. Плеханов естественно не мог мириться с новым методом. В то время как он под влиянием волнений широких рабочих масс стремился решить одну из труднейших проблем революционной практики — вопрос о рабочих и их роли в движении, его соредактор мечтал о Теллях и Кордэ, о терроре, о „неопартизанстве", как он говорил. Неизбежны были постоянные трения. В качестве компромисса Морозову воспретили развивать свое новое воззрение на страницах „Земли и Воли", но зато разрешили издавать отдельно „Листок Земли и Воли". Такой компромисс не только не удовлетворял редакцию, а еще более обострил положение, поскольку Морозов тем самым был поставлен в более привилегированное положение по отношению к остальным членам редакции. Плеханов весной приготовил свою третью передовую статью для „Земли и Воли", № 5, и, после того как на редакционном собрании она была одобрена, выехал из Петербурга (по постановлению Центральной группы все свободные землевольцы должны были выехать из Петербурга, ибо ожидали сильных репрессий после покушения Соловьева).

После его отъезда Тихомиров, который до того занимал компромиссную позицию, очевидно под давлением террористов (Аптекман указывает прямо на А. Д. Михайлова) снял статью Плеханова и поместил свою, где развивал идею аграрного террора. Это было нечто половинчатое; основной смысл статьи заключался в том, что старые методы агитации и пропаганды ни в какой мере не решают основной проблемы. Для практичного мужика всего важнее вопрос о том, „как приняться за дело, чтобы завоевать себе свою землю, свою излюбленную волю, за которую он столько раз бесстрашно клал свою голову". Работа в народе не должна сводиться к пропаганде и выработке идеалов будущего общества, ибо эти идеалы в народе живы и имеют „солидный фундамент". Нет, „нам нужны не идеалы, нам нужно в самом скорейшем времени, пока еще не поздно, разбить эту ужасную государственную машину и поставить на ее место общественный строй хотя бы не идеальный, но все же обеспечивающий народу возможность дальнейшего развития". А для этого необходимо, чтобы деятельность революционеров приняла „характер чисто боевой", нужно организовать „крестьянские банды", которые должны расправляться с врагами народа; „организуя вооруженные банды, мы фактически осуществляем революцию, противопоставляем силе — силу и даем народу лучший образчик способа действий. Составляя необхо-

димую опору для современной революционной работы, банды вместе с тем образовали бы первые кадры революционной армии" [1]).

Так писал Тихомиров в передовой статье в № 5 „Земли и Воли". Совершенно понятно, почему эту передовицу встретили враждебно будущие чернопередельцы,—это было фактически подготовкой к приему точки зрения Морозова. Но уже до выхода № 5 „Земли и Воли" (он вышел 16 апреля 1879 г.) вышел №№ 2—3 „Листка Земли и Воли", после которого стала совершенно немыслимой совместная деятельность в редакции Плеханова с Морозовым. Передовая статья „Листка Земли и Воли", написанная Н. Морозовым, была подлинным дифирамбом политическому убийству. Он писал: „Политическое убийство—это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она становится цельной, нераздельной силой, только тогда она поднимается на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю для того, чтобы увлечь за собою массы. Политическое убийство—это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов... Политическое убийство—это осуществление революции в настоящем". Статья заканчивалась: „Вот почему мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом" [2]). Это был прямой вызов народникам-деревенщикам, и совершенно понятно, почему в дальнейшем так обострились отношения двух фракций.

Какую же точку зрения развивал тогда в споре с народовольцами Плеханов? Вот как, много лет спустя, сам он резюмирует свои аргументы: „Так называемая дезорганизаторская деятельность дезорганизует не правительство, которому она, напротив, указывает на незамеченные им раньше недостатки его организации, побуждая его этим к их устранению, а нас самих"... „даже полная удача самого главного дезорганизаторского плана (убийство Александра II *В. В.*) приведет к перемене лица, а не политической системы, так как дезорганизация ничего не изменяет в отношении общественных сил" [3]). Он даже письменно в особой записке изложил все эти свои соображения Воронежскому съезду. Он утверждал далее, что терроризм имеет свою внутреннюю логику, что он поглотит все силы партии; чрезвычайно любопытно, что Плеханов с самого начала борьбы выдвинул идею, очень характерную для его тогдашних настроений: „он в противовес политическому террору предложил городской экономический террор, при чем указал и на конкретный случай из тогдашних рабочих стачек, в котором было совершенно уместно применение террора" [1]).

[1]) Револ. журналистика 70 г.—Русская истор. библ., № 7, под редакц. Базилевского (Богучарского), стр. 236—239.

[2]) Ibid., стр. 282.

[3]) Плеханов—„Неудачная история партии Н. В."—Современный мир, 1912 г. № 5, стр. 160.

Идея стачечного террора (как выражается Аптекман—экономического) чрезвычайно симптоматична именно потому, что она показывает, как неверно утверждение, будто Плеханов был противником вообще террора. Индивидуальный террор, направленный против отдельных лиц, имеет оправдание лишь в исключительных случаях, но когда его пытаются возвести в систему, он становится крайне вредным для массового движения явлением. Что он понимал под „экономическим"—мы предпочли бы термин стачечный—террором?

Отголоском этих споров, несомненно, явился конец второй статьи „Законы развития". Статья заканчивается рассуждением о том, что в отличие от Запада у нас неизбежно рабочие организации должны быть тайными, руководящим принципом которых должно служить правило английских рабочих союзов до 1824 г. „страшная тайна и величайшее насилие в средствах"—„и ни один мыслящий человек не упрекнет рабочие организации за неразборчивость в средствах, когда она увидит себя вынужденной на насилие отвечать насилием, когда на террор правительства, закрепощающего рабочего фабриканту, карающего как уголовное преступление всякую попытку рабочих к улучшению своего положения, правительства, не останавливающегося перед поголовной экзекуцией детей, принимающих участие в стачке,—когда на белый террор такого правительства оно ответит, наконец, красным..." [2])

Эти замечательно энергичные слова не должны оставить ни тени сомнения насчет того, против какого терроризма ополчался Плеханов. Они же, с моей точки зрения, указывают, что сама по себе дилемма—социализм или политика—чрезвычайно раннего происхождения, хотя и поздно осмысленного.

Не подлежит никакому сомнению, что разногласия между двумя группами начались именно как разногласия о целесообразности политического террора, и хотя значительно позже перед революционерами встал отчетливо вопрос об отношении социализма к политической борьбе, но зародыш его носила в себе самая постановка вопроса в спорах в редакции и в узком кругу руководителей еще зимой 1879 года.

Когда же это теоретически оформилось? В эпоху „Земли и Воли" этой дилеммы естественно и не могло быть, ибо вся организация

[1]) О. Аптекман, стр. 175.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 74.

стояла на точке зрения Бакунина, относилась чрезвычайно отрицательно к политике, и, следовательно, одна часть дилеммы просто отрицалась. Если не принять в расчет южных бунтарей, развитие взглядов которых шло по несколько иным путям, то можно без особого риска ошибиться сказать, что вплоть до Воронежского съезда землевольцы как террористы, так и деревенщики одинаково избегали теоретически оформить и осмыслить новую позицию, новое течение.

Террористы с самого начала назывались политиками, при этом пытались свою политику связать со старым народничеством. В задачу деревенщиков входило разоблачить противоречия нового течения со старой программой. Такая дискуссия не только не способствовала выяснению вопроса, но, наоборот, осложняла дело, перенося спор на менее принципиальные, частные вопросы, отвлекая постоянно дискуссию от основного и существенного пункта спора в сторону пререканий по вопросу о том, кто лучше хранит старые традиции.

Только на Воронежском съезде ясно, отчетливо и прямо был поставлен вопрос, и этому обстоятельству сильно способствовало, во-первых, то, что на съезд прибыли южные бунтари, и, во-вторых, то, что политики были крепко организованной фракцией и имели руководителем такого бесстрашного и последовательного человека, как Желябов. Еще весною было выясненно совершенно точно, что необходимо созвать съезд членов „Земли и Воли“ для решения возникшего разногласия. К предстоящему съезду политики развили чрезвычайно энергичную фракционную работу. Н. Морозов рассказывает, что уже на следующий день после бурного заседания по вопросу о покушении Соловьева, он на фракционном совещании террористов „стоял за то, что, если разрыв скоро неизбежен, то самое лучшее окончить его как можно скорее“ [1]). Они даже, боясь исключения из организации и полагая, что большинство будет на стороне деревенщиков, решили „сорганизоваться ранее съезда“. До какой степени успешно вели они фракционную работу, видно из того, что до Воронежского съезда они в Липецке устроили свой особый съезд террористов-политиков, явились в Воронеж уже с готовыми решениями.

Мы это говорим не в качестве упрека, не в качестве укора; наоборот, в самом факте столь живой фракционной настойчивости мы склонны видеть силу этого течения [2]). Для нас этот факт имеет лишь

[1]) Морозов, стр. 7.

[2]) Глубоко ошибается Морозов, когда он пытается на основании опыта, как он представляется одной стороне, построить философию расколов и фракционной борьбы; он пишет: „Распадение общества на две части в это время является большим благом, так как все честолюбивые руководители „остаются при старой“, уже испытанной и приобретшей популярность программе, а за новую оказываются, главным образом, искренние и бескорыстные энтузиасты, не заботящиеся о том, популярно или нет то, что они считаются справедливым или нужным для осуществления своего идеала“—повторяя это

то значение, что показывает, что новое воззрение кристаллизовалось, приняло определенную форму в Липецке, где были приняты декларации программы и устав с жестокой централизацией со всеми присущими заговорщической организации пунктами. Уже эта маленькая декларация провозгласила „метод Телля“ средством для достижения свободы слова, печати, союзов, собраний“ [1]) О том, что для деревенщиков эта формула явного и открытого признания политической борьбы была неожиданностью, свидетельствуют почти все участники Воронежского съезда. „При обсуждении вопроса о терроре,—рассказывает Аптекман,—особенно резко протестовал Плеханов:

„— Чего добиваетесь вы,—обратился он прямо с вопросом к террористам,—на что вы рассчитываете“.

„— Мы получим конституцию,—неожиданно в пылу спора выпалил Михайлов,—мы дезорганизуем правительство и принудим его к этому.

„Произошло полное замешательство. Плеханов горячо возражал, что дезорганизаторская деятельность наша только приведет к усилению правительственной организации, что в окончательном результате борьбы победа окажется на стороне правительства, что единственная перемена, которую можно с достоверностью предвидеть, это—вставка трех палочек вместо двух при имени Александр; что дальше стремиться народнику-революционеру к конституции почти равносильно измене народному делу. Желябов поставил вопрос ребром и решил его без обиняков: надо, де, совсем отказаться от классовой борьбы, выдвигая в этой борьбе на первый план политический ее элемент“ [2]).

Это любопытный отрывок, он прежде всего показывает как не искушенно сера была „деревенская“ часть съезда, которая пришла в „полное замешательство“ от мысли Михайлова, не представляющей ничего нового против того, что было высказано на Липецком съезде; и затем она показывает, что будущие народовольцы не прочь были пожертвовать и классовой борьбой во имя политических завоеваний.

Тут только надлежит нам исправить одну неточность в рассказе Аптекмана. По его передаче выходит, будто Желябов свои соображения о классовой борьбе высказал во время диалога между Михай-

фальшивое, хотя бы на примере того же раскола, занимавшего нас сейчас. Менее всего „честолюбивых замыслов“ было у Плеханова; мы отчасти уже видели и в дальнейшем убедимся, я думаю, более, что им руководило подлинное теоретическое искание убежденного человека. Если кого и можно в рассматриваемом расколе назвать бескорыстным энтузиастом, так это, конечно, Плеханова. Картина ухода Плеханова из съезда и выхода его из организации „Земли и Воли“, описанная самим же Морозовым, тому прекрасное доказательство.

[1]) Морозов, стр. 11.

[2]) Аптекман, стр. 192.

ловым и Плехановым. Это не верно. Желябов свою речь произнес в отсутствие Плеханова, быть может, даже на следующем заседании. Сам Плеханов об этом пишет следующее: „Желябов получил право явиться на Воронежский съезд только после того, как принят был в число членов общества „Земля и Воля". А это произошло, когда я уже перестал бывать на заседаниях съезда вследствие того, что он в огромном большинстве своем слишком мягко отнесся к террористической или, как тогда выражались, дезорганизаторской тактике Н. Морозова, Л. Тихомирова и А. Д. Михайлова. Поэтому лично я не слыхал речей, произнесенных на съезде Желябовым" [1]).

Но это не меняет сути дела; было совершенно несомненно, что „Земля и Воля" расщепилась на две половинки—на народников-социалистов и на террористов-политиков, при чем на самом съезде уже было ясно, что политика, как террористы ни крепились и ни обставляли себя разными резолюциями, и как ни старались всемерно ограничивать их „деревенщики", все равно очень скоро после съезда станет доминирующей, всепоглощающей.

По свидетельству Морозова, Плеханов оставил съезд с первого же заседания. Из вышеприведенного отрывка из самого Плеханова видно, что его уход был после того, как съезд отнесся слишком мягко к Морозову и его товарищам. Оба рассказа приблизительно сходятся. Во всяком случае при обсуждении остальных вопросов (кроме инцидента в редакции) Плеханов участия не принимал.

Но оставив съезд, он не оставил Воронеж, и его единомышленники-„деревенщики" по окончании каждого заседания держали в курсе обсуждавших вопросов. Съезд кончился в двадцатых числах июля. „Я уехал из Воронежа в Киев,—говорит Плеханов,—увозя с собой безотрадное убеждение в том, что народничество, казавшееся мне тогда единственным возможным в России видом социализма, погибает, главным образом, благодаря нелогичности самих народников" [2]). В Киев прибыл Р. М. Попов, который выехал тогда по совету Стефановича, уверившего его, что можно продолжать работу среди чигиринских крестьян, не прибегая к помощи подложных манифестов.

От него Плеханов узнал, что приехали в Петербург из-за границы В. Засулич, Л. Дейч и Л. Стефанович, которых дезорганизаторы считали своими, и что они „напротив, отстаивают старый агитационный способ действия" [3]). Само собою разумеется, Плеханов тут же выехал в Петербург, где действительно застал приехавших из-за границы товарищей, у которых настроение было целиком за „деревенщиков". Это сильно подбодрило Плеханова, который, выйдя из организации „Земля и Воля", находился в ужасном состоянии. В Петербурге же он увидел, что хотя общество из съезда вышло формально единым, но фактически продолжает жить в постоянных разногласиях, при чем теперь уже бывшие деревенщики, которые на Воронежском съезде еще думали резолюциями ограничить террористов, убедились на практике, что внутреняя логика терроризма приводит к тому, что вся организация должна быть поглощена одной этой задачей, народникам стало совершенно ясно, что при интенсивной деятельности террористов никакой работы вести будет невозможно—отсюда за осень 1879 года накопилось значительное число недовольных. Как только Плеханов приехал в Петроград все эти „деревенщики", недовольные новой тактикой, примкнули к нему.

Тем временем у террористов происходила работа, которая все более отдаляла их от „деревенщиков", они стали относиться к последним очень сдержанно, а к их социалистической пропаганде „не сочувственно", ибо считали, что всякий разговор о социализме отпугнет либералов, ослабит приток новых, молодых сил в ряды революционеров. Такое положение долго не могло длиться: фракции заседали отдельно друг от друга за городом, происходили частые столкновения, постоянные дискуссии, жестокие пререкания,—естественно было стремление обеих сторон разделиться. В конце осени (Морозов указывает точно—в октябре, но это мало вероятно: № 1 „Народной Воли" вышел 4/X) „Земля и Воля" разбилась на две части—на партию „Народная Воля" и группу „Черный Передел".

Плеханов взял на себя редактирование журнала группы, восстановил связи с рабочими, пытался связаться с Сезеро-русским рабочим союзом и, к своему удивлению, нашел в Халтурине решительный поворот к террору,—что его сильно встревожило. Очень скоро выяснилось, что среди рабочих пользуется большей симпатией Народн. Воля, и наиболее сознательные из них идут в террор. Среди учащейся молодежи „Черный Передел" не встретил той поддержки, на что рассчитывал, никто не увлекался идеей „хождения в народ", да и с самим народом-крестьянством связи не было. „Это трагическое положение нашей организации выяснилось уже в ноябре-декабре, т.-е. после пары месяцев, прошедших со времени ее возникновения" [1]). К тому же жестокие преследования правительства, почти повальные обыски, массовые аресты—которые были ответом на систематический террор народовольцев—все это делало лишним и не безопасным их пребывание в Петербурге. По требованию друзей „легальных" и

[1]) „Неуд. ист. партии Народ. Воли"—С.М., № 5, 1912 г., стр. 154.
[2]) „Почему и как мы разошлись"—Искра, № 34.
[3]) Там же.

[1]) Дейч—„Г. В. Плеханов", стр. 54.

нелегальных в начале 1880 г. Плеханов, Засулич и Дейч уехали за границу.

Прежде чем перейти к литературному отражению этих теоретических споров и к тем научным приобретениям, которые сделал Плеханов в этой борьбе, я только два слова скажу о причинах, которые привели к неудаче „Черный Передел", а до того выдвинули самую идею необходимости политической борьбы. Были в мемуарной литературе и у историков попытки объяснить дело так, будто неудача проистекала из сурового преследования революционеров полицией. „Революционное народничество погибало и погибло не под ударами полиции, будто бы загородившей революционной интеллигенции все пути к народу, а в силу неблагоприятного для него настроения тогдашних революционеров" [1]), а настроение это было таково, что „хождение в народ быстро теряло свою привлекательность". „Произошло это потому, что деятельность в народе не оправдала тех радужных, можно сказать, почти ребяческих надежд, какие возлагались на нее революционерами. Отправляясь в народ, революционеры воображали, что социальную революцию сделать очень легко, и что она очень скоро совершится: иные надеялись, что года через два-три. Но известно, что подобная легкомысленная „вера" представляет собою нечто до крайности хрупкое и разбивается при первом столкновении с жизнью. Разбилась она и у наших тогдашних революционеров. „Народ" перестал привлекать их к себе, потому что „хождение в народ" перестало казаться им важнейшим и скорейшим средством повалить существующий порядок" [2]). Я привел эту длинную выписку, ибо она, по моему мнению, лучше всего отвечает на поставленные вопросы. И не только новые кадры не шли в народ, но после Воронежского съезда работавшие уже в народе „деревенщики" возвращались в города, чтобы познакомиться с причинами замедления притока новых сил, и неизменно убеждались, конечно, сколь безнадежно ожидание нового широкого движения в народ. Одни считали бесплодной при современных условиях работу в деревне, другие ограничивались платонической любовью к „вековым устоям" народной жизни...

Выше я уже отметил, что борьба между Плехановым и будущей Народной Волей, а впоследствии и с самой ею, была, по существу говоря, борьбой намечающегося научного социализма с привычным утопизмом.

Прежде всего надлежит отметить, что фракция народовольцев сама была не однородная. В ней намечалось несколько течений, которых объединяла общая программа политической мести самодержавию и борьбы за политические свободы. Грубо подразделяя их, мы получим идеологов южного бунтарства, из среды которого вышел и чью точку зрения особенно ярко и талантливо выражал А. Желябов и северяне, возглавляемые Тихомировым.

[1]) Предисловие к Туну, стр. 40.
[2]) Там же стр. 37.

В то время, как первые, борясь за политические права, готовы были забыть совершенно всякие тревожащие идеи о социализме, о классовой борьбе и т. д. (вспомните только, что говорил Желябов!); другие—северяне—представляли собою воплощение всех утопических надежд и чаяний старого народничества, помнили еще о народе, хотели еще верить в его силу и лишь готовились путем заговора захватить власть, чтобы созвать учредительное собрание и помочь народу осуществить свои „исконные права и власть". Южане были подлинные радикалы (в европейском смысле слова) и были новым явлением в русской революционной практике; северяне же, воплотившие, как было сказано, в себе все наиболее утопическое в бакунистском народничестве, соединив в своем воззрении Бакунина с Ткачевым, придававшие чрезмерно большое значение личному героизму и отваге — представляли собою не что иное, как результат обратного (по отношению к Плеханову) развития. Если Плеханов направил все свое внимание, весь свой огромный талант на решение противоречий, мешавших народничеству стать на научную почву, то северные народники делали движение как раз в сторону противоположную.

В этом именно смысле мы и говорим, что столкновение двух фракций в „Земле и Воле" было не столкновением старого (отживающего) с новым, а борьбой нарождающейся научной тенденции с привычным утопизмом.

Вернемся, однако, к нашей первоначальной теме — проследим дальнейшее теоретическое развитие Плеханова.

5.

В результате острой идейной борьбы перед Плехановым встал еще один кардинальный вопрос революционной теории и практики — вопрос об отношении социализма к политической борьбе. Все дальнейшие его литературные и теоретические изыскания группировались вокруг этих неразрешимых для людей, стоящих на точке зрения народничества, вопросов; он не мог выйти из круга этих проблем до самого момента окончательного перехода на точку зрения современного научного социализма—марксизма.

Еще до своего отъезда за границу, в конце осени, вероятно после того, как раскол освободил обе группы от внутренней фракционной, в значительной мере бесплодной дискуссии, Плеханов попытался

вплотную подойти к тому вопросу, который более всего для него, как для народника, должен был казаться кардинальным и решить его в соответствии с данными современной науки.

Вопрос об общине для него, как мы увидели выше, стоял очень остро. Его народничество действительно висело на волоске после того, как он согласился с Марксом в том, что общество не может перескочить через естественные фазы „своего развития, когда оно напало на след естественного закона своего развития". Приняв это положение, он мог оставаться народником, верить в русский социализм, если бы оказалось, что община не есть форма, подчиненная этому закону развития, и что нет таких противоречий в общине, которые при развитии привели бы к отрицанию самой общинной формы землевладения.

Так именно он и ставит вопрос перед собой в статье „Поземельная община и ее вероятное будущее", первоначально помещенной в „Русск. Богатстве" за январь—февраль 1880 года. Он считает, что практически важно решить: „составляет ли поземельная община такую форму отношения людей к земле, которая самою историей осуждена на вымирание, или, напротив, повсеместное почти исчезновение земельного коллективизма останавливается причинами, лежащими вне общины, а потому, несмотря на их несомненное участие во всех известных доселе случаях разрушения общины, могущими нейтрализоваться счастливою для общины комбинацией исторических влияний. Какова, в самом деле, должна быть эта комбинация". Так ставит он перед собою вопрос, который имел для него огромное значение. В качестве русского общественного деятеля его интересовал, разумеется, вопрос о судьбе русской общины; не исказили ли эти внешние влияния самую русскую общину до такой степени, что ее разрушение неизбежно. „Тогда русскому общественному деятелю остается, конечно, предоставить мертвым хоронить своих мертвецов"...

А тогда было бы схоронено и все народничество с его русским социализмом. Так ставил себе вопрос Плеханов, его статья по существу преследует цель спасти для него самого народничество, которого он считал за „единственно возможный в России социализм".

С этой целью он подвергает разбору вновь вышедшую книгу М. Ковалевского „Общинное землевладение в колониях и влияние поземельной политики на его разложение" и „Сборник статистических сведений по Московской губернии", составленный Орловым, в котором заключалось обстоятельное описание существующих в губернии „форм крестьянского землевладения". Как известно, М. Ковалевский в этой своей работе пришел к выводам совсем не приятным народникам; разбирая судьбу поземельной общины в британской Индии, в Америке—Мексике и Перу, в Африке—Алжире и других странах, о которых имеются исторические данные, Ковалевский приходит к выводу, что поземельная община разлагается по причинам внутренним „самопроизвольным", среди которых не последнее место надлежит отвести „борьбе интересов"; он не отрицал значение внешних принудительных влияний, но отводил им достаточно подчиненное место.

Критикуя и по своему толкуя факты, приводимые М. Ковалевским, Плеханов одновременно приводил свои соображения об общине, на которых мы и остановимся несколько.

Аграрная история данной страны начинается с момента установления в ней оседлой жизни. „Какие перемены в экономических, а в с л е д с т в и е э т о г о (курс. мой—В. В.) и правовых отношениях вызывает оседлое земледелие внутри племени"? М. Ковалевский из примера Индии выводит такую общую схему, что первоначальной формой общественного устройства земледельческих народов является родовая община, которая через сельскую, семейную разлагается и уступает место личной собственности. Плеханов оспаривает это, находя, что это лишь эмпирический закон. Нужно не ограничиваться констатированием факта возникновения частной собственности, а понять причину; признать этот процесс самопроизвольным—это далеко не означает решить вопрос о причинах. Почему это важно доискаться причины этого явления? Потому, что „относительно любой из причин, действующих как в обществе, так и во всех других сферах явлений природы, возможно предположение, что влияние ее может нейтрализоваться вследствие других причин..., а между тем, называя процесс „индивидуализации имущественных отношений" самопроизвольным, автор (М. Ковалевский) как бы исключает для вызывающей этот процесс и даже не указанной им причины, возможность сказанного предположения". Говоря проще, знать причины необходимо, чтобы решить вопрос о том, может ли народническая деятельность в России предупредить разложение общины в России.

Что же является причиной возникновения в первобытном обществе частной собственности на движимость? Эта причина „нам кажется,—пишет Плеханов,—з а к л ю ч а е т с я в с в о й с т в а х п е р в о б ы т н ы х о р у д и й и о б у с л о в л и в а е м о й и м и о р г а н и з а ц и и т р у д а"—если это так, то т. н. самопроизвольный процесс есть не что иное, как общественное явление, обусловливаемое „н е б о л е е (!), как техникой производства в данном обществе", т.-е. „прогрессивный или регрессивный метаморфоз" его тогда зависит от той же самой экономической необходимости, которая была причиной возникновения „архаического коммунизма". Ну, и что же, спросит современный читатель у Плеханова-народника, который так превосходно усвоил материалистическое объяснение истории, разве от того, что происхождение частной собственности на движимость и происхождение первобытного коммунизма подчинены одному и тому же закону эконо-

мической необходимости, народническая вера в русскую общину становится более обоснованной? Он и не думает утверждать этого, ему это утверждение нужно для других целей—как мы увидим, а пока он, свой материализм очень последовательно развивая, приходит к совершенно правильному утверждению, что „при данном (свойственном первобытному хозяйству), далеко не постоянном состоянии орудий человеческого труда, процесс индивидуализации имущественных отношений является неизбежным“ [1]). Если эти причины можно с некоторыми ограничениями назвать самопроизвольными, то никак к числу их нельзя отнести факты изменения, внесенные в общину завоеваниями. Всякое завоевание, „в какой бы момент истории данного общества оно не совершалось“, есть искусственная причина разложения общины. Но не только одни завоевания—к числу внешних, искусственных причин надлежит отнести и „влияние усиливающейся государственной организации на формы поземельного владения данной страны“, и обложение налогами в пользу привилегированных классов“, захват служилыми чиновниками отдельных участков общинных земель. Ни одна из причин разложения коллективизма (перечисленных выше) не имеет „связи с внутренней организацией общины, а потому вызываемое их совокупным действием разрушение коллективизма не может быть приписано экономической необходимости [2]). К числу все тех же внешних причин следует отнести и разрушительное действие развивающейся промышленности, точно так же как и образование ремесленного и торгового люда вокруг общины никак не может считаться причиной, внутренно присущей общине.

Итак, земельный коллективизм разрушается под влиянием „внешних причин, а не только по причинам в нем самом заложенным. Отсюда ясно, что разрушение общины не есть неизбежное явление. При известных комбинациях отрицательных сил разрушение станет действительно неизбежным, но это отнюдь не значит, что невозможна другая комбинация условий, при которых община, напротив, стала бы расти и развиваться“ [3]).

Читатель помнит, вероятно, что Плеханов искал объяснения происхождения частной собственности на движимость в орудиях труда. Таким образом, под влиянием этих двух сил—самопроизвольной—свойство первобытных орудий и „внешних“, искусственных—совершается разложение общины; нейтрализовать эти вредные влияния можно и должно „созидательно-положительным отношением к ней крестьянской массы и интеллигенции страны“, если оно не будет, конечно, плато-

[1]) Сочинения, т. I, стр. 91.
[2]) Ibid., стр. 99.
[3]) Ibid., стр. 103

ническим [1]), т.-е. вредное влияние может и должно нейтрализовать революционное народничество, которое сумеет поддержать общину до того времени, „когда явится необходимость и возможность интенсивной культуры земли, а значит, и употребление таких орудий и способов труда, которые потребуют общинной эксплоатации общинного поля“ [2]).

„Свойства орудий труда, состояние земледельческой техники—это единственные самопроизвольные причины неустойчивости и первобытного коллективизма, станут с тех пор могучими стимулами его роста и развития. Коллективизм труда и владения его орудиями сделается экономически необходимым, а потому неизбежным, и будущее поземельной общины получит твердую реальную основу“.

Мы не без умысла так долго остановились на этой статье, в ней Плеханову удалось освободиться от одного из самых заскорузлых народнических предрассудков.

Конечно, это еще не марксизм, хотя я считаю, что тов. Д. Рязанов глубоко прав, когда в предисловии вплотную сближает ответ Плеханова на вопрос об общине с ответом Маркса и Энгельса, данным им в предисловии к русскому изданию „Коммунистического Манифеста“.

Но и при этом все же Плеханов еще далек от марксизма. Однако всякий читающий его статью явственно чувствует, что от былого ортодоксального народничества осталось очень мало. На самом деле, разве не яркое доказательство его далекого ухода от народничества мысли, вроде того, что „в России община исчезнет—если только исчезнет—повидимому, уже в борьбе с капитализмом“ [3]). Оговорка „если только исчезнет“ лишь усиливает значение и смысл этого положения. Для России вопрос, следовательно, не в самой общине, а в том, разовьется ли у нас капитализм, имеются ли у нас условия его развития? Решение этих вопросов не представляло для него особо больших затруднений, ибо он жил в Петербурге, руководил стачками, видел сам этот растущий капитализм.

Нужно было только время, чтобы можно было подвести итоги, учесть смысл и значение своего огромного опыта.

Это время он получил за границей.

6.

Первый номер „Народной Воли“—социально-революционного обозрения, издаваемого партией Народной Воли—вышел 4 октября 1879 года.

В нем помещено объявление группы „Черный Передел“ об изда-

[1]) Ibid., стр. 106.
[2]) Ibid., стр. 106.
[3]) Ibid., стр. 106.

нии газеты того же названия. Объявление это так объясняет необходимость издания газеты: „С тех пор, как приостановилось издание „Земли и Воли", положение дел социально-революционной партии в России усложнилось весьма значительно. Усилившийся до небывалых размеров правительственный гнет естественно должен был вызвать новую дифференциацию в деятельности революционеров и даже, до некоторой степени, во взглядах их на практические задачи партии. Как бы ни казались незначительными различия между взглядами революционных фракций, каждая из них должна обеспечить себе возможность излагать свои взгляды и обсуждать потребности партии в печати. Наше издание будет выразителем мнений одной из таких фракций. Мы думаем, что его направление достаточно определится, если мы заявим полную солидарность со взглядами, выраженными в передовых статьях 1—5 №№ „Земли и Воли". Дальнейшее развитие этих взглядов, определение задач партии в народе и предостережение ее от излишнего увлечения задачами чисто политического характера, могущего отвлечь партию от единственно возможного для нее пути—агитации на почве требований народа, выражаемых лозунгом „Земля и Воля",—будет составлять нашу задачу". Уже из этого объявления видно, что будущий орган, хотя бы на первых порах, в силу закона фракционной борьбы особенно будет выдвигать то, что составляло специфически народнического в передовых статьях „Земли и Воли", но одновременно из этого же объявления совершенно ясно следует, что процесс критического пересмотра народничества, начатый еще в третьем номере „Земли и Воли" Плехановым, неизбежно продолжится, поскольку и раньше в эпоху „Земли и Воли" критика и пересмотр Плехановым отдельных положений народничества происходили не под влиянием внешних причин, не случайно, а вполне закономерно, как попытки преодолеть противоречия бакунинской идеологии народничества.

Совершенно напрасно только Плеханов в своем объявлении [1]) выражал солидарность с передовой статьей Тихомирова из № 5 „Земли и Воли"; тенденции этой статьи прямо противоположны его тенденциям и представляют собою яркий образец того конденсированного утопизма, который мы противопоставили выше научным тенденциям плехановского народничества. Но это было сделано по соображениям дипломатическим, а дипломатия в таком деле совсем не так бесполезна, как это кажется О. В. Аптекману. „Плеханов—большой ум, но заурядный дипломат" [2]),—мы с этим не согласны.

[1]) Объявление это, написанное несомненно Плехановым, не вошло в I т. соч. его, ибо представляет лишь интерес как документ и войдет в последний том, содержащих био-библиографич. материал.

[2]) „Черный Передел", стр. 14.

Объявление составлено чрезвычайно сдержанно, с большим дипломатическим беспристрастием, обходятся наиболее острые углы и одиозные имена и издания („Листок З. и В.") и при всем этом точно устанавливаются границы расхождения, это ли не обнаруживает в нем незаурядного дипломата. Одно несомненно, и с этой точки зрения О. В. Аптекман совершенно прав, фракционная дипломатия, которая многим отличается от обыкновенной дипломатии, и которою так богато были наделены его тогдашние противники (Морозов и Тихомиров в особенности), была ему чужда.

№ 1 „Черного Передела" вышел в январе за границей. Попытки издать его в России окончились неудачей, вследствие провала типографии. Как уже мы выше отметили, было совершенно естественно, что, отделавшись от фракции террористов, народники должны были с особенной щепетильностью восстановить старую землевольческую идеологию со всем ее бакунизмом, анархистским отрицанием политики, верою в российский социализм и т. д., и т. д. И несомненно, если бы безотносительно сравнивать передовые статьи первых двух номеров „Черного Передела" с передовыми статьями „Земли и Воли", то первые представляют собою огромный шаг назад в смысле теоретическом по отношению ко вторым.

На самом деле, перед нами статья „Черный Передел" и две передовицы из № 1 и 2 „Черн. Передел" [1]). О чем они говорят? Все о тех же самобытных задачах русского социализма, о работе в народе, о бунтах Разина, Пугачева и т. д. „Разрушение государственной организации должно составлять нашу первую задачу" [2]). „Свободное общинное самоустройство и самоуправление; предоставление всем членам общины сначала права свободного занятия земли „куда топор, коса и соха ходит", потом, с увеличением народонаселения, равных земельных участков с единственной обязанностью участвовать в „общественных размерах и разрубах"; труд как единственный источник права собственности на движимость; равное для всех право на участие в обсуждении общественных вопросов и свободное, реальными потребностями народа определяемое, соединение общин в более крупные единицы—„земли": вот те начала, те принципы общежития, которые так ревниво оберегал народ" [3]) и т. д. в том же духе.

И когда среди этих дифирамбов народным идеалам исследователь встречает чрезвычайно трезвые формулировки в материалистическом духе или термины и выражения, которые приближают Плеханова к марксизму, он должен быть очень осторожен с выводами, ибо каждое такое положение вслед за тем „обезвреживается" бакунист-

[1]) Сочинения, т. I, стр. 106—133.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 116.

[3]) Сочинения, т. I, стр. 112.

ским толкованием его. „Так как экономические отношения в обществе признаются нами основанием всех остальных, коренной причиной не только всех явлений политической жизни, но и умственного, и нравственного склада его членов",—это совершенно правильно формулированный материализм сделан большой посылкой для того, чтобы вывести вслед за тем чисто бакунистскую мысль—„то радикализм прежде всего должен стать, по нашему мнению, радикализмом экономическим"; отсюда следует то положение Бакунина, что политическая борьба—наивреднейшее для радикализма занятие, особенно в России; те положения, которые на Западе создают радикализм, т.-е. анархизм, в России, логикой вещей, обращают передовых людей в „революционеров-народников" [1]).

После всего сказанного было бы смешно видеть марксизм в передовых статьях „Черного Передела", и в нашу задачу отнюдь не входит преувеличивать то наследство, которое русский марксизм получил от российского народничества.

Наоборот.

Но лежащий перед нами сборник всех вышедших номеров „Черного Передела" показывает нам одно любопытное обстоятельство: уже с третьего номера—начало 1881 года—пути Плеханова с „Черным Переделом" расходятся. Во всяком случае чернопередельцы, работавшие в России, еще целый год с лишним продолжали работать как народники, в то время как уже с осени 1880 г., как мы увидим ниже, Плеханов был потерян для народничества бесповоротно. Даже более того, уже во время печатания № 2 „Черного Передела" от былого защитника ортодоксального народника мало осталось непримиримого. Я имею в виду отзыв о „Черном Переделе" Маркса и объяснения Плеханова на этот счет. В письме к Зорге, как известно, Маркс очень едко высмеивал „Черный Передел": „Чтобы вести пропаганду в России,—писал Маркс,—уезжают в Женеву, что за qui pro quo?" Такое неприязненное отношение Маркса к чернопередельцам объяснялось очень просто: он считал русских эмигрантов, сгруппировавшихся вокруг этого журнала, за бакунистов; его особенно рассердило то обстоятельство, что журнал перепечатал статью анархиста И. Моста с ярыми нападками на германскую социал-демократию. Сверх того, в корреспонденции о Цюрихском конгрессе герм. соц.-демокр., говоря об исключении из партии „видных деятелей соц.-дем.—Моста и Гасельмана", автор ясно писал, что исключение было незаконное, а обвинения незерны („не подтверждая однакоже такой аттестации—недобросовестность—в своем отчете фактами"). Если припомнить отношение Маркса к анархистам, а в частности к бакунистам, то отзыв его будет совершенно понятен. Но встает другой вопрос: ведь, одним из редакторов был Плеханов. „Хотя я и был одним из редакторов „Черного Передела", — пишет Плеханов,—но статья Моста появилась в нем без моего ведома, так как я был в отсутствии. Мне было неприятно, что она появилась, потому что я тогда все больше и больше удалялся от анархизма, все больше и больше приближаясь к социал-демократии. Но ошибка была непоправима".

[1]) Сочинения, т. I, стр. 115.

Если сравнить рассказ Плеханова с тоном и характером передовой статьи к № 2 „Черного Передела", то не будет рисковано сделать заключение, что она написана в значительной мере под непосредственным влиянием психологии противодействия растущему внутреннему протесту против народничества. Вел он в это время интенсивные занятия, назревало в нем научное мировоззрение, а, ведь, известно, что до определенного предела лучшим признаком роста нового воззрения служит то обстоятельство, что старое с особой силой и с исключительным напором выставляется на первый план. Но даже и при этом в его воззрении слышатся новые нотки, новые не только с теоретической, но и с практической стороны. Он уже не смешивает в одну кучку под словом социализм всякое бесформенное соображение: он различает социализм (городских рабочих?) от крестьянского социализма: „это не значит, чтобы в целях наших лежал какой-нибудь особенный крестьянский социализм",—говорит он [1]). Если социальная революция разразится и предупредит „значительные изменения" в экономическом строе России, то главный вопрос будущей революции будет аграрный. „Но пока мы делаем свое дело, русская промышленность также не стоит на одном месте... центр тяжести экономических вопросов передвигается по направлению к промышленным центрам" [2]). Нужно укрепиться и в городе, и в деревне, нужно сообразоваться с органическим „процессом развития экономики"; мы можем совершенно не бояться хода экономических изменений и предоставить их естественному течению, если на своем знамени напишем: „рабочий бери фабрику, крестьянин—землю".

Повторяю, это рассуждение очень характерно; содержа в себе много правильного и являясь ярким доказательством совершающейся в нем критической работы, оно все-таки приводит Плеханова к лозунгу, который звучит достаточно анархически, напоминая более Кропоткина, чем Маркса.

Это был последний номер „Черного Передела", который редактировал Плеханов. В дальнейшем, как было сказано выше, пути их

[1]) Сочинения, т. I, стр. 131.
[2]) Сочинения, т. I, стр. 131.

расходятся. Издание „Черного Передела" переносится в Россию, где чернопередельцы значительно сближаются с „Народной Волей".

Еще весной Плеханов по делу о намерении французской полиции выдать царскому правительству Л. Гартмана, поехал делегатом от женевской колонии (вместе с. Н. Жуковским) протестовать против этого неслыханно позорного намерения республиканской полиции. Тут в Париже он познакомился с П. Л. Лавровым, наблюдал демонстрацию рабочих, присутствовал на грандиозных митингах, устроенных в честь прибывших по амнистии эмигрантов-коммунаров;—все это произвело на него чрезвычайно сильное впечатление. Осенью с семьей переселился в Париж, где провел весь следующий год. Он там занимался в Национальной библиотеке, посещал регулярно собрания парижских социалистов, а зимой к тому же познакомился с молодым еще марксистом, но уже испытанным и темпераментным революционером—Ж. Гедом, а затем и с П. Лафаргом. Их помощь и влияние в его критической работе были исключительны.

Справедливо было бы считать именно эту зиму решающей для его мировоззрения: в Париже, зимой 1880—81 годов, Плеханов окончательно преодолел в себе бакунизм, хотя понадобилось еще целых два года с лишним, чтобы он мог овладеть в совершенстве новым методом и применить этот новый метод к решению тех грандиозных, еще не разрешенных вопросов, которые были выдвинуты жизнью перед русской революционной мыслью.

Насколько успешно шла эта работа по пересмотру старых народнических взглядов по преодолению бакунизма в течение этой зимы, показывает его письмо в редакцию „Черного Передела", написанное еще в январе и помещенное в № 3 журнала, и его переписка с Лавровым.

По вопросу о политической борьбе и отношении к ней чернопередельцев от бывших издателей Плеханов предупреждает своих товарищей, работающих в России: „Предостерегая партию от излишнего увлечения вопросами чисто политического свойства, „Черный Передел", думаем мы, лишился бы значительной доли практического значения, оставаясь вполне безучастным к политическому вопросу, столь жгучему теперь в России" [1]).

Плеханов приехал за границу с одним вопросом в голове: а что же такое социализм?

В своем письме в редакцию „Черного Передела" он дает ответ на этот вопрос, который показывает, что он вполне удачно разрешил этот „проклятый вопрос": „социализм есть теоретическое выражение с точки зрения интересов трудящихся масс антагонизмов и борьбы

[1]) Сочинения, т. I, стр. 134.

классов в существующем обществе",—формулировка мало уступающая обычной, тогда несколько расплывчатой формуле, точно так же, как практические задачи революционной деятельности, которые, по его мнению, „заключаются в организации рабочего сословия и указании ему пути и способов его освобождения" [1]). Тов. Рязанов совершенно прав, когда утверждает: „это уже социально-демократическая программа, в своей определенности почти ничем не уступающая тогдашней немецкой программе" [2]). Конечно, из этого можно сделать вывод, что тогдашняя немецкая программа была очень несовершенна, для этого не требуется особого остроумия и проницательности, но, ведь, вопрос не в этом, а в том, что Плеханов приближался к марксизму, к социал-демократии с очень большой быстротой: статья во втором номере „Черного Передела" была написана в августе, а письмо в редакцию в начале января, а какая огромная разница!

„Вне организации сил, вне возбуждения сознания и самодеятельности народов самая геройская революционная борьба принесет пользу только высшим классам, т.-е. именно тому слою современного общества, против которого мы должны вооружать трудящиеся и обездоленные массы. Освобождение народа должно быть делом самого народа".

Эта убийственная критика идеологии народовольцев, заметьте, была написана, когда „Народная Воля" была в полном цвете, вела подготовительную работу к убийству Александра II и пользовалась безраздельным господством над умами.

Конечно, первый параграф устава Интернационала тут затуманен, затушован: совершенно определенное конкретное действующее лицо—рабочий класс заменен мало говорящим народом, неопределенным, бесформенным, однако совершенно неоспоримая заслуга всей группы „Черного Передела" перед революцией заключается в том, что он унаследовал от „Земли и Воли" уверенность в силу масс, могучую веру в неизбежность революционной вспышки народных низов, непоколебимое убеждение, что только сам народ в состоянии освободить себя; это-то и облегчило Плеханову понимание основного положения социал-демократического пролетарского движения.

„Поэтому задача „Черного Передела" может считаться оконченной лишь тогда, когда вся русская социалистическая партия признает главной целью своих усилий создание социально-революционной организаций в народной среде, при чем требование политической свободы войдет как составная часть в общую сумму ближай-

[1]) Сочинения, т. I, стр. 134.
[2]) Сочинения, т. I, стр. 14.

ших требований, предъявляемых этой организацией правительству и высшим классам. Другую часть этих требований составляет насущная экономическая реформа вроде изменения податной системы, введения правительственной инспекции на фабриках, сокращения рабочего дня, ограничение женского и детского труда и т. д., и т. д."— это ли не настоящая программа социал-демократическая? В сущности первой программой социал-демократии в России надлежит считать именно это письмо Плеханова, где основные принципы намечены совершенно правильно, где впервые выставляется определенный минимум-программа европейского типа, и где впервые Плеханов выступает как подлинный „социал-демократ".

Выше мы уже говорили, что российские чернопередельцы скоро начали сближаться с народовольцами и тем самым, следовательно, развивались в противоположном направлении. Достаточно будет привести один пример, чтобы убедиться в этом. Как известно, народовольцы считали еврейские погромы, разразившиеся в 1881 г. весной, за прелюдию широкой революционой вспышки и поэтому относились к ним с некоторыми даже ожиданиями.

„Черный Передел", издававшийся в России, в № 4 своем оценивает эти погромы точь-в-точь в том же духе. Корреспондент „с юга" Протопенко так прямо и оценивает: „Я лично считаю еврейский разгром прелюдией к более серьезному и целесообразному народному брожению" [1]).

Как отнесся к этому же факту Плеханов? В письме к Лаврову он пишет: „Как вам понравились избиения „жидов", чуть ли не по всей матушке России? Все эти сцены положительно переносят воображение в средние века" [2]).

Мы могли бы и далее произвести работу по сравнению №№ 4 и 5 „Черного Передела" с тем, что писал Плеханов, но нужды в этом особой нет. Самым ярким доказательством того, что „Черный Передел" в России подпадал под влияние народовольчества, и является то, что он рассосался в „Народной Воле", и группа „Черный Передел" быстро свелась в России на нет, после прекращения органа.

В нашу задачу не входит разбор и исследование судьбы чернопередельцев. При детальном разборе и исследовании, вероятно, выяснилось бы, что и среди „практиков" в России не малая часть ушла в рабочую гущу и проделала, следовательно, на практике путь от народничества к марксизму.

Нас сейчас интересует один лишь Плеханов, чье развитие от

---

[1]) „Черный Передел", стр. 304 (№ 4).

[2]) Д. Г. Дейч—„Плеханов", вып. I, стр. 87.

народнического бакунизма к научному социализму Маркса в начале 1881 г. пережило кризис.

Зима 1881 года является началом марксизма Плеханова.

Именно с 1881 г., после своего письма в редакцию „Черного Передела", он начинает переоценивать все народническое наследие с точки зрения марксизма, и вся его литературная и научная работа в ближайшие два года была направлена на изживание остатков былого народничества.

С 1881 г. Плеханов выступает как марксист.

В. Ваганян.

Смерть страха смерти, как итог моей полемики с тов. М. Н. Покровским.

„Словом, для человека, осмелившегося разоблачать идеализм богдановской школы, сравнение с Фейербахом наказание явно недостаточное. Такого человека нужно в порошок стереть, с грязью смешать. И вот, тов. Степанов предпринимает доказать, что я даже не фейербаховец" и т. д.

М. Н. Покровский — „Под знаменем марксизма" № 1, стр. 142.

„Тов. Степанов... не может подойти к вопросу иначе, как с точки зрения индивидуального страха смерти и индивидуального бессмертия. И это чрезвычайно характерно для всей защищаемой им концепции. Махистское миросозерцание, с пережитками которого в самом себе, быть может, борется тов. Степанов бессознательно, воображая, что борется со мной,—в основе своей индивидуалистично... Если тов. Степанов в своей статье изживает остатки махизма, в нем еще сидящие, то этому факту я могу только порадоваться...".

М. Н. Покровский, там же, стр. 160.

В своем ответе мне („Под знаменем марксизма", № 1, стр. 142), тов. М. Н. Покровский старается перевести нашу полемику на рельсы, покатившись по которым она сразу утратила бы литературный характер и превратилась бы в беспринципную перебранку двух разобиженных и уязвленных в своем литературном самолюбии теоретиков. Если бы я пошел по этому пути, в продолжении полемики появлялось бы все больше очень язвительных, независимо от их основательности, выпадов, и оставалось бы все меньше теории. Существо спора скрылось бы от читателей, полемика дала бы, ровным счетом, нуль.

Но у меня нет желания выходить из боя посредством таких диверсий, и еще меньше оснований утрачивать самообладание.

Тов. Покровский с первых же страниц своей статьи строит свою аргументацию следующим способом: „добросовестный критик"—в некоторых случаях он подчеркивает слово „добросовестный" для непонятливых читателей—должен был бы подойти к делу так то, а Степанов применяет такие-то приемы. Или: „Прямых подлогов нет. Уличить тов. Степанова в том, что он выдумал (подчеркнуто у тов. Покровского. *И. С.*) цитату, нельзя" (стр. 145). Но только потому

нельзя уличить, что Степанов действует по известному методу известного меньшевика Дана.

Тов. Покровский сильно ошибся в расчетах, если он думал, что я последую его примеру и по поводу его статьи вспомню о столь же известных полемических методах не менее известного меньшевика Мартова.

Не стоит заниматься такими пустяками. И никогда не надо утрачивать самообладание и самоуважение.

Наша полемика дала уже достаточный материал: „Очерк истории русской культуры" тов. Покровского, его же статьи в журнале „Под знаменем марксизма" в № 9—10 за 1922 год и в № 1 за 1923 год, моя статья в № 11—12 за 1922 год, содержат все необходимое для того, чтобы читатели самостоятельно разобрались в деле и попутно ответили на этический вопрос: кто из нас добросовестный полемист и кто бессовестный, кто применяет подлоги, прямые или косвенные, и кто нет, кто похож на Дана или Мартова и т. д. Сейчас я ограничусь чисто фактическими исправлениями.

Тов. Покровский упрекает меня в том, будто я замалчиваю все места, в которых он упоминает о земных корнях религии. Нет, в своей статье (№ 11—12, стр. 98, 102, 103, 106) я отмечаю целый ряд таких мест в „Очерке" тов. Покровского и показываю, что недостаточно найти земное ядро причудливых религиозных представлений,—что метод Маркса требует чего-то иного, большего. Все новые ссылки тов. Покровского на „Очерк"—многие из них приведены уже мною—снова показывают, что в разных местах он вспоминает и о „земном ядре" религиозных представлений,—но и только.

В своей статье я несколько раз повторяю слова: „В начале была идея", которые в наивно-откровенной форме изображают метод историков-идеалистов, и заключаю их в кавычки. Тов. Покровский уверяет, будто этими ковычками я гипнотизирую читателей и привожу их к убеждению, что эти слова принадлежат самому тов. Покровскому. Неужели же тов. Покровский воображает, что нашу полемику станут читать такие простоватые и малограмотные читатели, которые способны приписать тов. Покровскому столь упрощенную общую формулировку? А затем я предложил бы читателям посмотреть, что получилось бы, если бы я оставил указанные слова, не выделяя их из своих положений ковычками. Ковычки приходится ставить здесь точно так же, как если бы какой-либо современный автор в соответственных случаях процитировал слова: „Природа не знает скачков".

На стр. 109—110 (№ 11—12 „Под знаменем марксизма") я на ряде цитат показываю, что очень недавно и по тов. Покровскому выходило, что „объективный корень религии—культ предков". Очень прошу читателей сопоставить с этими страницами то, что отвечает мне

тов. Покровский на стр. 146—147 своей статьи (в № 1). Конечно, при этом оказывается, что у „добросовестного и внимательного читателя" приведенные мною из тов. Покровского места не вызовут никакого недоразумения, и что Степанов просто „следует похвальному примеру Дана". А суть, насколько можно понять тов. Покровского, сводится к тому, что я играю на мнимой двусмысленности терминов „первобытный" и „древнейший"; между тем, по уверениям тов. Покровского, и „шельский период и поздний неолит относятся к первобытной культуре". А затем идут очень красноречивые строки о том, как Степанов терроризирует своим грозным тоном читателя, способного спутать понятия „первобытный" и „древнейший".

Спор решается очень просто: обычным, установившимся словоупотреблением. Обращаюсь к Липперту, „Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Aufbau", т. I. Страницы 37, 47, 66, 82 и др. обрисовывают „первобытного человека" (Urmensch), человека „первобытной эпохи" (Urzeit) как существо, применяющее в качестве орудий только палку и камень, которых он еще особо не приспособляет к функциям орудия.

Но Липперт во многих частях сильно устарел. Обращаюсь к очень свежей работе,—капитальнейшей из новых работ по этому предмету, существующих на русском языке,—к Обермайеру, к его книге „Доисторический человек", законченной в оригинале в 1912 году. На стр. 254 мы читаем: „...мы должны были бы, однако, заглянуть на много тысячелетий назад, обратиться к первобытным периодам развития человечества, к тем временам, когда наши отдаленные предки жили в девственном лесу и в пещерах, и изготовляли необходимые для них орудия с немалым искусством из бесформенных кусочков камня, из дерева или из рога. Но как иначе, спрашивается, можем мы проникнуть в основу их психологии, как не путем сравнения этих первобытных людей с первобытными, дикими племенами современного мира? Мы прекрасно понимаем, конечно, как трудно предпринять подобное сравнение. К сожалению, исследователи слишком часто забывали, что современные бушмены и австралийцы не могут считаться настоящими первобытными людьми (подчеркнуто, как и дальше, мною. *И. С.*); что они представляют уже натуры весьма сложные, видоизмененные своеобразно, в течение тех тысячелетий, которые они прошли с настоящих первобытных эпох. Весьма крупные заблуждения могут возникнуть, если без всякой критики считать пещерных обитателей ледникового периода вполне отвечающими по образу мыслей и по духовной жизни современным огнеземельцам и папуасам" и т. д.

Действительно, кто-то, но едва ли читатель, жестоко, безнадежно напутал и запутал вопрос, до чрезвычайности расширив и растянув понятие „первобытный". Как его ни растягивать, до „большой семьи" с достаточно развитым земледелием не добраться, если только не отшвырнуть установившуюся терминологию. Ужасно бестолковый этот Степанов!

Очень много места (стр. 150, 151 и в других местах) посвятил тов. Покровский доказательству того бесспорного положения, что марксист должен считаться с „природным фактором", с „природными предпосылками" человеческой истории. Он не видит, или не хочет видеть, что положения длинной цитаты из I т. „Капитала", которую он приводит на стр. 150, представляют развитие все той же мысли, которую Маркс выразил словами Петти и которую я усиленно выдвигаю в своей статье („Под знаменем марксизма", стр. 94—97): „Земля—мать всего материального богатства, труд—его отец". Не желая видеть этого, тов. Покровский пишет: „Как издевался бы надо мною тов. Степанов, если бы это я написал, что в основе общественного разделения труда лежат естественные, природные, внеисторические условия!". Не мог бы издеваться хотя бы по той причине, что хорошо помню контекст, в котором Маркс приводит цитату из Петти, и еще более по той причине, что я решительнейшим образом указал на природную, доисторическую основу исторического человека. Я очень ясно выразил это, напр., в следующем месте своей статьи: „Биологический страх уничтожения начинает переходить в социальный, родовой страх уничтожения, поскольку Naturmensch, „дитя природы", вещество, полученное от природы, уже превращается посредством труда в „общественный продукт", создаваемый „определенной формой общества" (стр. 96). И, кстати, так как эта цитата еще потребуется нам, я немного продолжу ее: „этот страх по своим проявлениям представляет прямую противоположность физиологическому, шкурническому „страху смерти".

Затем тов. Покровский приводит из Энгельса ряд цитат, из которых следует, что можно было бы, пожалуй, предположить „дообщественные" корни религии, и что в основе неправильных представлений о мире „лежит, по большей части, лишь отрицательно экономическое" (стр. 152).

В Энгельсе этих цитат мы узнаем автора „Происхождения семьи" и т. д., и относятся они приблизительно к тем же годам, как „Происхождение семьи". Он писал там (стр. VIII по нем. изд. 1918 г.): „Согласно материалистическому пониманию истории, производство и воспроизводство непосредственной жизни является в последнем счете определяющим моментом истории. Но само это производство двоякого рода. С одной стороны, производство средств существования, предметов питания, одежды, жилища и необходимых

для этого орудий; с другой стороны—производство самого человека, продолжение рода; общественные учреждения, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обуславливаются обоими родами производства: ступенью развития, с одной стороны, труда, а с другой—семьи. Чем менее развитым остается еще труд, чем ограниченнее количество его продуктов, а потому и богатство общества, тем более преобладающим представляется господство половых связей над строем общества".

Мы уже давно признали, что „отрицательная экономика" в истории семьи погребовалась Энгельсу только потому, что в его время не было достаточных этнографических материалов. А если в истории религии мы все снова и снова скользим в эту сторону, то опять-таки потому, что этнографические материалы все еще недостаточны, и в большинстве случаев неудовлетворительны, что, пожалуй, еще важнее [1]). Но мы уже давно чувствуем какие-то дефекты в „натуралистических" историко-религиозных объяснениях.

Вот пример. Следом за указанными выше цитатами из „Анти-Дюринга" и переписки Энгельса тов. Покровский приводит (стр. 152—153) цитату из Кунова: „В действительности не явления внешней природы, как, напр., молния, гром, землетрясение, буря, ливень и т. д., а его (первобытного человека) собственная природа, его возникновение, развитие и исчезновение, и, прежде всего, смерть,—вот что раньше всего пробудило в человеке чувство страха и зависимости и выдвинуло таинственные загадки перед его примитивной способностью мышления".

Так как я перевел Кунова и в предисловии к переводу отметил, какой большой шаг в истории религии представляет его работа, то тов. Покровский, естественно, уничтожает меня этой цитатой: как такое Степанов хвалит Кунова за то самое, за что разносит тов. Покровского.

[1]) Материалы относительно первых, зачаточных ступеней религии неудовлетворительны, попорчены, фальсифицированы, сознательно или несознательно, при самом собирании. В общем историки культуры придерживались двух диаметрально противоположенных точек зрения. Одним кажется, что зародышевые формы религиозных эмоций они открывают уже в мире животных. Напротив, другие убеждены, что религиозная жизнь—специфическая особенность человека. Но и те и другие обычно просто исходят из предвзятого тезиса и просто хотят во что бы то ни стало иллюстрировать его. Первые—если „всякое дыхание хвалит господа", если религиозная жизнь началась уже на низших ступенях развития, уже в животном мире,—хотят убедить, что религия неистребима и неискоренима из души человеческой. А вторые в сущности стараются доказать, что человек без религии превращается в скота. Такая тенденция ясно сквозит, напр., у Обермайера, в несколько иной форме—у Липперта, в раньше названной его работе. Смелее и объективнее других историков культуры подходит к вопросу старик Леббок. Для него религия—очень поздний продукт человеческого развития.

Очень просил бы тов. Покровского посмотреть мое предисловие ко второму русскому изданию книги Кунова, помеченное октябрем 1921 года, т.-е. написанное за год до начала нашей полемики. С первых строк предисловия я говорю: „При новом просмотре сделались заметней некоторые пробелы и слабые места у Кунова. Дикарь у него уж как-то очень по современному приходит к представлениям о существовании души, предаваясь размышлениям над явлениями смерти. Все посредствующие звенья у Кунова опущены".

Если я прямо,—повторяю, за год до начала полемики с тов. Покровским,—отметил несостоятельность таких объяснений у Кунова, они нисколько не выигрывают в убедительности, когда их теперь повторяет тов. Покровский.

Любопытно, что, как отмечает тов. Покровский, он приводит эту цитату именно из 2-го издания Кунова, в предисловии к которому я прямо выдвинул это место, как слабое, не выдержающее критики. Читатели легко представят себе, каких слов наговорил бы по моему адресу тов. Покровский, если бы со мной случился такой пассаж: если бы я с победоносным видом выдвинул против него положения, им уже давно и самым недвусмысленным образом отвергнутые.

На стр. 155—158 тов. Покровский обвиняет меня в „маленьком усовершенствовании" цитаты из „Л. Фейербаха" Энгельса и двух тезисов Маркса о Фейербахе.

Одно „усовершенствование" заключается в том, будто я, сократив цитату, хотел утаить от читателей, что у Энгельса речь идет не собственно о личном бессмертии, а всего лишь о бессмертии души,—о представлениях относительно этого бессмертия.

До сих пор не вижу, что выигрывает тов. Покровский, восполнив цитату. По-прежнему остается одно: положительным несчастием считалось не то, что человек умирает, а то, что он умирает не целиком, а оставляет душу, которая продолжает существовать.

Теперь о собственно „усовершенствованиях". По словам тов. Покровского, Степанов „второй обрубок энгельсовского текста совершенствует, дополнив одно слово, пропущенное в переводе Плеханова, и переведя это слово совершенно произвольно". Речь идет о слове langweilig, которое передано у меня словом „удручающий", вместо слова „тоскливый", „скучный", „докучливый" и т. п. Здесь, видите ли, Степанову „приходится над текстом Энгельса произвести некоторые дополнительные операции".

В таких же ловких операциях обвиняет меня тов. Покровский по отношению к 6 и 7 тезисам Маркса о Фейербахе: там слова „religiose Gemüth" я, по словам тов. Покровского, привел без кавычек, имеющихся у Маркса, и тем самым искусно исказил смысл.

Словом, выходит, что Степанов—фальшивомонетчик от литературы.

Мне стыдно, когда я вижу подобные обвинения. Однако, как увидит читатель, не за себя стыдно...

В № 11—12 „Под знаменем марксизма", стр. 108, я писал, что только „отрыв от Москвы" дал мне возможность написать свою статью. Действительно, всю свою статью я написал буквально в вагоне. Приходилось пользоваться литературой, которую я захватил с собой. А по приезде, спешно выправив статью и сверив с оригиналами некоторые не совсем толково переведенные цитаты, я немедленно сдал статью в редакцию.

Со мной было только одно издание книжки Энгельса о Фейербахе: издание Петербургского Отделения Госиздата, выпущенное в 1920 году под названием: „От классического идеализма к диалектическому материализму". В свое время я сравнивал его с оригиналом, и оно произвело на меня удовлетворительное впечатление. Да я и теперь нахожу, что перевод сравнительно удовлетворительный.

И вот на стр. 13 этого издания стоит злополучное „удручающее представление о личном бессмертии", а на стр. 46—47 стоит „религиозное чувство" без всяких кавычек в обоих тезисах (6 и 7) Маркса.

Обращаюсь к 5 немецкому изданию книжки о Фейербахе, выпущенному в 1910 году. На стр. 63 в тезисе шестом religiose Gemüth без кавычек, в тезисе седьмом—в кавычках.

Я не помню, проверял ли тезисы по немецкому тексту. Но всякий признает, что очень легко было просмотреть, что в одном случае „религиозное чувство" в ковычках, а в другом—без ковычек. Или тов. Покровский скажет теперь, что „религиозное чувство" тезиса седьмого употреблено в специфически Фейербаховском смысле, а тезиса шестого—в совершенно общем смысле? Контекст таков, что разница словоупотребления совершенно неуловима, и, насколько я знаю, до сих пор марксисты применяли оба тезиса в их общем значении. Я и теперь думаю, что надо быть очень оригинальным марксистом, чтобы, признавая правильность этих тезисов по отношению к специфически Фейербаховскому религиозному чувству, отвергать их значение по отношению к религиозному чувству „вообще" (сравн. мою статью в № 11—12 „Под знаменем марксизма", стр. 90, а также 87—89). Плохо же дело, которое с ковычками держится и падает.

Между прочим, тов. Деборин в № 1 „Под знаменем марксизма" (стр. 39), обратившись к шестому тезису Маркса, берет „религиозное" чувство тоже в совершенно общем, а не в том специфическом и ограниченном значении, которое хочет придать ему тов. Покровский.

Кстати сказать: в прекрасных статьях тов. Деборина о Фейербахе, написанных в четырех последних книжках „Под знаменем марксизма", читатели найдут богатый и превосходно систематизированный материал, который поможет им самостоятельно разобраться в теоретическом споре между мною и тов. Покровским. Усиленно рекомендую читателям пробежать хотя бы стр. 35—41 статьи тов. Деборина в № 1 журнала за текущий год и затем сопоставить с ними, с одной стороны, мою статью в № 11—12 за прошлый год, а с другой стороны—основные положения тов. Покровского в его статье (№ 9—10 журнала за прошлый год) и в его „Очерке истории русской культуры". Это сильно уяснит положение.

Тов. Покровскому очень хочется изобразить меня вульгарным марксистом, который, видите ли, не понимает, что у „каждой идеологии есть своя внутренняя логика". И в той моей статье в „Молодой Гвардии" (№ 4—5), с которой собственно и начался наш спор, и в моем „Очерке развития религиозных верований" найдется достаточно иллюстраций относительной „автономности" идеологий. Но я не думаю, чтобы тов. Покровскому удалось на этом отвести внимание читателей. Сравнив главу VII моей статьи (№ 11—12 „Под знаменем марксизма") с соответствующими местами „Очерка" тов. Покровского и его последней статьей, читатель быстро убедится, что историко-религиозные построения тов. Покровского исходят не из относительной автономности уже возникших религиозных представлений, не из „внутренней логики" их дальнейшего развития, а из их первичности. („Если при помощи религии человек раньше всего „понял" мир, то всякое дальнейшее понимание приходило к нему через религию". „Ehéha объясняет нам происхождение не только наследственности власти, но и самой власти". Я показал в своей статье, что это—не случайные обмолвки, а система, метод объяснений.)

С очень победоносным видом тов. Покровский возражает мне, что „допущение внеобщественных, дообщественных корней религии отнюдь не противоречит марксистской методологии".

Тов. Покровский рассчитывает на то, что читатель совершенно забыл мою статью. А, ведь, в ней мною показано, что историк культуры принимает, напр., половые эмоции как факт,—но в то же время показано, какое место занимает этот факт в построениях историка-марксиста (стр. 88—89, стр. 100—примечание). Сравн. также то применение, которое нашло у меня положение Петти: „земля—мать материального богатства" и т. д.

Во что хотел бы превратить тов. Покровский полемику между нами, лучше всего показывают крепкие местечки, поставленные мною эпиграфом. Число их можно было бы увеличить в несколько раз.

Что сказать о них? Да только одно: конфузные эти местечки—для кого-то из нас двоих, очень конфузные.

Все дело, видите ли, в том, что тов. Покровский разоблачил идеализм „богдановской школы", и за то его, тов. Покровского, „нужно

в порошок стереть, с грязью смешать", что и предпринято Степановым.

Читатель начнет ворочать и переворачивать мою статью,—и с удивлением увидит, что в ней нет ничего подобного противопоставлению приемов тов. Покровского приемам „добросовестных критиков", и ничего подобного очень тонким указаниям, что тов. Покровский не применяет „п р я м ы х" подлогов. Нет ничего подобного ни в моей прежней, ни в теперешней статье,—и все это сказано в статье тов. Покровского по моему адресу. Это, очевидно, и означает, что именно Степанов хочет тов. Покровского „с грязью смешать".

А затем при чем тут вообще „богдановская школа"? И неужели тов. Покровский не подозревает, что при желании пользоваться его методами можно было бы установить значительную близость к „богдановской школе" историко-религиозных воззрений самого тов. Покровского? В самом деле, тов. Покровский настойчиво указывает на их родство с воззрениями Кунова и отмечает только, что он пришел к этим воззрениям совершенно самостоятельно, много раньше, чем появились соответствующие работы Кунова. Обращаюсь к „Теории исторического материализма" Бухарина, и на стр. 194—195 нахожу совершенно убедительное доказательство большой близости Кунова с Богдановым.

Но я не стану применять таких приемов, специфическое предназначение которых может быть только одно: запутать существо спора, свести его с собственно литературной колеи. Передо мной встает только один вопрос: не слишком ли далеко заходят в использовании такого полемического приема, не превращают ли Богданова в человека, от которого исходит большинство идей, являющихся в действительности общим достоянием марксизма? Я уже показал это в своей прошлой статье на одном частном примере (стр. 111—112, примечание).

Заключительные строки статьи тов. Покровского—я привел их в виде второго эпиграфа—вызовут сострадательную усмешку у всякого читателя. Ведь, ничем не замазать того факта, что не я, а именно тов. Покровский писал (№ 9—10, стр. 124): „Груды золота церковных ризниц,—это овеществленный страх смерти миллионов верующих... Отрицание страха смерти еще долго будет делом борьбы—борьбы все более и более успешной, по мере все новых и новых побед науки над смертью. И только о к о н ч а т е л ь н а я победа вырвет почву из-под ног у религии навсегда" (сравн. там же, стр. 118, 122—123). И, напротив, в нашей полемике не тов. Покровский, а именно я решительнейшим образом указал, что громадное количество несомненнейших явлений не укладывается в рамки индивидуального страха смерти, который до сих пор только и знал тов. Покровский в своих историко-религиозных построениях (см. мою статью в № 11—12, стр. 95—97).

Только в последней статье (№ 1) тов. Покровский начал говорить о коллективном страхе. Но и здесь у него это не страх за коллектив, а страх индивидуального уничтожения, умноженный и посредством заражения усиленный, возведенный в высшую степень количеством индивидуумов (паника!). Страх же за коллектив, о котором я говорил, имеет совершенно иное значение и практически направлен противоположно индивидуальному страху.

Что касается строк об изживании Степановым „остатков махизма, в нем еще сидящих", равно как и сближения Степанова с богдановской философией, то это—положительно „сюжет, достойный кисти Айвазовского" или пера будущего историка нравов, которые могли бы вторгнуться в нашу современную литературу, но, надо полагать, останутся вне области литературы. Ни в моих печатных произведениях, ни в переписке с приятелями, ни в частных разговорах никогда не было и не могло быть ни строки, ни фразы, которую было бы возможно истолковать в смысле моего тяготения к махизму или к богдановской философии. Не могло быть потому, что—и, казалось мне, тов. Покровскому это очень и очень небезызвестно—я чрезвычайно далек от этих философских течений, да, впрочем, и от философии вообще.

Плохим же, слабым же должно быть дело тов. Покровского, если ему не остается ничего иного, как без всяких оснований поднять крик: „Да чего тут со Степановым разговаривать! Это—махист! Ату его!".

Спешу оговориться: хотя я и поставил эти слова в ковычки, они тов. Покровским еще не написаны и, конечно, не будут написаны. Читатели видят, что урок с „добросовестными критиками" и „непрямыми подлогами" не прошел для меня даром.

Строки из статьи тов. Покровского, взятые у меня эпиграфом, ясно показывают, что он, в сущности, и сам теперь чувствует, что ему в корне приходится пересматривать свои историко-религиозные воззрения, которые представляют инородный элемент в его голове, думающей в общем по-марксистски. Только пораженный на смерть страх смерти, как основа историко-религиозных построений, может искать прибежища в таких лубочных приемах.

Как я уже писал (№ 11—12, стр. 108—109), несчастие тов. Покровского в том, что он не имел времени пересмотреть свои лекции, читавшиеся зимой 1897—1898 годов и положенные в основу глав „Очерка", трактующих развитие религиозных воззрений. В своем теоретическом развитии, как я указывал в той же статье, он, действительно, шел оригинальным путем. В то время, как большинство из нас, уже сделавшись марксистами, подходили к конкретному историческому материалу, тов. Покровский углублением в конкретный исторический материал приводился к материалистическому по-

ниманию истории. Приходил к нему, но еще не пришел в 1897—1898 годах.

Понятны достоинства и недостатки того и другого пути. У нашего брата, большинства марксистов, дело обстоит еще ладно, пока речь идет об общих, очень широких рамках историко-материалистического понимания, но зато наша машина очень часто дает „холостой ход". И, в этом—великая наша печаль, которая с особой остротой чувствуется теперь, когда на одних общих местах далеко не уедешь. Но надо мужественно и прямо признать это.

Товарищи, которые развивались таким путем, как тов. Покровский, основательнее, свежее, фундаментальнее, чем мы. Но зато у них от домарксистского периода их исторического развития могут сохраняться такие не проветренные марксизмом области, как историко-религиозные воззрения тов. Покровского.

Это тоже надо мужественно и прямо признать. И не следует сердиться на товарищей, когда они открыто укажут на это, не следует утрачивать самообладание. Надо общими силами разрабатывать теорию, соединяя положительные стороны работников одного рода с положительными сторонами работников другого рода.

Мы не сдвинемся с места, мы закостенеем, если в критике наших теоретических воззрений станем видеть личную обиду для нас. Это нам не к лицу.

И. Степанов.

История религии на холостом ходу.

(Нечто вроде резюме).

„Плохо же дело, которое с ковычками держится и падает".
И. Степанов.

Тов. Степанов не принял моего вызова—анализом фактов доказать неправильность моих взглядов на происхождение религии. Из некоторых мест его последней статьи как будто следует даже, что происхождение религии — вопрос вообще неразрешимый, которого лучше, пожалуй, и не ставить. „Материалы относительно первых, зачаточных ступеней религии неудовлетворительны, попорчены, фальсифицированы, сознательно или несознательно, при самом собирании", говорит он. „А если в истории религии мы все снова и снова скользим в эту сторону („натуралистических" объяснений. *М. П.*), то опять-таки потому, что этнографические материалы все еще недостаточны и в большинстве случаев неудовлетворительны, что, пожалуй, еще важнее".

История мидян темна и баснословна... Но если по отношению к истории мидян мы можем ограничиться констатированием этого факта, то по отношению к истории религии мы не имеем права этого сделать. Нельзя семьдесят пять лет громить религию, а на семьдесят шестой заявить: а впрочем, откуда вся эта штука взялась, чорт ее знает. Это значило бы уж слишком облегчить попам их работу. Да и сам товарищ Степанов не принимает, конечно, в серьез того скептического отношения к возможности вскрыть корни религии, которое он пытается обосновать ссылкой на недостаток источников. В примечании к одному из выписанных мест он находит же возможным примкнуть к совершенно определенному решению вопроса. „Смелее и объективнее других историков культуры подходит к вопросу старик Леббок. Для него религия—очень поздний продукт человеческого развития".

Это чрезвычайно характерно, конечно, что ближайшим соседом „богдановской школы" оказывается английский банкир, умерший членом палаты лордов. Столь высоко марксистским является это учение, что его мог всю жизнь исповедывать один из столпов английского либерализма. И это вовсе не случайность: сходство Леббока и Богданова в том, что они оба индивидуалисты. Только один индивидуалист английский, простецкий—он из своего теоретического индивидуализма сделал практический вывод, записавшись в либеральную партию. А другой индивидуалист российско-интеллигентский, путаный, воображающий искренно, что можно быть индивидуалистом в теории и социалистом на практике.

Но противоречия теории с практикой вовсе не уполномочивают нас относиться с пренебрежением и к самой теории. А. А. Богданов, если брать его, как человека книжки, отвлекаясь от его политической практики, несомненно один из крупнейших русских мыслителей. Это очень сильный и тонкий ум, который, конечно, было бы наивно пытаться ловить на мелких логических промахах внутри его теории. Она, эта теория, представляет собою законченное, стройное целое, где все слажено одно с другим—и где есть только один недостаток: теория эта не материалистическая. Учение Богданова о происхождении религии, как неразрывной части „авторитарной" идеологии, понимаемой индивидуалистически (осмысление господства индивидуума, отца-патриарха, в семье), само неразрывно связано со всем его миропониманием [1]).

[1]) Это миропонимание превосходно охарактеризовано в последней статье тов. Бухарина („Вестник Соц. Академии", кн. 3-я). „В русской литературе,—говорит он,—психологизация марксизма была очень последовательно проведена в сочинениях А. А. Богданова. По Богданову даже техника это не вещи, а уменье людей работать при помощи определенных условий труда, их, так сказать, психологический тренаж" („К постановке проблем теории исторического материализма", стр. 8).

Вот почему совершенно неубедительным является „отвод" тов. Степанова от непричастности его к философии. Я, говорит он, „чрезвычайно далек от этих философских течений (махизма или богдановской философии. *М. П.*), да, впрочем, и от философии вообще".

Тов. Степанов может не сознавать, что он говорит прозой—но от этого еще он не заговорит стихами. Раз он усвоил себе богдановскую постановку происхождения религии, он в этом пункте—богдановец, а если он—богдановец непоследовательный, то это не к его чести, как мыслителя. И, мне кажется, в своей статье („Ответ т. Степанову"), я показал достаточно ясно, как несознаваемый самим тов. Степановым (об этой бессознательности у меня прямо сказано) „махизм" привел его к чисто индивидуалистической трактовке вопроса о бессмертии. А так как он эту трактовку приписал мне, то я не только имел право, но, в интересах своего читателя, обязан был выяснить, откуда эта трактовка взялась.

Коснувшись одной „обиды" тов. Степанова—назвали богдановцем (кстати: почему это значит „свести" спор „с собственно литературной колеи"? Разве Богданов—вне литературы?), ликвидируем и другую. „Степанов фальшивомонетчик от литературы", с горечью жалуется читателю мой противник, объясняя, что „усовершенствовал" Маркса и Энгельса вовсе не он, а какой-то анонимный переводчик „Л. Фейербаха", трудом которого неосторожно воспользовался тов. Степанов, когда он в вагоне, волнуясь и спеша, писал свое опровержение моих антимарксистских ересей.

На этом месте я, по мнению тов. Степанова, должен сгореть от стыда—и, должно быть, отречься от своих взглядов: иначе, если не иметь в виду столь решительного успеха, невозможно понять, зачем тов. Степанов детально останавливает внимание читателя на казусе, едва ли не более для него конфузном, чем самостоятельное „усовершенствование". В самом деле, подумайте только: решив уничтожить противника при помощи слов и словечек, человек берет текст, т.-е. слова, не самого Маркса и не самого Энгельса, на которых он шлется, а какого-то анонима, даже не потрудившись проверить—а не наврал ли аноним-то („я не помню, проверял ли тезисы по немецкому тексту")? И это делает человек, который составил себе славу переводами Маркса и Энгельса—человек, который имеет некоторое право думать, что его-то самого проверять читателю не придет уже в голову.

Я не знаю, чего тут больше: презрения к своему читателю или презрения к своему противнику? Спешка, на которую ссылается тов. Степанов, могла бы еще в некоторой—довольно малой—степени объяснить инцидент, иди речь о содержании воззрений Маркса и Энгельса по сему поводу. У тов. Степанова сохранилось впечатление, что анонимный перевод „сравнительно удовлетворителен", и он, дорожа временем, этого впечатления не проверил. Но убийственно именно то, что речь идет не о содержании, не о существе дела: тов. Степанов охотно признает, что у Энгельса говорится именно о бессмертии души, а не о личном бессмертии вообще, то есть, что по содержанию к нашему с ним спору это место никакого отношения не имеет, но вот есть словечко „удручающий", которым можно ушибить противника. Словечко и подано под соответствующим соусом—ан, оказывается, Энгельс этого словечка никогда не говорил!

То же и с „тезисами". Сравнивать религиозную концепцию Фейербаха и мою историко-религиозную по содержанию, по существу может только человек, никогда Фейербаха не читавший. Я нарочно назвал концепцию Фейербаха „религиозной", а свою „историко-религиозной": ибо суть фейербахианства в том и состоит, что у Фейербаха религия—вне истории. Обратимся к тому авторитету, на который ссылается сам тов. Степанов—к А. М. Деборину и его статье в № 1 „Под знаменем марксизма". „Материализм Фейербаха,—говорит этот автор,—принимает абстрактный, т.-е. анти-исторический характер. Историческая область,—говорит Энгельс,—для него вообще неудобна и неуютна" [1]).

Сравните с этим мой подход к религии—чисто исторический, и вы поймете, что говорить о моем фейербахианстве попросту смешно. Позвольте привести еще пару цитат, иллюстрирующих это положение. Я утверждаю, что человечество идет к безрелигиозности и, в лице пролетариата, начинает ее достигать. Теперь сравните с этим „предварительные тезисы к реформе философии" Фейербаха, тезис 49. „Религия—это только аффект, это чувство, сердце, любовь (а отнюдь не страх смерти! *М. П.*), т.-е. отрицание, растворение бога в человеке. Будущая философия, как отрицание теологии, отвергающее (?) истинность религиозного аффекта, является—поэтому—утверждением религии. Антропотеизм—это религия, осознавшая сама себя, религия, понимающая сама себя" [2]).

*

Я отнюдь не ручаюсь за полную точность и этого перевода, но для меня тут важны не слова, а понятия. Совершенно ясно, что ни о каком изживании религии, ни о какой тенденции развития религии к безрелигиозности у Фейербаха не может быть и речи. Фейербах хочет использовать „религиозное чувство", ликвидировав бога: если вспомнить, что французское масонство допускает в свою среду атеистов, мы поймем, что эти два понятия, „атеизм" и „религиозность",

---

[1]) „П.З.М.", 1923, № 1, стр. 40.

[2]) Курсив везде по переводу т. Бессонова, у которого, к сожалению, масса опечаток.

отнюдь не исключают друг друга. Это только нам, воспитанным в традициях православной церкви, может казаться, что отрицание религии и отрицание бога—одно и то же.

Гипотеза страха смерти, как психологической базы для религиозной идеологии, тем, между прочим, и ценна, что она расширяет понятие религии далеко за пределы теизма. В критикуемой тов. Степановым главе „Очерка истории русской культуры" я обстоятельно рассказываю, как зарождаются боги. И первым из этих б о г о в был, действительно, б о г-п р е д о к. Если смешивать р е л и г и ю и т е и з м, то богдановская теория будет верна. Быть может, все дело именно в этом смешении? Быть может, А. А. Богданов и тов. Степанов, говоря о „происхождении религии" на довольно поздней ступени развития, на самом деле имеют в виду именно п р о и с х о ж д е н и е бога? Тогда между нами в этом пункте нет разногласия. Но кому же, маломальски осведомленному в истории религии, придет в голову возможность столь элементарной путаницы у людей, специально занимающихся этим предметом. Ведь это почти то же, что смешивать „пути сообщения" и „железные дороги". Представьте себе двух людей, которые спорят об этом сюжете. Один говорит о путях сообщения при Иване Грозном, а другой с азартом возражает: помилуйте, какие тут пути сообщения, когда первая железная дорога в России построена в 1830 годах [3])...

Но если это так, то „богдановской школе" можно многому еще научиться из презираемого ею „Очерка истории русской культуры", и ее адептам можно только рекомендовать—читать и перечитывать эту элементарную книжку. И не я окажусь тогда на одном уровне с Фейербахом, а они много ниже этого уровня, ибо Фейербах-то отлично знал, что религия и теизм не одно и то же. Ошибка Фейербаха в том, что он смотрит на религию с н и з у в в е р х и видит „истинную религию" в п е р е д и себя—тогда как истинные корни религии лежат далеко п о з а д и нас, еще в з о о л о г и ч е с к о м прошлом человека.

Для Фейербаха эта точка зрения была бы абсолютно неприемлема, ибо он между этим зоологическим прошлым человека и его настоящим он кладет такую же непереходимую пропасть, как и тов. Степанов. Я долго не мог понять, откуда тов. Степанов взял свое почти абсолютное противоположение „зоологического прошлого" человека и его „дальнейшей истории". Следившие за нашей полемикой читатели, конечно, помнят это место („Под знаменем марксизма", № 11—12, стр. 33—34), где тов. Степанов едва соглашается признать,

[3]) Может показаться, что в эту элементарную ошибку впадал и Плеханов, как будто также доказывавший, что религии без бога быть не может („Еще о религии"). Но это было бы недоразумением: суть плехановской аргументации в том, что „религии, чуждой анимистических представлений, быть не может". А это совсем не одно и то же!

что природа отпустила человека в историю „все же не без мозгов в голове". Но перечитывая „Основы философии будущего" (благо только что вышел перевод тов. Бессонова, откуда и берутся цитаты) я открыл источник. Прочтите § 53, начинающийся словами: „Человек ни в каком случае не отличается от животных одним только мышлением. Скорее все его существо отличает его от животных" и т. д. Там вы найдете, что не только мозг, но „даже сам желудок человека, как бы презрительно мы на него ни смотрели, является не животной, но человеческой сущностью в силу своей универсальности, не ограниченной определенным родом питательных средств".

Вся эта цепь мыслей является не только не марксистской, но и не м а т е р и а л и с т и ч е с к о й: полезно напомнить об этом тем, кто пользуется юбилейной литературой о Фейербахе, всячески затушевывающей пережитки идеализма в его системе—пережитки, так безжалостно вскрывавшиеся Энгельсом.

Можно себе представить, какие большие глаза сделал бы Маркс, узнав, что эту фейербаховскую мысль—„человек всем существом отличается от животных"—использовали для иллюстрации его тезиса об „общественных отношениях". Человек хотел исправить Фейербаха—ан его самого исправили по Фейербаху!

Думается, нет ни малейшей надобности утомлять долее читателя доказательствами, что п о с у щ е с т в у, п о с о д е р ж а н и ю, между концепцией Фейербаха и концепцией Кунова-Покровского нет ничего общего [1]). Очевидно, что и все в тезисах Маркса, что относится к существу воззрений Фейербаха, последне-названной концепции отнюдь не касается: то есть, что из Маркса могли быть заимствованы только с л о в е ч к и для ущемления Покровского.

Полемика словечками—давний грешок некоторых русских марксистов, еще со времен Плеханова: грешок, которым они заразились от немецких профессоров.

Коль скоро недочет в понятиях случится,
Их можно словом заменить.
Словами диспуты ведутся,
Из слов системы создаются;
Словам должны вы доверять:
В словах нельзя ни иоты изменять [2]).

[1]) Кстати о Кунове. Тов. Степанов очень хотел бы уверить читателя, что он давно освободился от своего увлечения этим автором—в области истории религии, конечно—и он приводит цитату из своего предисловия ко 2 изд. „Происхождение религии", критикующую Кунова. За что? За н е п о л н о т у его объяснения. Но тут же дальше целиком перепечатано предисловие к 1 изданию, со всеми комплиментами м е т о д у Кунова—которые я выписал. Ясно, что свое м е т о д о л о г и ч е с к о е расхождение с Куновым т. Степанов заметил только теперь.

[2]) „Фауст", перевод Холодковского.

Обвинять индивидуально тов. Степанова за этот родовой грех, было бы несправедливо. Но если уж подражать немецким профессорам, так до конца: „в словах нельзя ни иоты изменять". И пример тов. Степанова ясно показывает, как опасно отступать от этого рецепта: отпала у человека буквально „иота"—ковычки, и должен он теперь ссылаться и на вагон, и на то, что перевод плохой попался, и что редакция торопила и т. д., и т. д. А главное, что с восстановлением ковычек уже никак не проведешь знака равенства между Покровским и Фейербахом. Плохо дело, которое ковычками держится и падает!..

Но если вагон и все прочее объясняет нам исчезновение ковычек с того места у Маркса, где они должны быть, то, к сожалению, тов. Степанов не устанавливает связи между условиями транспорта и появлением ковычек там, где им быть не должно. Тов. Степанов любезно соглашается, что фраза „в начале была идея", которую он всякий раз приводит в ковычках, когда начинает характеризовать мои историко-религиозные воззрения, на самом деле мне не принадлежит. Но, с очаровательной невинностью говорит он, эти слова „в наивно откровенной форме изображают метод историков-идеалистов", к числу которых т. Степанов относит и меня.

Но, ведь, это же прелесть! Я вас считаю идеалистом—и поэтому приписываю вам всю чепуху, которую городят идеалисты. Представьте себе, что я, имея, как видели читатели, достаточное основание причислять тов. Степанова к фейербахианцам [1]), попросту взял бы в ковычки фразу: „все существо человека отличает его от животного" и стал бы походя ее употреблять, характеризуя взгляды тов. Степанова,—да еще умолчал бы при этом, что фраза взята у Фейербаха. А на негодование тов. Степанова ответил бы, что я же, ведь, считаю его фейербахианцем—чего же он обижается, если я ему приписываю фейербаховские мысли? Совершенно ясно, что он это делает для отвода глаз, дабы „перевести нашу полемику на рельсы, покатившись по которым она сразу утратила бы литературный характер" [2]).

Я должен признаться, что подобных примеров в литературе, я, действительно, не встречал. В этом смысле полемика, если бы я ее продолжал, действительно, рисковала бы „утратить литературный характер". Мне остается только настоятельно напомнить читателю, что, когда он встречает у тов. Степанова цитату в ковычках, это отнюдь не значит, что тов. Степанов действительно цитирует автора, о котором в данный момент идет речь. Это могли бы подумать только „простые

[1]) Во избежание недоразумения ,прибавляю: столь же бессознательным фейербахианцем, как в вопросе о бессмертии он бессознательный махист. Что тов. Степанов давно не перечитывал Фейербаха и, во всяком случае, не имел его с собою в знаменитом „вагоне", это ясно всякому читателю его статей.

[2]) Слова в ковычках принадлежат тов. Степанову.

и малограмотные читатели": сильно же грамотные знают, что ковычки появляются и исчезают там, где это нужно нашему автору для ущемления его противников.

Не буду останавливаться на всем, что у тов. Степанова может „отвести внимание читателей" от сути спора. Не малую роль тут играют и филологические изыскания по поводу значения случая „первобытный"—при чем тов. Степанова, как магнитом, все тянет к русским переводам с немецкого. Приведенные им цитаты, впрочем, ровно ничего не уясняют. Допустим, что Urmensch у Липперта, действительно, прилагается только к неандертальскому человеку и его сверстникам — из этого еще ничего для понимания термина „первобытная культура" в русском словоупотреблении не следует. Гораздо проще обратиться для этого к русским руководствам и справочным пособиям на этот счет, составленным компетентными людьми—хотя бы к статье „Первобытная культура" в словаре Граната (т. 31-й, стр. 461—474, ст. проф. Максимова; том вышел во время войны). Оттуда тов. Степанов может узнать, что к „первобытной культуре" причисляется не только неолит, но и бронзовый век—как ее заключительная стадия [1]).

Но останавливаться на всех этих подробностях значит только помогать затемнению сути дела. А эта суть дела заключается в том, что по существу вопроса о происхождении религии тов. Степанову сказать нечего. „На одних общих местах далеко не уедешь", с грустью констатирует он в конце своей статьи. К сожалению, его совет „мужественно и прямо признать это" обращается к кому угодно—только не по надлежащему адресу. Но, чтобы заменить „общие места" конкретной истиной, надо копаться в том самом „недостаточном этнографическом материале", прикасаться к которому он пока тщательно избегает. Между тем, только когда мы выйдем из района „общих мест", наша полемика получит объективно-полезное для наших читателей значение. Вот почему продолжение спора я и предпочел бы отложить до того момента, когда „этнографический" (а по теперешнему состоянию науки отчасти уже и археологический) „материал" появится на сцене. Тов. Степанову явно неохота — или недосуг, что ли—его перебирать. Посмотрим, может быть охота или досуг найдутся у тов. Бухарина.

Пока же этого не случилось, чтобы не работать „на холостом ходу", приходится держаться единственной научной гипотезы, какая была выставлена: что в основе религиозной психологии лежит страх смерти. Если бы не существовало явления, называемого смертью, религия не могла бы возникнуть. Тут в буквальном смысле слова „мертвый держит живого". И пока мы ре-

[1]) Ср. также „Первобытная археология" проф. В. А. Городцова, стр. 82—83 по изд. 1908 г. Тут к „первобытной" археологии отнесен и железный век.

ально не преодолели смерть, до тех пор костлявая рука мертвеца будет лежать на нашем плече. Самое большее, чего мы можем достигнуть, это доказать, что это мертвец, то есть нечто, реально не существующее. Но это индивидуалистический, и потому весьма несовершенный способ доказательства: мы это видели на примере российской интеллигенции. Массы верят только фактам, а не словам и словесной аргументации. И в этом массы правы—ибо верно сказал тов. Степанов: „в начале было дело". Реальное завоевание есть материальное завоевание: говорить об „умственном" (ковычки не относятся к т. Степанову) преодолении смерти могут только не марксисты, а, в лучшем случае, фейербахианцы.

Но, конечно, было бы грубым упрощением говорить, что страх смерти объясняет нам не только возможность возникновения религии, а и самое религию, во всей ее сложности. Тов. Степанов опять прав, когда он упрекает Кунова в отсутствии у того посредствующих звеньев. Но когда люди начинают искать эти посредствующие звенья, когда я, вслед за Эйльдерманом, нащупываю одно из этих звеньев в связи первобытной религии с первобытной медициной, тов. Степанов, вместо того, чтобы приветствовать это отрадное, казалось бы, для него явление, обдает нас с Эйльдерманом самым величественным презрением. За что? За то, что мы нарушили его безмятежный покой среди общих мест?

Но тов. Степанов волен погружаться в Нирвану и воображать, что на шестом десятке лет учиться уже нечему, остается только учить других. Мы не будем больше тревожить его общие места, и ставим на этом точку в нашей полемике на страницах „Под знаменем марксизма". Но это отнюдь не значит, чтобы кто-нибудь из нас— я надеюсь, что могу говорить во множественном числе — отказался от первой обязанности всякого, нащупавшего истину: копать марксистским заступом все дальше и дальше, пока мы не сможем сказать — „нам гипотез не нужно, потому что мы знаем факты".

М. Покровский.

От редакции: тов. Степанов, ознакомившись с напечатанной в этой книжке статьей тов. Покровского, прислал в редакцию заявление следующего содержания: „Поскольку полемика между мной и тов. Покровским представляет теоретический интерес, она уже дала весь необходимый материал. Достаточен материал для выяснения и других вопросов, поставленных или затронутых полемикой. В виду этого я не возражаю против напечатания ответа тов. Покровского в одной книжке с моей статьей и отказываюсь от продолжения полемики".

Редакция, со своей стороны, считает полемику между тов. Покровским и тов. Степановым оконченной, в виду того, что точки зрения обоих авторов вполне выяснены.

К вопросу об общественно-необходимом рабочем времени.

Статьи т.т. Дволайцкого и Мендельсона об общественно-необходимом рабочем времени, как элементе теории стоимости Маркса, вызвали в кругах молодых марксистов живой интерес к этой проблеме. Обсуждение этого вопроса в одном из руководимых нами семинариев обнаружило, однако, что ошибочные воззрения на этот вопрос т. Мендельсона содействуют неправильному восприятию и пониманию теории стоимости Маркса. Это убеждает нас в необходимости продолжить начатую дискуссию.

Рассуждения и формулировки т. Мендельсона носят неясный и противоречивый характер. Он иллюстрирует, однако, их примером, который придает его точке зрения ясность и определенность.

Обращаясь к статье т. Дволайцкого, т. Мендельсон заявляет: „Поскольку т. Дволайцкий возражает против такого понимания экономической версии, по которому источником стоимости на-ряду с трудом является также общественная потребность (ср. Франк), мы, разумеется, с ним вполне согласны... Это положение (тезис о примате производства. *В. М.*) может быть использовано в числе прочих аргументов против признания общественной потребности самостоятельным фактором, образующим стоимость"...

Итак, запомним: т. Мендельсон согласен, что потребность не является на-ряду с трудом фактором, образующим стоимость!

Подтверждается ли это, однако, тем истолкованием экономической версии общественно-необходимого рабочего времени, которое он развил в статье?

Попытаемся разобраться в этом вопросе на примере с лампочками! Общественное технически-необходимое рабочее время на производство лампочки равно одному часу. Итак, стоимость лампочки— один час. Обществу необходим для удовлетворения его потребностей 1 милл. лампочек. Допустим, однако, что произведено 2 милл. лампочек. Отразится ли это на стоимости каждой лампочки? — Раньше, чем обратиться к рассмотрению ответа Мендельсона, попытаемся найти ответ у Маркса. В X-й главе III-го тома „Капитала", на которую ссылается т. Мендельсон, Маркс дает ясный ответ на этот вопрос.

Уже определение рыночной стоимости проливает яркий свет на такой вопрос. „Рыночная стоимость,—говорит Маркс,—должна рассматриваться, с одной стороны, как средняя стоимость товаров, произведенных в данной отрасли производства, с другой стороны, как индивидуальная стоимость товаров, которые производятся при средних условиях данной отрасли и которые составляют значительную массу продуктов последней“ („Капитал“, т. III, ч. I-я, стр. 157, изд. 1922 г.). Мы имеем здесь ясное утверждение, что стоимость зависит от уровня техники тех предприятий, которые производят наиболее значительную часть товаров данного рода, т.-е. общественно-необходимое время рассматривается здесь с технической точки зрения. В дальнейшем (стр. 161 — 166) Маркс подробно развивает это свое определение рыночной стоимости в духе технической версии. На протяжении этих страниц имеется лишь одно место, дающее повод сомнениям. Ввиду этого приведем его полностью: „Если количество товаров на рынке больше или меньше, чем спрос на них, то имеют место отклонения рыночной цены от рыночной стоимости. И первое отклонение состоит в том, что при недостаточном количестве товары, произведенные при худших условиях, регулируют рыночную стоимость; при избыточном количестве это делают, наоборот, товары, произведенные при наихудших условиях; таким образом рыночную стоимость определяет одна из двух крайностей, хотя, если судить только на основании отношения между массами, произведенными при различных условиях, должен был бы получиться иной результат. Если разница между спросом и количеством продуктов, составляющих предложение, значительнее, то и рыночная цена будет значительнее отклоняться вверх или вниз от рыночной стоимости“ (стр. 164, разрядка наша). Эта цитата дает повод для утверждений, что, по мнению Маркса, при несоответствии между спросом и количеством товаров происходит соответственное изменение рыночной стоимости. Стоит, однако, обратить внимание на начальную и заключительную фразы, выделенные нами разрядкой, чтобы стало до очевидности ясным, что под словами „регулируют рыночную стоимость“ Маркс подразумевает отклонение цен от рыночных стоимостей, а не изменение стоимостей. Совершенно бесспорным это становится в свете следующих за этим рассуждений. Маркс дает там прямой ответ на поставленный выше вопрос о стоимости лампочек в случае перепроизводства. „Раз определенный товар произведен в количестве, достаточно превышающем общественную потребность, часть общественного рабочего времени оказывается растраченной попусту, и вся масса товаров представляет тогда на рынке гораздо меньшее количество общественного труда, чем то, которое в нем действительно заключается... Поэтому эти

товары должны быть уступлены ниже их рыночной стоимости, а часть их и вовсе не может найти покупателей“ (стр. 166, разрядка наша). Вообще, основным лейтмотивом всей главы является утверждение Маркса, что „отношение между спросом и предложением объясняет лишь уклонения рыночных цен от рыночных стоимостей“ (стр. 169).

Итак, по Марксу рыночная стоимость каждого товара совпадает с общественным технически-необходимым рабочим временем его производства. Если количество товара превышает потребность, то величина стоимости каждой единицы товара, продолжающей быть общественной потребительной стоимостью, останется неизменной; произойдет лишь отклонение рыночных цен от рыночных стоимостей. Если, благодаря такому падению цен (но не стоимостей), общество окажется способным поглотить всю массу товаров, то, несмотря на продажу всех товаров, будет реализована лишь часть совокупной стоимости последних. Если же общественная потребность не поддается расширению, то часть товаров перестанет вовсе или на время представлять собою общественные потребительные стоимости, а значит — вовсе или на время потеряет стоимость. В большинстве случаев происходит, однако, временная потеря стоимости,—вернее не потеря, а переход потребительной стоимости и стоимости в потенциальное состояние. Ибо через некоторое время, благодаря сокращению производства и рассасыванию наличных товаров, — эти запасы могут приобрести снова потребительную стоимость и стоимость [1]). Подобные явления имеют место во время кризисов. В период кризиса происходит не падение рыночных стоимостей, как это полагает Мендельсон, но падение цен ниже стоимостей. Вследствие этого часть трудовой стоимости не реализуется.

Таким образом величина потребностей не может влиять на размер, высоту стоимости каждой единицы тех из произведенных товаров, которые сохраняют свойство обществ.-потребительных стоимостей. Количественное соответствие потребностям является лишь условием и предпосылкой стоимости, но не фактором, устанавливающим ее размер; при нарушении такого соответствия происходит отклонение цен от стоимостей. Благодаря такому отклонению цен, часть стоимостей (цен производства) не будет реализована, и соответственные предприниматели потерпят убытки. При недостатке товаров произойдет, наоборот, превышение ценами стоимостей (цен производства) и предприниматели получат добавочную

[1]) Величина этой вновь приобретенной стоимости будет определяться технически-необходимым рабочим временем воспроизводства товара в соответственный момент. Рыночные же цены могут опять-таки отклоняться от этой стоимости.

прибыль. В результате, в следующей фазе воспроизводства произойдет сокращение (или—соответственно—расширение) производства, восстановится количественное соответствие предложения и потребностей и рыночные цены снова сблизятся с рыночными стоимостями (соответственно—ценами производства). В случаях падения цен восстановление соответствия между рыночными стоимостями (ценами производства) и рыночными ценами может быть достигнуто также путем введения изобретений и понижения общественного технически необходимого рабочего времени. Таким образом, на основе технической версии общественно-необходимого времени можно понять как состояния равновесия капиталистической системы, так и механизм восстановления этого равновесия в случаях его нарушения.

Применяя все сказанное к примеру с лампочками, можно с уверенностью утверждать, что производство 2 милл. лампочек при потребности в 1 милл. не отразится на высоте, размере рыночной стоимости каждой лампочки. Произойдет лишь отклонение, падение рыночных цен и в продажной цене будет реализована лишь часть часовой стоимости лампочки. Если же размер потребностей не поддается расширению даже при падении цен, то, кроме того, потребительная стоимость и стоимость части лампочек перейдет в потенциальное состояние. Если потребность в этом запасе появится скоро и они не успеют еще „морально" устареть, то приобретут снова потребительную стоимость и стоимость. Падение цен ниже рыночных стоимостей (цен производства) явится причиной убытков для предпринимателей; это приведет к соответственному сокращению производства или к введению технических усовершенствований, понижающих общественно-необходимое время, и таким образом соответствие между предложением и платежеспособными потребностями будет восстановлено.

Все это является совершенно бесспорным и очевидным. Тов. Мендельсон умудрился, однако, найти иное решение вопроса. По его мнению произойдет понижение стоимости каждой лампочки. Так как общественная потребность эластична, то она может расшириться до способности поглотить 1,5 или даже все 2 милл. лампочек. „Очевидно,—заявляет Мендельсон,—расширение это может иметь место лишь за счет понижения индивидуальной стоимости отдельной электрической лампочки... Индивидуальная стоимость каждой лампочки выразится соответственным частным $^2/_3$ или $^1/_2$ час".

Так ли это однако? Здесь явная ошибка, явное заблуждение!

Прежде всего, совершенно очевидно, что если принять утверждение Мендельсона, то, вопреки цитированным его заявлениям, общественная потребность становится на-ряду с трудом фактором установления высоты стоимости. Ведь сам т. Мендельсон доказывает, что при нарушении соответствия между

предложением лампочек и потребностью в них стоимость каждой лампочки понизится! Как может он после этого отрицать, что потребность является фактором установления высоты стоимости?! Ведь отклонения спроса от предложения являются при анархическом капиталистическом хозяйстве почти постоянным явлением!

Не менее важно следующее. Тов. Мендельсон, сам того не понимая, отождествляет стоимость и цену. И, действительно, если при всяком уклонении количества товаров от потребности в них происходит соответственное изменение стоимости, то стоимость и цена становятся ведь тождественными. Тов. Мендельсон в своем примере с лампочками даже не вспомнил о существовании такой категории, как рыночные цены. Напрасно! Если бы он об этом вспомнил, то понял бы, что его рыночные стоимости, изменяющиеся в соответствии с величиной потребностей, являются в действительности не рыночными стоимостями, а рыночными ценами. Ему стало бы тогда ясно, что не стоимость лампочки упадет до $^1/_2$, $^2/_3$ часа, а цена ее упадет до такой части ее стоимости, и остальная часть стоимости лампочки не будет реализована. Рассуждения Мендельсона в примере с лампочками совершенно аналогичны рассуждениям Шрамма в его примере со столами и фактически подтверждают рассуждения Франка. И тот факт, что тов. Мендельсон отмежевывается от Шрамма и Франка, свидетельствует лишь о противоречивости его взглядов.

Тов. Мендельсон полагает, что его истолкование общественно-необходимого времени (в отличие от точки зрения тов. Дволайцкого) применимо для уразумения не только состояний равновесия капиталистической системы, но и состояний выхода из равновесия. Мы полагаем, что как раз, наоборот,—это истолкование затемняет и искажает механизм, поддерживающий подвижное колебательное равновесие капиталистической системы. Ибо основным механизмом поддержания этого равновесия является колебание цен вокруг стоимостей. Закон стоимостей реализует свое стихийное регулирование равновесия капиталистической системы лишь в результате постоянного отклонения цен от стоимостей. Такие отклонения, влияя на уровень прибыли, приводят к перераспределению производительных сил между отраслями народного хозяйства. Всякое нарушение пропорциональности в распределении производительных сил вызывает отклонение цен от стоимостей, т.-е. от цен производства. Эти отклонения, вызывая соответственное сокращение или расширение производства,—восстанавливают тем самым равновесие.

Если же стать на точку зрения тов. Мендельсона, то механизм поддержания равновесия затемняется. Если стоимость отражает в своем уровне всякое нарушение соотношения спроса и предложения, то отклонения цен от стоимостей вовсе не происходит. Но тогда, ка-

ким же образом закон стоимости регулирует равновесие капиталистической системы? Мы знаем, что тов. Мендельсон попытается доказывать, что он вовсе не отрицает технической версии общественно-необходимого рабочего времени, что он пытался лишь установить связь между технической и экономической версиями. Следует, однако, подчеркнуть, что то истолкование этой связи, которое он развил в статье, фактически растворяет техническую версию в экономической. И что бы он ни твердил о признании технической версии — пример с лампочками решен в духе чистой „экономической" версии.

* * *

Все эти рассуждения тов. Мендельсона имеют целью выяснить место так называемой экономической версии в теории стоимости Маркса. Совершенно бесспорно, конечно, что у Маркса помимо очерченного нами понятия общественно-необходимого рабочего времени имеется и иное. Этого никто из сторонников технической версии не отрицает, как это отметил и тов. Мендельсон. Вопрос, однако, в том, в каком отношении это иное понимание общественно-необходимого труда является „дополнением" технической версии и какое место оно занимает в теории стоимости Маркса. Наиболее важными для выяснения этого вопроса являются рассуждения Маркса в 37 главе III тома (стр. 175 — 177, изд. 1923 г.). Маркс употребляет там слова „необходимое рабочее время" для формулировки того положения, что „для удовлетворения определенной общественной потребности необходимо столько-то рабочего времени". При этом он отмечает, что „необходимое рабочее время приобретает здесь иной смысл". Вся ошибка тов. Мендельсона заключается в том, что он не вдумался в это заявление Маркса и стремится фактически доказать, что техническая и экономическая версии — две различные, взаимно друг друга дополняющие, формулировки одного и того же понятия. Между тем, как это правильно отмечает Татиана Григоровичи в своей интересной книге — „выражением „общественно-необходимое рабочее время" Маркс обозначает, во-первых, рабочее время, технически необходимое для производства товаров, и, во вторых, совокупную массу рабочего времени, которое общество должно употребить на производство каждого вида продуктов, чтобы произвести их в количестве, необходимом для удовлетворения потребности в нем. Это не два различных определения для одного и того же понятия, как это иные думают, но, наоборот, одно и то же название для двух различных понятий" [1]).

[1]) Tatiana Grigorowici, „Die Wertlehre bei Marx und Lassalle", Wien 1910. (II Kapitel: Der Begriff der gesellschaftlich notwendigen Arbeit als des wertbildenden Faktors bei Marx und Lassalle.)

В каком же смысле это второе понимание необходимого рабочего времени „есть лишь более развитое выражение закона стоимости вообще"? Маркс дает на это ясный и недвусмысленный ответ, опровергающий в корне точку зрения тов. Мендельсона. „При нарушении этой пропорции не может быть реализована стоимость товара... Пусть, например, бумажных тканей (в примере Мендельсона — лампочек. *В. М.*) произведено непропорционально много, хотя во всем этом продукте, в этих тканях реализовано лишь необходимое для этого при данных условиях рабочее время. Но вообще-то на эту особую отрасль затрачено слишком много общественного труда, т.-е. часть продуктов бесполезна. Поэтому весь продукт удастся продать (т.-е. по рыночным ценам. *В. М.*) лишь так, как если бы он был произведен в необходимой пропорции (т.-е. ниже трудовых стоимостей". *В. М.*)" (стр. 176, разрядка наша). Мы видим, таким образом, что о случае, аналогичном нашему примеру с лампочками, Маркс говорит лишь о неминуемом отклонении цен от стоимостей, но отнюдь не об изменении самих стоимостей. Второе понимание необходимого рабочего времени в этом смысле является „более развитым выражением закона стоимости", что устанавливает то условие, при котором рыночная стоимость (цена производства) реализуется полностью в продажных ценах и при нарушении которого происходит отклонение рыночных цен от рыночных стоимостей. Вместе с тем, это второе понимание выражает еще то очевидное положение, что всякое нарушение соответствия между общей массой труда, затраченной на производство товаров данного рода, и массой труда, пропорционально необходимой для удовлетворения потребностей, может лишить вовсе или на время часть товаров потребительной стоимости и, значит, стоимости. В этом, и только в этом, — смысл второго понимания необходимого рабочего времени.

Но в таком случае очевидно, что поскольку речь идет о величине стоимости того или иного товара и общественно-необходимом рабочем времени, как факторе, устанавливающем эту величину, — необходимое рабочее время может и должно пониматься только как технически-необходимое [1]).

В. Мотылев.

[1]) Т. Мендельсон в подтверждение своих взглядов ссылается на некоторые места „Теории прибавочной стоимости". Мы просмотрели внимательно в немецком тексте соответственные места, указанные т. Мендельсоном, — и констатируем, что ничего даже напоминающего взгляды т. Мендельсона — там нет. Размеры статьи нам не позволяют доказать это текстуально.

ТРИБУНА.

Трусливый оппортунизм будущего профессора.

Вообще говоря, нет храброго оппортунизма; но тот вид оппортунизма, о котором мы сейчас намерены сказать несколько слов,—самый трусливый и поэтому самый нехороший вид его.

Когда оппортунист выступает с „пересмотром"—он всегда изображает дело так, будто он и есть самый что ни на есть подлинный выразитель ортодоксальной точки зрения. Но бывает еще и другая разновидность оппортунизма, который новый пересмотр покрывает именем какого-нибудь авторитетного ученика-ортодокса. Этот вид ревизии самый нелепый, какой только мыслим, ибо это есть ревизионизм эпигонов.

Сегодня с особой пышностью процветает такой эпигонский оппортунизм; его отличительная черта—невежество и самовлюбленность; впрочем, это не две черты, а одна черта о двух пунктах.

Яркий образец такого эпигонского опортунизма—статья Н. Бабахана „Марксизм и ленинизм" [1]).

На самом деле: на что рассчитана самая постановка вопроса? На тот довольно простодушно-хитрый расчет, что спина Ленина так широка, а протаскиваемый оппортунизм так незначительно-ничтожен...

Но широкая спина Ленина—плохое прикрытие для ревизионизма.

Много чего можно доказать цитатами из Ленина, но ни единого слова во всем его творчестве, ни единого шага во всей его практике ни один остроумный и наблюдательный оппортунист не найдет в пользу ревизии Маркса.

Ленин—самый последовательный и твердокаменный марксист, и не только нельзя себе представить Ленина без марксизма, но и марксизм нельзя себе представить иначе, чем его представляет, проповедует и воплощает на практике Ленин. Ведь мы потому и коммунисты, что считаем это положение незыблемым!

Стоит только слегка пробежать историю марксизма (для этого совсем не надо коптеть в И. К. Пр.), чтобы убедиться, что всякое отклонение от этой основной линии развития революционного марксизма приводило к уходу от марксизма, к отрицанию марксизма.

[1]) „Правда" № 76 от 6 апреля 1923 г.

Можно в приливе чувства восхищения предложить отныне марксизм не называть именем Маркса (который, по весьма компетентному мнению компетентнейшего тов. Осинского, „потускнел от того, что мы имеем Ленина"), а переименовать его в ленинизм (благо у нас такая страсть к переменам имен), но суть остается той же самой: марксизм—это и есть учение, лучшим и гениальным носителем которого является Ленин и иным марксизм нельзя и представить, иным он никогда и не бывал.

Но так думают лишь такие простаки, как мы с вами, читатель, а будущие умные люди думают совсем по-иному: „Ленинизм—вот знамя, под которым организуются отряды международного пролетариата для боя за коммунизм. Учение ленинизма насквозь пропитано марксизмом; марксизм есть база для ленинизма, ленинизм без марксизма не мыслим (но марксизм без ленинизма мы имеем—это все реформисты, ревизионисты, социал-демократы. Это „чистые" марксисты, сторонники догмы, противники диалектики и высохшие мумии теории, это все те, которые не приняли пролетарской диктатуры. Это „марксисты"—минувшего этапа развития рабочего движения)",—поздравляю вас, читатель, с тем чрезвычайно утешительным открытием, которое сделал нам сей будущий ученый: Шейдеман, Дан, А. Тома, К. Каутский, Турати и т. д., и т. д. все оппортунисты всех стран и являются марксистами, а мы с вами—ленинисты, мы—нечто лучшее, современнее, усовершенствованнее, чем эта разбитая машина вчерашнего дня—марксизм.

Что же такое этот марксизм, который Н. Бабахан так легко сдал оппортунистам на вечное владение.

„Вожди пролетариата—Маркс и Энгельс—выполнили свою историческую роль тем, что, осмыслив место, роль и назначение пролетариата в жизни, истории человечества, дали гениальную теорию, но только теорию. Они были теоретическими предтечами будущих кровавых классовых битв, но не вожаками этих битв". Нужно полагать из этого отрывка, что и оппортунисты в некотором роде являются „нашими" предтечами, ибо, ведь, они же, по мнению Н. Бабахана, и суть подлинные „чистые марксисты".

Шейдеман—предтеча Ленина! Вот уже чего Ленину никогда не снилось!

Или, по мнению Н. Бабахана, Шейдеман выражает „вчерашний день" марксизма, а Ленин его „сегодня"?—тогда еще того хуже! Тут мы имеем просто,—как бы это выразиться помягче,—не... знание того простого, известного всем факта, что все оппортунисты, от Каутского и до Шейдемана, потому и оппортунисты, что „извратили", „изолгали", „фальсифицировали, опошлили" (эпитеты все принадлежат самому плохому ленинисту—В. И. Ленину) учение Маркса.

Как же это он, оставив „марксизм" вообще на растерзание оппор-

тунистам, подходит к Ленину? „Марксизм вообще сменился революционным марксизмом. Эпоха господства теории уступила свое место эпохе господства практики, или скорее—полного сочетания и сращения теории и практики. Это сочетание теории Маркса и практики пролетарской революции мы имеем в учении Ленина".—Вы думали, наивный читатель, что марксизм до сего был един, будущий ученый вам доказал, что он хотя и един, но есть достояние оппортунизма; но наш будущий ленинист не унимается, он думает нас освободить и от другого нашего предрассудка: вы простодушно полагали (под влиянием „простого марксизма"), что марксизм есть результат непосредственной практики пролетарского движения, что марксизм—это самое практическое из всех существовавших до него учений, а оказалось—наоборот.

Мы с вами, читатель, были так непросвещены, что думали, будто и в старой социал-демократии и в наше время существовали марксисты, которые стояли на точке зрения борьбы классов, неизбежности завоевания государственной власти рабочим классом и диктатуры пролетариата, и не марксисты, которые принимали многое из того, что говорил Маркс, только не эти три злополучных пунктика.

Но теперь мы от „будущего" ученого узнаем, что как раз последние и были настоящие марксисты: „Постольку-поскольку они приняли учение Маркса о путях развития капитализма, о классовой структуре современного общества, о неизбежном переходе от капитализма к социализму—они и есть марксисты в этом смысле, т.-е. для определенного периода развития социалистической мысли и рабочего движения. Это продукт относительно „мирного" развития капитализма, эпохи парламентской борьбы буржуазной демократии, тред-юнионов и т. п. атрибутов капиталистической организации общества. Социал-демократия и есть отражение этой полосы развития человеческой истории. Она есть продукт производства теории без революционной практики".

А куда делись революционные марксисты? Куда делся Ленин, Люксембург, Каутский до его отхода от марксизма, Плеханов? О других наш автор забыл, вспомнил лишь о Плеханове: „Плеханов—это теория Маркса на русской почве. Плеханов—это целая полоса господства теории и отсутствие и даже боязнь подлинной революционной практики. Плеханов—неотъемлемая часть минувшего „теоретического" этапа в развитии движения пролетариата. Этого не следует упускать из виду многим нынешним поклонникам Плеханова „вообще".

Что такое Плеханов? Это—пятно невежества на мозгу у Н. Бабахана. Иначе, как мог бы он наговорить такую бездну пустяков в одном-двух предложениях. Что такое подлинная революционная практика? Борьба с народничеством, скажем, „подлинная революционная практика" или господство теории? И Бабахан думает очевидно последнее, однако Ленин (как мы сказали выше, очень слабый ленинист и гениальный марксист) думает иначе: он думает, что самое формирование (практика! дело!) русского марксизма было невозможно „без выяснения Бельтовым основ философского материализма" [1]). Да и кто сказал, что „подлинная революционная практика"—это только „кровавая гражданская война"? А подготовка к этой войне не подлинное дело? Сейчас Н. Бабахан так яростно ратует за гражданскую войну, за диктатуру пролетариата и еще за многие другие прекрасные вещи, а знает ли он (кажется, не мешало бы ему знать это), что эти все революционные идеи, прежде чем осуществлять, нужно было не только открыть и формулировать, но и защищать от нападения оппортунистов и внедрять в сознание сотням и тысячам Н. Бабаханов; знает ли он, что это самая подлинная практика?

Можно ли утверждать, будучи знающим человеком, будто Плеханов боялся „подлинной революционной практики"?

— Вы утверждаете,—говорил он народовольцам-эпигонам,—что единственно пригодный для революционеров путь—путь 1 марта. „А вот нам все кажется, что не мешало бы затратить свои силы на городскую революцию" и путем людей 93 года притти туда, куда мы не доедем, следуя лишь по пути людей 1 марта. Против русского деспотизма динамит недурное средство, но гильотина еще лучше".

Всякий знающий историю нашей революции и ее партии—Р. К. П. прекрасно понимает, что мы во всей нашей революционной практике следовали именно этому мудрейшему революционнейшему принципу: предпочитали гильотину, путь людей 93 года—динамиту—пути людей 81 года; знают так же, что и это последнее „недурное средство" находило себе недурное применение.

Нет, под флагом ленинизма оппортунизм не провезешь. Всякая попытка отдать Маркса и марксизм социал-шовинистам наших дней—прямой оппортунизм.

Гениальная могучая сила Ленина—в марксизме, и путь его есть путь, единственно мыслимый марксизмом; как нельзя себе представить не марксиста Ленина, так и нельзя представить себе Маркса в нашей обстановке иначе, как Лениным. Повторяю, в этом его грандиозное значение. Изучить Ленина надо, без него теперь ни один революционер не сделает ни одного шага, но изучить надо не для того, чтобы сдать Маркса и марксизм врагам рабочего класса, а для того, чтобы понять настоящим образом Маркса и марксизм, т.-е. чтобы сделаться еще лучшими марксистами.

И мы изучим Ленина, каждую строчку его трудов, каждую его мысль, изучим как марксисты,—подлинные, не фальсифициро-

[1]) Статья „Упразднить и т. д." в „Мысли", 1911 г., № 3.

ванные, революционные марксисты,—но изучим для того, чтобы бить оппортунизм всех видов и всяких толков.

Меня очень тревожит мысль, что же станет с марксизмом, если будущие профессора-марксисты уже теперь с легким сердцем начинают его дарить первым встречным прохвостам?

Нет! Не там нужно искать осуществление заветов Ленина, где их ищет Н. Бабахан.

Будемте марксистами до мозга костей, сделаем марксизм „шестым чувством" своим (как говорит т. Бухарин) и тогда мы будем теми, кому будет позволено носить имя „ученика Ленина".

Материалист.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ.

На путях изучения марксистской философии.

(К работе философского семинария А. М. Деборина Института Красной Профессуры.)

„Революция—акт зачатия творческих форм, созревающих в десятилетиях; после акта зачатия зачавшая временно блекнет; ее жизнь не в цветенье, а в приливе питающих соков к младенцу: в момент революции временно блекнут цветы перед нами процветших искусств; оболочка их вянет: так вянут лапиты беременной женщины; но в угасании внешнего блеска—сияние скрытой красоты; прекрасно молчание творчеств в минуту глаголющей жизни; вмешательство их голосов в ее бурную речь наступает тогда, когда речь будет сказана". Так под впечатлением наших дней современный поэт излагает старую мысль Гегеля о том, что сова мудрости вылетает только в сумерки. Но не в одной только области искусства, когда звенят мечи, молчат музы. Во всех областях идеологической деятельности момент революции есть не период созидания новых, а проверки и претворения в жизнь старых, уже созданных, идей и методов. Отражающие глубокие перемены в основании общества идеологические формы сами оказываются орудием рождения на свет новой общественной системы. Не одни материальные препятствия объясняют заторможения в дни революции темпа движения вперед научного прогресса. Революция втягивает в орбиту науки огромные, непочатые еще ею, слои населения. Напряженный поток теоретической мысли революционной партии направляется на бесконечное многообразие вновь открывшихся для применения его метода областей практической работы, оплодотворяет огромные пространства. И необходимо известное время на то, чтобы, впитавшись глубже в почву, революционная теория вызвала к жизни вместе с экстенсивным своим расширением и новое интенсивное углубление самой себя.

Марксистская теория возникает как необходимый спутник роста рабочего класса и отделения его от всех остальных классов общества. В руках пролетариата она является могучим орудием познания и изменения общественной жизни. Кульминационный пункт испытания и торжества ее есть революция. Она служит тараном, при помощи которого рабочий класс разрушает капиталистический мир, буржуазное государство, буржуазную философию. Ее основная задача в предреволюционный период есть по преимуществу критическая, разрушительная задача. Поэтому, между прочим, так мало было сделано в смысле действительного развития марксистской теории со времени Маркса до наших дней, если скинуть со счетов всякие „ревизии" и „дополнения" в ковычках. Конечно, здесь играли роль и недостаток теоретических сил, и классовое угнетение, тормозившие всякую возможность овладения знанием со стороны массы рабочих. Но все же и вышеуказанная причина имела свое значение. Сколь ни многие марксисты подпадали под

влияние буржуазной науки и культуры—все же был свой кадр мыслителей, который, однако, дальше обороны и нападения не шел. И это отвечало вполне требованиям времени.

Марксистская теория составляется из диалектического (Гегель) и материалистического (Фейербах, отчасти Гегель) метода исследования, обогащенного в изучении и критике капиталистического общества всем богатством французского социализма и английской политической экономии. Таким образом душу марксизма составляет его метод—логическое завершение и подлинное наследство немецкой идеалистической философии. Никто иной как Маркс лучше всего это выразил, когда хотел в особой работе поведать миру то рациональное, что заключено в Гегелевой „Науке логике". Марксовский „Капитал" умрет с капиталистическим обществом, марксовский метод диалектического материализма останется жить, как основной метод построения системы действительной общественной науки. Да и не только общественной. Понятно поэтому, что если до революции основное внимание пролетариата было сосредоточено именно на марксовской критике политической экономии, как выясняющей положение пролетариата в буржуазном обществе и пути низвержения последнего, то в момент революции на первое место выступает изучение марксова метода. Метод же, диалектическая логика есть основная часть и суть марксистской философии. Новые общественные условия создают новые общественные категории, которые не всегда мог предвидеть автор „Капитала", как бы гениален он ни был. Ориентироваться в бесконечно сложной действительности дает возможность знание не буквы учения, которая может стареть, а неувядающей, вероятно для многих еще поколений, методологии учения. Проникнуть в эту методологию — значит обезопасить себя от всей той уродливой путаницы во многих—и марксистских головах, которая возникает у нас столь часто на почве уродливой российской действительности сочетания элементов самого передового и самого отсталого обществ в мире. Таков смысл изучения марксистской философии в наши дни и этим объясняется стихийная тяга к ней многих и многих рабочих. Но не только этим.

Марксистская общественная наука и марксистская философия принадлежат пролетариату. Они—классовая наука и классовая философия. Что это значит? Не то, что каждый класс имеет свою особую науку и есть только классовая наука, но то, что каждый класс, отражая свое особенное положение в обществе, вносит в общечеловеческую науку и в общечеловеческую философию свои особые методы и принципы, усваивает из прошлого только природе его соответствующие начала и на них перестраивает современное ему знание. И чем объективно прогрессивнее класс – тем глубже он своими методами охватывает действительность и тем больше постигает истину. Его знание необходимо должно быть истинным, для того, чтобы быть способным претвориться в дело, чтобы результат труда соответствовал его цели. Марксистская методология отражает движение самой действительности, поэтому она выше буржуазной науки и философии. Поэтому она служит наилучшим орудием тактики пролетариата в момент революции. И поэтому, по гениальному, но мало понимаемому замечанию Маркса, „философия не может быть превращена в действительность без упразднения пролетариата, пролетариат не может упразднить себя без превращения философии в действительность".

Пролетарская философия живет не вне наук и действительности, держа первые в своей передней (Гайм о Гегеле) и возвышаясь над второй, а в них самих. Она—их душа и совесть. Душа, так как она их метод, совесть, так как она орудие их самокритики. Товарищи, отрицающие философию и противопоставляющие ее науке просто фетишизируют науку и теологизируют философию. Всем, кто с барабанным боем отрицает марксистскую философию, она отвечает просто тем, что она есть.

Но есть и еще одна причина, влекущая к философии в наше время [1]).

В философии марксизма пролетариат выдвигает не только новый принцип научного знания, но и осознает противоположность его другим идеологическим течениям, осознает себя как особую культурно-историческую силу, как класс. Перефразируя Гегеля, мы скажем, что философия пролетариата (та ее часть, которую мы могли бы назвать пролетарской социальной философией или философией истории) есть его общественное самосознание. Еще и поэтому с таким упорством в наше „критическое" время всеобщей переоценки ценностей влекутся рабочий и коммунист в аппартаменты „царицы наук", засаживаются иногда даже за трудно-проходимые, строгие, напоминающие по стилю готику, построения гегелевой логики.

В нашу революцию не только блестяще выдержал экзамен марксистский метод, он не только был экспериментально доказан, но революция дала огромный материал и для дальнейшей его разработки. Если диалектику и исторический материализм породил опыт великой французской революции (Гегель, Маркс), то развить их можно и должно прежде всего на изучении русской. Революция вскрыла такие глубокие пружины общественного бытия, дала такие блестящие примеры для исторических сопоставлений и такой богатый материал для изучения общественной идеологии, что осознать все это—дело целой эпохи. Вот на чем действительно, по настоящему можно изучать исторический материализм и марксистскую экономику!

Но, прежде чем приступить к этому, надо усвоить то, что уже создано, овладеть ариадниной нитью для дальнейшего изучения. И это огромная и важная работа. Прежде всего эту задачу изучения основ марксистской философии и ставит себе философский семинарий А. М. Деборина И.К.П. Работа идет второй год. Первый год—как и всегда в организационный период—оказался годом опытов. Первый семестр 1921—1922 уч. г. был посвящен французскому материализму, второй—Канту. Второй год уже весь посвящен Гегелю, его „Науке логике" с предварительным вступительным докладом по „Феноменологии духа". Опыт прошлого года показал, что в общем и целом такая программа верна. В окончательном виде для философского отделения Института она приняла следующий вид: на первом году—первый триместр—Спиноза, второй—французские материалисты, третий—Кант. Весь второй год по-прежнему Гегель. Таким образом достигается в течение первого года изучение трех основных направлений философской мысли — рационализма (в его связи с материализмом у Декарта и Спинозы), эмпиризма (в его материалистическом применении французской философией XVIII века, завершающей английскую научную эмпирическую философию) и критицизма. Канту уделен один триместр. Многим кажется, что это слишком короткий срок. Кант ведь столп буржуазной философии, а надо знать противника и основательно „преодолеть" его. Но преодолеть Канта—значит не что иное, как знать Гегеля. Погружаться же надолго в кантовскую схоластику менее всего рекомендовал еще Энгельс. Кантианство есть действительно типичная буржуазная философия. Соответственно положению самой буржуазии в нем вечно живет неразрешимый дуализм религиозного, постулируемого в нравственных целях, мира и научного, необходимого для технического прогресса, исследования, которое не может обойтись без материи. Кант—двуликий Янус буржуазной философии. И любопытно, что буржуазная мысль положительно не

[1]) Всякое количество, конечно, грозит перейти в качество. И когда в наших коммунистических учебных заведениях становится уж слишком много философов—это не прогресс, а скорее декаданс, отражающий известную леность мысли, влекущейся к прекрасным отвлеченностям от труда конкретного исследования. Действительное изучение философии (хотя бы Гегеля, без которого немыслимо никакое серьезное движение вперед), надеемся покажет этим товарищам и неосновательность их надежд и невозможность самой философии без обладания огромным конкретным материалом, вне этого материала развиваемой.

в состоянии в период своего господства возвыситься над Кантом—и своей собственной ограниченностью, подняться до Гегеля. Граница и данное есть суть кантовской философии, как становление и предел гегелевской. И если даже буржуазная философия и берется за Гегеля, то она видит лишь его шуйцу, извращенную в кантианском, либо еще в каком-нибудь упадочно-современном стиле. Она не видит духа Гегеля—его диалектики (ср. изумительную в этом отношении работу И. А. Ильина, написанную почти исключительно *словами* самого Гегеля, в которых, однако, с трудом, и то очень редко, можно отыскать Гегелевский *смысл*. Везде за гегелевскими словами торчат теологические уши самого Ильина). Поэтому мы, участники семинария, чрезвычайно обязаны А. М. Деборину именно прежде всего тем, что он сосредоточил центр тяжести нашего внимания на Гегеле, его методе.

Этот год весь прошел в изучении Гегеля, при чем особенное внимание вызвали следующие вопросы (нам приходится просто перечислить их, так как нет возможности изложить дискуссии в краткой статье): о начале в философии Гегеля, о диалектике в природе и обществе, об объективности качества, о понятии бесконечного, о становлении, как единстве бытия и небытия, о роли гегелевского количества в математике и естествознании, о предмете математики, о гегелевском понимании дифференциального и интегрального счислений, о предмете философии как науки и многие другие. В семинарии постоянно делались попытки связать гегелевские схемы с конкретной общественной действительностью и особенно с новейшими течениями и данными в области естественных наук (теория относительности, электрическая природа материи, не-Евклидова геометрия и понятия времени и пространства, современные теории качеств, диалектика в современной физике и т. д.).

Таков общий путь работ семинария—изучение и разработка гегелевской и на ее основе марксовской диалектики. Будущий год предполагается посвятить приложениям диалектического метода к общественным наукам — историческому материализму. В противовес буржуазному увлечению Кантом, пролетариат строит свое миропонимание, исходя из завершителя буржуазной философии Гегеля. Недаром писал Фейербах: „Завершением новой философии является гегелевская философия. Историческая необходимость и оправдание будущей философии связаны поэтому, главным образом, с критикой Гегеля". Не только с критикой Гегеля, но и с усвоением того разумного и истинного, что он дал. Всякая высшая ступень культуры покупается не отрицанием, а, говоря словами Гегеля, „*снятием*" прежней, усвоением ее и возвышением над ней. И не назад к Гегелю, а вперед через гегелевское наследство лежит дальнейший путь марксистской философии.

Ник. Карев.

Об Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.

В чем заключается задача столь мало еще известного ученым специалистам России и заграницы и еще менее ими используемого Института Маркса и Энгельса ? Что может он и что хочет дать исследователям, какие услуги может он оказать науке? Институт— как выражается тов. Рязанов, его основатель и организатор, в посвященной ему брошюре—ставит „себе целью создать хорошо оборудованную научную лабораторию, в которой научный исследователь мог бы при наиболее благоприятных условиях изучать генезис, развитие, распространение теории и практики научного социализма, революционного коммунизма, как он был создан и формулирован К. Марксом и Ф. Энгельсом". Но афоризм Гёте, что „в самоограничении лишь познается мастер", сохраняет свое значение не только там, где речь идет об индивидуумах. Так и Институт Маркса и Энгельса задачу которого на основании данного выше определения можно было бы видеть в теоретическом овладении всеми областями и проблемами, связанными с теорией и практикой социализма, т.-е. в *непосредственном приложении* марксизма ко всем этим областям и проблемам,—и сам Институт Маркса и Энгельса, подвергает существенному ограничению круг своей деятельности и своих задач.

Задача Института Маркса и Энгельса заключается конкретно не в приложении, а скорее в *определении*, фиксировании, установке границ, в возможно более систематическом построении марксизма, *данного* трудом жизни Маркса, как революционной и революционизирующей идеологии, обнимающей несколько научных дисциплин, как теории чрезвычайно универсального характера, распространяющейся на область философии, социологии, исторической науки, экономии, философии права и политики.

Необходимо исторически и систематически реконструировать Маркса, его теоретические и практические стремления и достижения, его научную и политическую карьеру на более широкой и реальной основе, которая облегчит более полное понимание, чем какое было достигнуто до сих пор со времени смерти Маркса в трудах самого Энгельса и затем, главным образом, ученых и публицистов германской социал-демократии, с Каутским и Мерингом во главе. Вот задача, на службу которой Институт Маркса и Энгельса хочет поставить свои вспомогательные средства и свои силы. Но, конечно, не в том смысле, чтобы следовало тормозить или препятствовать этим приложению руководящих идей Маркса и его метода мышления и исследования к новым фактам и областям, а затем и к дальнейшему развитию или же и к частичному преобразованию его теорий. При постановке своей задачи Институт Маркса и Энгельса исходит из следующего основного воззрения: чтобы выявить диалектический метод мышления Маркса, с его элементами разрушения и созидания, как наиболее могущественный идеологический стимул в процессе общественной трансформации, чтобы способствовать дальнейшей разработке марксизма и приложению теорий Маркса, необходимо стремиться возможно полнее и точнее воспроизвести и реконструировать в исторических рамках его теории всю его духовную работу в ее методе и в ее содержании.

К этой задаче приноровлено все внутреннее построение Института. Мы должны ограничиться самым сжатым описанием, имеющим целью лишь привлечь к Институту Маркса и Энгельса внимание русских марксистов, ибо упомянутая нами в начале заметки брошюра тов. Рязанова дает довольно обстоятельное описание Института, в целом, и имеющегося в его кабинетах материала, в частности. Центр Института образует *кабинет Маркса и Энгельса*. Здесь, в нескольких несгораемых шкафах собраны первые и все наиболее важные позднейшие издания трудов Маркса и Энгельса, газеты и периодические издания, содержащие их статьи и очерки, многие из их писем, рукописей и рукописных заметок, в подлиннике или фотографических снимках, в такой полноте, как нигде в мире. В этом же кабинете сосредоточен колоссальный рукописный и печатный материал по истории I Интернационала, затем—первые издания сочинений Лассаля и много его писем в оригинале.

Остальные двенадцать кабинетов, занимающих 22 комнаты, с их книжным богатством в количестве около 150.000 томов, дополняют

только, собственно говоря, этот центральный, самый маленький кабинет. Их материал должен служить для того, чтобы, с одной стороны, помочь точнее проследить и дать историческую оценку внешней биографии и практической деятельности Маркса и Энгельса, а с другой—точно установить, отграничить, анализировать совокупное содержание и внутренние элементы, условия и факторы происхождения духовного творчества Маркса и Энгельса, а также его распространения и влияния, по крайней мере, до года смерти Энгельса. Систематически подобранный и расположенный применительно к требованиям исследования Маркса материал кабинетов должен облегчить исчерпывающее изучение всех исторических и идеологических элементов эпохи Маркса и Энгельса, получивших отражение в их трудах, влияние которых на их духовное творчество может быть с положительностью установлено, т.-е. с которыми они приходили в более или менее непосредственное соприкосновение или трение, и охватить и оценить в историко-критическом освещении идейное и фактическое содержание трудов Маркса и Энгельса.

Кабинеты отдельных стран (немецкий, английский, французский кабинеты) содержат специфически подобранный и расположенный, с указанной выше точки зрения, материал по истории тех стран, в которых Маркс и Энгельс провели свою жизнь, с которыми их особенно связывали личные отношения, условия которых они в первую очередь изучали и на которые пытались оказывать влияние в смысле практической политики. Материал по истории остальных стран, менее важных для исследования Маркса, которыми, однако, пренебрегать не следует (Италия, Бельгия и пр.), собран в одном общем международном кабинете. Страны бывшей Австро-Венгерской империи и Швейцарии включены в немецкий кабинет. Что касается России, то в виду того, что в Социалистической Академии имеется большой отдел по истории социального и рабочего движения в России, здесь устроен только маленький кабинет (кабинет Плеханова), который собирает частью труды русских марксистских теоретиков, частью труды таких русских авторов, с которыми Маркс и Энгельс находились в личных отношениях.

Дополнение ко всем почти кабинетам стран представляет кабинет внешней политики. Здесь тщательно собран материал по проблемам и конъюнктурам международной политики и военных событий того времени, нашедшим себе выражение в публицистике Маркса и Энгельса. По этому материалу исследователь может детально изучать указанную сторону деятельности Маркса и Энгельса, доныне научно далеко еще недостаточно оцененную, и попытаться разрешить длинный ряд открытых вопросов об их принципах, их тактике, о факторах и личностях (Уркварт!), воздействовавших на занятую ими позицию, о влиянии соответствующих их сочинений. Точно также, в этом кабинете находится все, необходимое для разработки темы: Энгельс, как исследователь по военным вопросам.

Идеологические кабинеты (социалистический, философский, социологический, экономический, правовой) содержат, точно также, подобранный и расположенный в соответствии с целями Института Маркса и Энгельса материал по изучению тех областей знания и комплексов идей, на которые распространялась литературно-научная деятельность Маркса и Энгельса.

Для установления далеко еще недостаточно выясненного отношения Макса и Энгельса к трем великим утопистам, в кабинете социализма исследователь имеет в своем распоряжении такую богатую литературу по сенсимонизму, фурьеризму и оуенизму, какую

в другом месте в таком изобилии можно найти только в Парижской Национальной Библиотеке и в Британском Музее. Проследить и исследовать в частностях влияние утопистов на Маркса и Энгельса,— эта важная задача ждет еще своего разрешения. Возможность к этому дана в Институте Маркса и Энгельса. Печатные первоисточники по истории фурьеризма до 1848 года (книги, газеты, календари, брошюры, летучие листки и пр.) налицо здесь, почти без пробелов. Для издания Анти-Прудона с критическими комментариями в том же кабинете имеется очень богатая литература по прудонизму.

Имеется также большая часть зарегистрированной в библиографии Неттлау анархистской литературы, все в том же кабинете.

Благодаря наличности в разных кабинетах сочинений всех авторов, трактуемых в „Святом Семействе", становится возможным критическое издание этого труда, вряд ли удобопонятного без обстоятельных комментариев.

Для уразумения хода философского развития Маркса и Энгельса и философского содержания их трудов, исследователь может использовать в Институте Маркса и Энгельса кабинет по философии, содержащий около двадцати тысяч томов,—с самой полной в мире коллекцией сочинений Фихте, с очень богатым собранием столь редких сочинений младогегельянской школы, с особым отделом литературы об историческом материализме.

Для критического издания Анти-Дюринга и, вообще, для критики этого сочинения с точки зрения современной науки в Институте имеется—кроме полного экземпляра Лейпцигского „Vorwärts" („Вперед") за 1877 и 1878 гг., в котором этот труд появился впервые отдельными статьями, и кроме сочинений Дюринга—очень тщательно подобранная литература по истории, методологии, философским основам и вопросам о границах отдельных точных наук.

Кабинет социологии содержит очень ценную литературу по генетической социологии, для изучения столь важных для теории исторического материализма основных вопросов о происхождении религиозных идеологий, о первобытных формах техники, хозяйства, общественной организации, семьи, государства. Кабинет систематически собирает нужный материал для критического издания книжки Энгельса о происхождении семьи, частной собственности и государства, долженствующего включить и результаты новейших изысканий.

Для суждения об экономических теориях Маркса кабинет политической экономии располагает не только содержащею все существенное коллекцией соответственной литературы о Марксе, но и большинством сочинений, цитируемых в трех томах „Капитала" и в „Теориях прибавочной стоимости", большею частью в тех самых изданиях, в которых ими пользовался Маркс. Здесь и в кабинете по истории Англии находится прекрасно подобранная литература по экономической истории Англии. Очень богат материал, приспособленный к тому, чтобы послужить основою для историко-критической оценки „Капитала," как социально-политического труда, и для критического издания Энгельсовского „положения рабочего класса в Англии".

Основным проблемам экономических теорий Маркса (стоимость, деньги, прибавочная стоимость, капитал, накопление, земельная рента, кризисы и пр.) в кабинете политической экономии посвящены особые отделы с соответствующею литературой по экономической истории и теории.

Упомянем здесь, не только в качестве курьеза, что в Институте имеется принадлежавший Лассалю экземпляр Марксовской „Zur Kritik

der Politischen Oekonomie", испещренный собственноручными пометками Лассаля.

Как много ни писалось о влиянии Гегеля на Маркса, наука все еще не дала критико-философского анализа вопроса, насколько исторические и философские взгляды Маркса, в их частностях, были обусловлены влиянием литературы гегелевской философии права. Чтобы облегчить оставшуюся в этой области работу, кабинет права собирает всю литературу, относящуюся к периоду гегелевской философской школы права. Очень богато представлена здесь и историческая школа права.

Для менее непосредственной задачи Института Маркса и Энгельса, приложения исторического материализма к современным формам и проблемам правовых учреждений, специальные отделы в этом кабинете посвящены вопросам о функциях государства, о централизме и федерализме, о демократии и диктатуре, о революционном правообразовании, о „рабочем праве" и пр.

Бросим теперь взгляд на кабинеты отдельных стран. Для изучения оппозиционных и радикальных движений, для истории социальных и социалистических идей, положения промышленности, ремесла и рабочего класса, начатков рабочего движения в Германии тридцатых и сороковых годов, исследователь найдет в кабинете по истории Германии гораздо больше печатных первоисточников, чем сколько их проработала доныне социалистическая историография. Соответственный материал настолько богат, что допускает также и точную локализацию исторического исследования по отдельным областям Германии. Из литературы того периода по „социальному вопросу" Институт располагает приблизительно вдвое бо́льшим количеством сочинений, чем сколько их зарегистрировано в соответствующей подробнейшей библиографии Момберта. В кабинете имеется богатый биографический материал о таких лицах, с которыми Маркс и Энгельс приходили в тесный контакт или конфликт, жизнеописание которых еще не было предметом монографий или частью так мало еще раскрыто, что о них нельзя было бы написать даже порядочной статейки для энциклопедического словаря (Руге, Б. и Э. Бауер, Гейнцен, Вейль, Рутенберг, Дронке, Веерт, Вейдемейэр, Блинд, Люнинг, Бернаис, Эвербек, Науверк, Эйхгофф, Валесроде, Грюн и пр.). Исключительным богатством отличается материал первоисточников и описательных сочинений по истории революции 1848 г. в Германии. Чтобы охарактеризовать богатство Института материалами по истории немецкого рабочего движения и, в особенности, социал-демократических партий до смерти Энгельса, достаточно установить, что всю литературу, цитируемую в больших монографиях Меринга, Г. Майера и Онкена, за весьма немногими исключениями, можно найти в немецком кабинете, расположенную в систематическом порядке.

Что касается французского кабинета, то мы можем с уверенностью утверждать, что здесь вряд ли отсутствует хотя бы один единственный первоисточник или важный историографический труд для критической оценки каждой фразы, всех внутренних элементов соответствующих публистических и исторических работ Маркса („Классовая борьба во Франции", „18-е брюмера").

В еще большей степени то же самое относится к литературе по истории Парижской Коммуны. Если вспомнить еще принадлежащий сюда материал первоисточников по истории I Интернационала, бо́льшею частью совершенно еще не использованный, а также и хранящуюся в центральном кабинете Маркса и Энгельса толстую тетрадь Маркса, в которую он тщательно вклеивал газетные статьи, использованные при составлении „Гражданской войны во Франции", то не будет преувеличением сказать, что исследователь Маркса может изучать в Москве историю Парижской коммуны в лучших условиях, чем в самом Париже.

В начале нашей заметки мы указали на тот печальный факт, что Институт Маркса и Энгельса еще мало известен и в России, и за границей,—несмотря на его интернациональный характер,—и что его драгоценные материалы доныне использовались и используются очень немногими исследователями. Этому способствуют многие обстоятельства, о которых здесь не место говорить. Однако в последнее время уже можно отметить поворот к лучшему, в отношении русских исследователей. И мы уверены в том, что скоро Институт будет достойно оценен в России, и не только в форме случайных посещений и осмотров, но и интенсивным использованием и применением его сокровищ, участием в его работах. Имеющие вскоре последовать более быстрым темпом одно за другим издания Института Маркса и Энгельса („Собрание сочинений" Маркса и Энгельса, Плеханова, Каутского, Лафарга; „Библиотека научного социализма"; „Библиотека материализма"; сочинения Гегеля; „Труды Института Маркса и Энгельса" и пр.) дадут, несомненно, могущественный толчек исследованию Маркса в России.

Но Институт Маркса и Энгельса имеет и международные задачи. Он подготовляет научное издание полного собрания сочинений Маркса и Энгельса, без которого невозможно изучение эволюции международного коммунизма. Если он, как позволительно надеяться, будет хорошо выполнять поставленные им себе задачи, то теоретические застрельщики международного пролетариата найдут себе из всех стран дорогу в Институт Маркса и Энгельса.

Э. Цобель.

БИБЛИОГРАФИЯ.

К постановке проблемы распределения у Маркса.

I.

Вопрос о методологической постановке проблемы распределения у Маркса мало освещен. Но и те немногие попытки специального освещения этого вопроса, имевшие место до сих пор со стороны представителей как марксистского, так и анти-марксистского лагеря часто страдали непониманием того, что действительно имеется у Маркса.

Очередным произведением такого рода является недавно вышедшая в Германии небольшая работа Heinrich Dietzel'я: „Vom Lehrwert der Wertlehre und vom Grundfehler der Marx'schen Verteilungslehre. Lpzg-Erlangen 1921", в которой автор ставит себе целью доказать, что марксовская постановка проблемы распределения основана на логических ошибках.

Для выяснения вопроса о постановке проблемы распределения у Маркса можно было бы ограничиться разбором этой работы и тем остаться в рамках научной злободневности. Но мы решаемся пожертвовать этими рамками для того, чтобы поставить вопрос несколько шире и остановиться еще на одной, заслуживающей безусловного внимания, но еще до сих пор не получившей критической оценки, хотя и давно вышедшей, книге С. И. Солнцева: „Заработная плата как проблема распределения".

В этой книге Солнцев пытается наметить самостоятельную постановку проблемы распределения, элементы которой находит у Маркса и которую считает единственно отвечающей духу всей его экономической системы. Между тем в трактовке этого вопроса Солнцев становится на совершенно ошибочную и чуждую Марксу точку зрения. Это-то и заставляет предварительно остановиться на книге Солнцева при подходе к затрагиваемому вопросу.

Взгляды Солнцева, изложенные им в его книге, составились, по собственному его признанию, под влиянием „социальной теории распределения", представителями которой являются Штольцманн и Туган-Барановский (см. Солнцев, цит. соч., стр. 2).

Под влиянием этой теории, Солнцев пришел к мысли о неудовлетворительности традиционной постановки проблемы заработной платы, как проблемы уровня, а из сопоставления учения о заработной плате английских социалистов и Маркса он убедился, что центром экономического учения о заработной плате как социалистов, так и Маркса, является не теория средств существования, а проблема доли рабочих в общественном доходе. Что же касается теории средств существования, вытекающей из постановки проблемы заработной платы, как проблемы уровня, то она, по мнению Солнцева, по существу своему чужда экономической системе Маркса (Солнцев, цит. соч., стр. 1).

Под „общественным доходом" Солнцев разумеет всю вновь созданную за данный период времени стоимость, а под долей рабочих в нем — относительную

долю, отношение совокупной заработной платы к этой вновь созданной стоимости.

Постановка проблемы заработной платы, как проблемы доли рабочих в общественном доходе, вытекает у Солнцева из своеобразного понимания процесса распределения или, вернее, законов, на основе которых складывается этот процесс. Процесс распределения представляется Солнцеву в виде борьбы классов за долю в „общественном доходе", борьбы, которая приводит к разделу его на части, соотношение между которыми определяется соотношением сил борющихся за долю классов. Образование заработной платы, прибыли и ренты представляется, таким образом, Солнцеву в виде единого процесса раздела общественного дохода. Отсюда законы образования заработной платы, прибыли в ренты одни и те же. Поскольку же это так, постольку проблема образования этих видов дохода превращается в единую проблему „социального распределения", задачей которой является объяснение процесса распределения в целом; по отношению к ней проблемы заработной платы, прибыли и ренты являются частичными проблемами, входящими в состав проблемы распределения. „Принципы, на основе которых происходит социальный раздел на доли и их развитие, представляются общими для всех долей общественного дохода; каждая из частичных проблем социального распределения (напр., проблема заработной платы) исследует лишь законы развития каждой из долей раздела и зависимость их в целой системе хозяйства" (Солнцев, цит. соч., стр. 25).

Так как процесс распределения есть процесс раздела общественного дохода, то доли классов, получающиеся в нем в результате раздела, образуют „первоначальный доход". Средняя заработная плата, прибыль per capita и рента на акр суть доходы производные, так как они образуются уже на основе долей. Образованием долей заканчивается процесс распределения в существенном. Отсюда решить проблему долей — значит, в основном, объяснить процесс капиталистического распределения.

Закон, на основе которого происходит, по Солнцеву, распределение в капиталистическом обществе, есть соотношение сил классов, участвующих в разделе: относительная сила классов определяет их доли в общественном доходе. Объяснение заработной платы, прибыли и ренты из закона стоимости является неудовлетворительным. Проблема „социального распределения" есть проблема sui generis, проблема самостоятельная, ни в какой связи с проблемой стоимости не находящаяся.

Эту свою постановку проблемы распределения, вытекающую из соответствующего понимания законов, регулирующих процесс распределения, Солнцев находит у Маркса. По мнению Солнцева, основные моменты марксовского понимания процесса распределения сводятся к тому, что высота двух составных частей общественного дохода — заработная плата и прибавочная стоимость — устанавливается в процессе борьбы между общественными классами и разрешается на основе принципа взаимоотношения социальных сил (Солнцев, цит. соч., стр. 306).

Экономическое содержание этого принципа раскрывается в законе обратной пропорциональности (зависимости? Е. Г.) относительных долей капиталистов и рабочих в динамике распределения. Если принять, что весь общественный доход за определенный период времени равен $v + m$, т.-е. совокупной заработной плате и прибавочной стоимости [1]), то относительная доля рабочих в общественном доходе выразится через $\frac{v}{v+m}$, а относительная доля капиталистов через $\frac{m}{v+m}$. Отсюда обратная пропорциональность (зависи-

[1]) Для простоты Солнцев отвлекается здесь от дальнейшего распадения прибавочной стоимости на прибыль и ренту

мость. Е. Г.)— $\frac{v}{m+v}$ и $\frac{m}{m+v}$ —относительных долей классов в общественном доходе (Солнцев, цит. соч., стр. 308).

По поводу приведенного объяснения процесса распределения нужно прежде всего сказать то, что оно совершенно не соответствует марксовскому пониманию этого процесса. Ошибочно приписывать Марксу понимание процесса распределения, как процесса раздела общественного дохода на доли, определяемые соотношением социальных сил. Наоборот, в понимании процесса распределения Маркс стоит на совершенно противоположной точке зрения.

Вопреки пониманию процесса распределения, приписываемому Марксу Солнцевым, вновь созданная стоимость—„общественный доход"—вовсе не является для Маркса объектом распределения. В то время как, по Солнцеву, высота средней заработной платы и абсолютная величина доли рабочих определяется, наряду с относительной силой рабочего класса, также и величиной вновь созданной стоимости, т.-е. в то время, как высота заработной платы, как единичной, так и всего класса, по Солнцеву, зависит от величины вновь созданной стоимости, заработная плата, по Марксу, ни в какой степени от величины вновь созданной стоимости не зависит. Законы образования заработной платы у Маркса суть совершенно иные чем те, которые Солнцев ему приписывает. И не только совершенно иные, но и совершенно противоположные, так что наличие у Маркса распределительного понимания заработной платы, хотя бы в зачатках, означало бы непримиримое противоречие в его системе. Но такого противоречия у Маркса нет просто потому, что у него нет, даже в зачатках приписываемого ему Солнцевым распределительного понимания заработной платы.

Одной из отличительных черт капиталистического строя является то обстоятельство, что в нем рабочая сила становится товаром. Как и всякий другой товар—рабочая сила имеет стоимость, которая определяется таким же образом, как и стоимость других товаров. Заработная плата представляет собой экзотерическую форму стоимости рабочей силы, т.-е. ее цену, и получение ее не стоит ни в какой связи с тем, какова стоимость созданного продукта и имеет ли он вообще какую-нибудь стоимость. Заработная плата, выдаваемая рабочему, является таковой независимо от того, что сделает с изготовленными им товарами его хозяин: употребит ли их сам или вынесет их на рынок. И в том и в другом случае заработная плата рабочего есть цена определенного количества рабочей силы, определяемая стоимостью ее воспроизводства независимо от стоимости, которую производит эта рабочая сила в процессе своего использования.

Подобно тому, как заработная плата единичного рабочего не зависит от стоимости созданного им продукта, не зависит от величины вновь созданной стоимости „общественного дохода" и доля всего рабочего класса в нем. Доля рабочего класса во всей созданной вновь за данный период стоимости представляет собой совокупность заработных плат, полученных рабочим классом. Каждая из этих заработных плат есть цена единичной рабочей силы, а доля рабочих во вновь созданной ценности может быть определена как цена совокупной рабочей силы всего класса рабочих. Если же доля рабочих, совокупность заработных плат, не зависит от величины вновь созданной стоимости „общественного дохода", то тем менее от нее зависит индивидуальная заработная плата данного рабочего или средняя заработная плата, которая представляет собой частное от деления совокупности заработных плат на число получающих эти платы рабочих.

Нельзя сказать, чтобы Солнцев не понимал, что у Маркса проблема распределения стоит в связи с проблемой стоимости. Но он пытается показать, что у Маркса есть еще другая постановка проблемы распределения, которая единственно соответствует духу его учения. Этим Солнцев хочет

„примирить" теорию Маркса с столь близкой его сердцу „социальной теорией распределения", но на этом пути, как и следовало ожидать, терпит полную неудачу: близость к социальной теории распределения этим, может быть, и достигается, но этим самым он становится в полное противоречие с Марксом.

Из сказанного выше вытекает ошибочность приписывания Марксу понимания заработной платы как доли в результате раздела общественного дохода, доли, величина которой определяется величиной вновь созданной стоимости (общественного дохода) и относительной силой рабочего класса. Но и независимо от этого принципы образования заработной платы, выдвинутые Солнцевым, ошибочны. Никакого раздела, в результате которого якобы образуется доля рабочих, нет. Вследствие этого ошибочным является представление обо всем процессе распределения как процессе раздела общественного дохода, в результате которого, на основе принципа взаимоотношения социальных сил, происходит установление высоты составных частей общественного дохода.

Принципы, на основе которых складывается процесс распределения, суть совершенно иные, чем они представляются Солнцеву. Об этом мы скажем в дальнейшем. Но уже сказанного вполне достаточно для того, чтобы разрушить представление о процессе распределения, как едином процессе раздела общественного дохода, в результате которого на основе закона взаимоотношения социальных сил устанавливаются доли классов. Вместе с этим становится ясной ошибочность той постановки проблемы заработной платы, прибыли и ренты, которая все эти проблемы сводит к единой проблеме „социального распределения", объектом которой являются доли классов в общественном доходе, и рассматривает ее независимо от проблемы стоимости. Что касается Маркса, то у него проблемы заработной платы, прибыли и ренты суть не части единой проблемы распределения, а проблемы самостоятельные в том смысле, что процесс образования прибыли, заработной платы и ренты отличен для каждой из них; с другой стороны, эти проблемы отнюдь не самостоятельны, так как и прибыль, и заработная плата, и рента образуются на основе закона стоимости. Поэтому дляторого, чтобы правильно объяснить образование этих видов доходов, нужно поставить каждую из проблем распределения в тесную связь с проблемой стоимости.

Коренная методологическая ошибка, приводящая Солнцева к постановке проблемы распределения вне связи с проблемой стоимости заключается в отрыве им учения о распределении от учения о производстве и обмене. Солнцев ошибочно рассматривает распределение как самостоятельную сферу, имеющую свои собственные законы (закон взаимоотношения социальных сил), не стоящие ни в какой связи с законами производства и обмена.

Между тем исходным пунктом для правильного понимания процесса распределения служит форма участия в производстве, определяемая распределением средств производства и распределением членов общества по отраслям производства. „Система распределения,—говорит Маркс,—всецело определяется системой производства". Распределение само есть продукт производства не только в отношении предмета, ибо распределяться могут только результаты производства, но и в отношении формы, ибо определенный способ участия в производстве определяет собой форму распределения, форму, в которой каждый принимает участие в распределении" (К. Маркс. Введение к критике политической экономии в сборнике „Основные проблемы" под ред. Ш. Дволайцкого и И. Рубина стр. 18).

В такой постановке заработная плата объясняется в связи с формой наемного труда, которая есть форма участия рабочего в производстве. Когда мы ставим форму участия рабочего в распределении в связь с формой участия его в производстве, с формой наемного труда, то сейчас же всплывает наружу обстоятельство, характеризующее форму наемного труда, а именно—

товарный характер рабочей силы, обстоятельство, учет которого составляет, как мы видели, основную предпосылку правильного понимания заработной платы. Иная форма участия в производстве,—участие в нем в качестве владельца капитала или земельной собственности,—влечет за собой соответствующие формы участия в распределении—прибыль и земельную ренту.

Игнорирование связи распределения с производством приводит Солнцева к тому, что формы участия членов капиталистического общества в распределении, т.-е. то, что является характерным для капиталистического общества, остается у него затушеванным.

В частности, солнцевская постановка проблемы заработной платы зиждется на игнорировании того обстоятельства, что рабочий участвует в распределении в форме наемного труда, при которой рабочая сила является товаром. Игнорирование же того, что рабочая сила является товаром, ведет к рассмотрению проблемы распределения вне связи с проблемой стоимости, (ибо если принять, что рабочая сила—товар, то необходимо выводить заработную плату, а с ней прибыль и ренту из закона стоимости). Во-вторых, игнорирование этого обстоятельства ведет к затушевыванию той разницы, которая существует между различными видами доходов (заработной платой, прибылью и рентой) при капиталистическом способе производства. В самом деле, заработная плата, рассматриваемая как доля, получаемая в результате раздела „общественного дохода", ничем не отличается от участия в распределении капиталиста и землевладельца. И рабочие, и капиталисты принимают участие в распределении одинаковым образом, получая доли в общественном доходе. Но формы, в которых участвует в распределении каждая из этих групп, т.-е. то, что отличает участие в нем одной группы от участия другой, специфический характер форм участия их в распределении (заработной платы, прибыли и ренты) остается нераскрытым.

В постановке проблемы распределения помимо того, чтобы взять исходным пунктом то обстоятельство, что рабочая сила—товар, можно было бы подойти к проблеме стоимости еще с другой стороны, если бы связать распределение с обменом. По существу, никакого распределения, в собственном смысле этого слова, в капиталистическом обществе нет. Распределение или, выражаясь термином Струве, „псевдораспределение" представляет собой момент в процессе воспроизводства капиталистических производственных отношений. Это „псевдораспределение" происходит в форме обмена и по его законам. Таким образом, законы распределения и законы обмена суть одни и те же. Отсюда ясно видна ошибочность рассмотрения проблемы распределения вне связи с проблемой стоимости. Отрыв Солнцевым учения о распределении от учения об обмене привел его к постановке проблемы распределения вне связи с проблемой стоимости и тем самым к затушевыванию специфического характера капиталистического процесса распределения, которое отличает его от процесса распределения в других общественных формациях. А специфичность капиталистического процесса распределения заключается в том, что он происходит в форме стоимостных отношений.

Солнцев рассматривает распределение вне связи с обменом, потому что представляет себе дело так, как будто процесс распределения существует независимо от обмена, а обмен является лишь внешней формой, в которой проявляются результаты этого процесса. „Меновой рынок есть лишь формальный процесс реализации созданных общественных стоимостей. Распределительный акт в смысле раздела общественного дохода между общественными классами в рыночном обмене находит свою последнюю форму, но самый раздел складывается вне и глубже отношений рынка, который не знает классов, в котором и производители-рабочие, и организаторы-капиталисты, и работающие, и не работающие являются одинаково в роли покупателей и продавцов (Солнцев, цит. соч., стр. 185). Задача проблемы распределения, по мнению Солнцева, заключается в объяснении лишь того, как образуются доли общественного дохода. Отсюда становится излишним ставить распределение в связь с обменом, а проблему распределения в связь с проблемой стоимости.

Отвергая чисто-распределительную постановку проблем заработной платы, прибыли и ренты, при которой они являются проблемами долей классов рабочих, капиталистов и землевладельцев в общественном доходе, мы превращаем их в проблемы уровня этих видов дохода.

Доли классов в „общественном доходе", во вновь созданной стоимости, могут быть объяснены лишь на основе уровня заработной платы, прибыли и ренты, а не наоборот, уровень заработной платы, прибыли и ренты на основе долей классов, получающихся якобы в результате раздела „общественного дохода". Доля рабочих есть совокупность заработных плат, так же, как доля капиталистов есть совокупность прибылей, а доля землевладельцев совокупность рент. Чтобы объяснить заработную плату, прибыль и ренту, получающуюся отдельным рабочим, капиталистом и землевладельцем, нужно объяснить их (т.-е. зарплаты, прибыли и ренты) уровень. Поскольку это постольку объяснение уровня зарплаты, прибыли и ренты означает объяснение процесса распределения в капиталистическом обществе.

Каково же, однако, значение момента социальной борьбы для отношений распределения у Маркса. На это нужно ответить, что Маркс влияния классовой борьбы на отношения распределения не только не отрицает, но, наоборот, придает ему чрезвычайно важное значение в определении высоты различных видов дохода. Но соотношение классовых сил отнюдь не является у Маркса основным принципом, определяющим отношения распределения; в определении их соотношение социальных сил играет подчиненную роль.

Отношения распределения на основе закона стоимости регулируются, соотношение классовых сил оказывает на них влияние в смысле видоизменения их в пользу более сильной стороны. Например, заработная плата, получаемая рабочим, определяется стоимостью его рабочей силы, а доля класса рабочих—совокупной стоимостью рабочей силы его членов; прибыль капиталиста определяется средней нормой прибыли, взятой в отношении к его капиталу, а доля капиталистов—средней нормой прибыли в отношении ко всему общественному капиталу.

И заработная плата, и прибыль определяются здесь на основе закона стоимости. Отношения классовой борьбы могут привести к тому, что доля рабочих становится выше или, в другом случае, ниже совокупной стоимости рабочей силы. Тогда доля капиталистов понижается или повышается сравнительно с той, которую они должны были бы получить по средней норме прибыли. Эти отклонения заработной платы от стоимости рабочей силы, а прибыли от ее средней нормы могут быть очень значительными, но от этого они не перестают быть отклонениями, и заработная плата и прибыль не перестают определяться законом стоимости. Или, например, возьмем ту борьбу, которую вели между собой в середине прошлого столетия английские фермеры с лэндлордами по поводу введения тщательного обследования правительственными агентами каждой фермы. Пока такого обследования не было, лэндлорды были лишены возможности точно определять добавочную прибыль, получаемую фермерами в результате использования участков земли, принадлежащих лэндлордам, и присваивать всю эту добавочную прибыль в виде ренты. Но это не мешало тому, что рента и в то время определялась на основе закона стоимости с большими или меньшими отклонениями от него в силу благоприятного для фермеров соотношения социальных сил.

II.

Переходим к Дитцелю. После того, как мы выяснили, какова постановка проблемы распределения у Маркса относительно Дитцеля, нам остается сказать очень немного. В противоположность Солнцеву, Дитцель причисляет себя к анти-марксистскому лагерю, является критиком Маркса и потому ставит себе задачей доказать, что марксовская постановка проблемы распределения ошибочна.

По мнению Дитцеля, никакой внутренней необходимой связи между теорией распределения и теорией стоимости у Маркса нет. Учение о стоимости, составляющее введение в „Капитал", вовсе не представляет собой ключа ко всему последующему и, в частности, к учению о распределении, как полагают марксисты и сам Маркс. „Хотя учение о стоимости стоит у преддверия (am Eingang) „Капитала", как и „Начал" (у Рикардо Е. Г.), но ключ ко всему последующему оно составляет так же мало, как и там. Хотя учение о распределении—учение об образовании прибавочной стоимости, следует за учением о стоимости—однако одно не следует из другого (S. 12).

Связь между теорией стоимости и теорией распределения—чисто внешняя и основана она на грубой логической ошибке, допущенной Марксом. Связующим звеном между учением о стоимости и учением о распределении у Маркса является стоимость рабочей силы. Но это связующее звено, по мнению Дитцеля, никуда не годится потому, что, переходя от закона стоимости к закону заработной платы, Маркс сделал совершенно недопустимый логический скачок. Логический скачок (ein Sprung schlimmster Art, как выражается Дитцель), сделанный Марксом, заключается в том, что он от закона стоимости без всяких промежуточных ступеней, которые, по Дитцелю, должны были бы объяснить процесс образования заработной платы, перешел прямо к результатам, ибо „закон стоимости в отношении к заработной плате утверждает лишь результат, а именно, что стоимость рабочей силы отрасли A, относится к стоимости рабочей силы отрасли B, как издержки их воспроизводства; и что при свободной конкуренции стоимость отрасли A и B уравнивается соответственно издержкам их воспроизводства" (S. 13). При изменении издержек воспроизводства рабочей силы в двух различных отраслях, изменяются заработные платы в них, хотя средняя заработная плата, а значит и доля рабочего класса в общественном продукте остается неизменной. Таким образом, закон стоимости, по мнению Дитцеля, может служить лишь для объяснения того, как заработная плата распределяется внутри рабочего класса между владельцами отдельных видов рабочей силы, а отнюдь не для объяснения того, как распределяется общественный продукт между рабочим классом, с одной стороны, и господствующими классами, с другой (S. 14).

Этот логический скачок представляет основную ошибку (den Grund fehler) марксовского учения о распределении, которая лишает его всякого значения. Постановка проблемы распределения в связи с проблемой стоимости делает учение о распределении совершенно неспособным ответить на целый ряд вопросов, из которых самым важным является вопрос о том, чем определяются относительные доли классов в общественном продукте.

Величину заработной платы Маркс определяет, как стоимость издержек воспроизводства рабочей силы, которая равняется минимуму средств существования. Например, рабочий, работая по 12 часов ежедневно, получает за свой труд стоимость такого количества средств существования, которую он производит в течение 6 часов [1]). Почему же рабочий соглашается отдавать 12 часов живого труда за 6 труда овеществленного? Маркс на это отвечает тем, что рабочий вынужден продавать свою рабочую силу, вследствие отсутствия у него средств производства, при помощи которых он мог бы

[1]) Между прочим, Дитцель эти примерные цифры, приводимые Марксом, принимает за действительные.

самостоятельно производить и добывать себе таким путем средства к существованию. Но ведь и капиталист, возражает на это Дитцель, нуждается в рабочем, чтобы использовать свой капитал. Правда, говорит Дитцель, положение капиталистов более благоприятно, чем положение рабочих. Но в какой мере? При какой конъюктуре позиция капиталистов усиливается, а позиция рабочих ослабляется, и наоборот? Hic Rhodus, hic salta! Вот вопрос, который следует решить (S. 15). На все эти вопросы Маркс, по мнению Дитцеля, не дает никакого ответа. Это происходит, думает Дитцель, потому, что проблема распределения ошибочно поставлена в связь с проблемой стоимости. На самом деле никакой связи между ними нет. Основные пункты марксовского учения о распределении—минимум заработной платы и прибавочная стоимость не могут и не должны быть выводимы из стоимости. „Учение о распределении не может быть соединено с учением о стоимости, как это делает Маркс. Оно не нуждается в этом, потому что оба основных пункта, на которые ориентируется учение Маркса о распределении, могут быть достигнуты без обращения к понятию стоимости" (S. 20).

Минимум заработной платы, по мнению Дитцеля, не связан органически с законом стоимости и может быть объяснен вне связи с ним, например, из излишка рабочих и недостатка предпринимателей, как это делает Тюрго, или из более быстрого, чем возрастание средств существования, возрастания населения, как это имеет место у Мальтуса. Точно также для того, чтобы показать, существование эксплоатации и что прибыль есть неоплаченный труд, что по мнению Дитцеля было задачей, которую себе ставил Маркс, не нужно было совершенно главы о стоимости.

Для доказательства этого Дитцель приводит теорию распределения Тюнена, которая построена вне связи с теорией стоимости. Согласно этой теории, заработная плата определяется продуктом предельного рабочего, рента и прибыль—излишком продукта над заработной платой. Изменения заработной платы происходят в результате изменения производительности предельного рабочего на худшем участке земли и вообще в крайних производственных условиях. Рента и прибыль изменяются с изменением производительности предельного рабочего. Такова теория распределения, противопоставляемая Дитцелем теории распределения Маркса, которую Дитцель считает ошибочной.

Перейдем теперь к разбору возражений Дитцеля против марксовской постановки проблемы распределения.

Не трудно видеть, что возражение Дитцеля против выведения Марксом заработной платы из закона стоимости построено на недоказанной и ошибочной предпосылке. Дитцель обвиняет Маркса в скачке от закона стоимости к объяснению распределения заработной платы внутри рабочего класса без объяснения законов образования этой доли, т.-е. без объяснения того, как распределяется между различными классами общественный продукт. Этим самым Дитцель предполагает, как будто бы процесс распределения происходит в форме образования долей классов, каждая из которых затем распределяется между членами данного класса. Подобно Солнцеву, Дитцель представляет себе дело так, как будто распределение представляет собой самостоятельную сферу хозяйства, где определяется доля рабочего класса, которая затем распределяется в обмене сообразно издержкам воспроизводства рабочей силы в различных отраслях. Это Дитцель считает само собой разумеющимся и потому понимание процесса образования заработной платы как процесса распределения доли рабочего класса считает обязательным для Маркса. Маркс сделал логический скачок потому, что перескочил через ту ступень, на которой происходит образование доли рабочих. На самом же деле Маркс, как уже выяснено выше, понимает процесс распределения совершенно иначе. Никакого образования доли рабочих в процессе распределения нет. Теория заработной платы Маркса представляет собой объяснение не только результатов, но и процесса образования заработной платы. Зара-

ботная плата образуется не в результате распределения доли рабочего класса, а в результате продажи рабочим его товара—рабочей силы. Этот обмен рабочей силы на деньги и представляет собой процесс образования заработной платы. Закон заработной платы представляет собой полное объяснение образования заработной платы на основе закона стоимости и не заключает в себе никакого скачка.

В отношении связи теории прибавочной стоимости с теорией стоимости Дитцель ограничивается голым утверждением, гласящим, что учение о прибавочной стоимости у Маркса не вытекает из его учения о стоимости. Здесь Дитцель только утверждает, не пытаясь этого доказать, как это он делает в отношении заработной платы. Чего стоят эти утверждения, ясно из того, что у Маркса последняя причина возникновения прибавочной стоимости заключается в том, что рабочая сила имеет меньшую стоимость, чем продукт, полученный в результате ее использования. А это обстоятельство может быть понято лишь на основе закона стоимости.

Как в отношении заработной платы, так и в отношении прибавочной стоимости Дитцель, как мы видели, пытается показать, что и та, и другая могут быть объяснены независимо от закона стоимости. По мнению Дитцеля, постановка проблемы распределения вне связи с проблемой стоимости имеет все преимущества перед выведением категорий распределения из категории стоимости. Это не верно. Теория распределения Дитцеля совершенно не в состоянии объяснить ни заработной платы, ни прибавочной стоимости как специфических форм распределения, присущих исключительно капиталистическому способу производства. Она объясняет образование прибавочного продукта, но не прибавочной стоимости, которая является той специфической формой, при которой происходит присвоение прибавочного продукта в капиталистическом обществе. Объяснение этой специфической формы, составляющее задачу политической экономии, может быть дано лишь в связи с законом стоимости при том допущении, что рабочая сила является товаром.

Мы видим, что у Дитцеля, как и у Солнцева, специфический характер процесса распределения в капиталистическом обществе остается затушеванным. И у того, и у другого это происходит в результате постановки проблемы распределения вне связи с проблемой стоимости. Ни заработная плата, ни прибыль и ни рента не могут быть объяснены вне связи с законом стоимости, потому что они проявляются в стоимостной форме. Как уже сказано, эта стоимостная форма является специфической чертой, отличающей распределение в капиталистическом обществе от распределения в других общественных формациях. Объяснение этой формы, специфической формы стоимостных отношений, присущей процессу распределения, а не содержанию этого процесса, распределение материального богатства, составляет задачу учения о распределении, и потому то оно должно стоять в связи, можно сказать, должно быть подчинено учению о стоимости.

Этой задачи учения о распределении вольные и невольные последователи буржуазной экономии понять не в состоянии. Ограниченные буржуазным кругозором, они не в состоянии отличать форм от содержания и постоянно смешивают их, заменяя форму содержанием, а содержание формой. Так и в данном случае. Как Дитцелю, так и Солнцеву задача учения о распределении представляется не в виде задачи объяснения форм капиталистического распределения, а в виде задачи объяснения распределения богатства в его материальной форме. А так как распределение материального богатства имеет место во всяком общественном строе, и различие между разными общественными формациями, в данном отношении, заключается лишь в различии форм, в которых происходит распределение, то игнорирование анализа форм распределения в капиталистическом обществе приводит к затушевыванию специфического его характера.

Е. Грановский.

К. Маркс—мыслитель, человек, революционер. Сборник статей библ. Пролетария.—Под редакцией и с предисловием Д. Б. Рязанова.—„Московский рабочий". Москва, 1923 г. 238 стр.

Сборник нужно признать безусловно удавшимся. Несмотря на малый размер, читатель, по прочтении его, остается вполне удовлетворенным. Действительно перед ним встает могучий образ великого революционера во весь рост.

Дать образ такого великана, как К. Маркс, человека, мыслителя, революционера, дело очень трудное. Тов Рязанов преодолел эту трудность очень удачным подбором статей, пользуясь марксистской литературой всего мира и выбирая наиболее сжатые и удачные из них.

Сборник открывается тремя биографиями и заметками Энгельса и биографическим очерком его дочери Элеоноры Маркс-Эвелинг. Далее помещены статья и речь Маркса и затем статьи о нем Г. Плеханова, Меринга, Р. Люксембург, К. Тимирязева, Ленина, Рязанова и воспоминания о нем Лафарга, Леснера и Либкнехта в отрывках.

Излагать содержание этих статей—значит лишь ослабить впечатление от чтения этого превосходного сборника.

Не можем не остановится в двух словах на речи Маркса на юбилее рабочей газеты.

Это—поразительная речь. По силе, сжатости и стильности эта коротенькая речь—своего рода шедевр ораторского искусства. Когда читаешь ее, невольно соглашаешься с т. Рязановым, что Маркс был не только писателем, но и оратором, который не развился в подлинного трибуна потому лишь, что ему помешали условия его жизни. Эта удивительно красивая речь заканчивается:

„В средние века в Германии существовало, в отмщение за злодеяния правящих классов, тайное судилище, „суд Фемы". Если на каком-нибудь доме появлялся красный знак, то знали уже, что хозяин его отмечен Фемой. Теперь на всех домах Европы начерчен таинственный красный крест. Сама история руководит судом,—а исполнителем приговора будет пролетариат".

Теперь действительно на всех домах Европы начерчен красный крест, а пролетариат приступил уже к исполнению приговора истории...

В. Р.

Карл Маркс—Сб. статей. Раб.-коопер. изд-во „Прибой". 1923 г. стр. 110.

Сборник, посвященный Марксу, включает в себе четыре статьи: К. Цеткин—„К. Маркс и дело его жизни", Н. Ленина—„Основы учения К. Маркса", Г. Зиновьева—„Маркс и Энгельс" и Р. Люксембург—„Память К. Маркса".

Почти все эти статьи сами по себе превосходны, но собранные вместе так, как это сделало издательство „Прибой", они не дают того, чего от них требует редакция,—цельного образа Маркса как мыслителя и борца.

Не всякое собрание хороших статей будет хорошим сборником. Для того, чтобы получить действительно законченный сборник, надлежит, чтобы каждая статья в нем дополняла другую, в свою очередь освещая новую сторону вопроса не освещенную в других.

Тут же мы имеем совершенно другую картину. И К. Цеткин, и Н. Ленин, и Р. Люксембург дают каждый по своему прекрасный, неизбежно короткий, общий очерк жизни и деятельности Маркса.

К тому обязывали авторов обстоятельства, вызвавшие статьи.

К. Цеткин читала перед пролетарской аудиторией о Марксе, его жизни и деятельности, статья Ленина была написана для энциклопедического сло-

варя, а Р. Люксембург дает юбилейный очерк, а также рассматривает почти все вопросы марксова мировоззрения.

Отсюда совершенно неизбежен ряд повторений, а, самое главное, сборник не дает читателю и половины того, что он мог дать при более внимательном и умелом подборе статей. Одна лишь статья т. Зиновьева („Маркс и Энгельс") посвящена отдельному специальному вопросу, но разве одна статья делает сборник? — Естественно она проигрывает не менее других в этом сборнике.

Нет, сборник не удовлетворил нас. Насколько хороша каждая статья в отдельности, настолько же неудачен весь сборник в целом.

В. Р.

А. Ю. Финн-Енотаевский. „Карл Маркс и новейший социализм". Издательство „Полярная Звезда". Петроград 1922 г. 156 стр.

На первых 40 страничках автор излагает Маркса как „экономиста-теоретика" под тем же углом, какой придан его учению в „Теориях прибавочной стоимости", т.-е. в теснейшей связи с развитием предшествующей политической экономики. Удачная выдержанная передача Маркса в этой части книги страдает от перегруженности проблемами и беглости их рассмотрения. Достаточно указать, что теории воспроизводства, накопления, рынка и кризисов отведено менее страницы, чтобы стало понятным, почему во II части автору приходится разделываться по этим вопросам с Р. Люксембург в подстрочном примечании.

С той же курьерской экстренностью продвигается автор далее, сокрушая по пути „новейших критиков Маркса", в числе которых наряду с проф. Пленге, Ледерером, К. Либкнехтом оказывается Р. Люксембург и Гельфердинг.

Удачно вскрывает т. Финн ненаучность „универсализма" К. Либкнехта, его отказ от историзма и его возврат обратно к Дюрингу по вопросу о взаимоотношении силы и экономики в развитии человеческого общества.

Однако наряду с меткой критикой оппортунистических уклонов Гельфердинга и др., т. Финн перегибает палку в другую сторону, утверждая, если отбросить его оговорки, что все возможное для теории политической экономии в пределах капитализма уже совершено Марксом (см. 68 стр.). Отсюда утверждение, что: „финансовый" (кавычки т. Финна) капитал лишь особая „форма денежного капитала" и упорное отстаивание господства промышленного капитала в современном хозяйстве, отсюда отказ признать факт новой формы господствующего капитала.

Переходя от разбора оппортунизма в теории к разбору оппортунизма на практике, автор останавливается на революционном крыле синдикализма, индустриальном унионизме, гильдейском социализме и др.

В связи с конструктивными системами синдикалистов разных толков, т. Финн касается ряда вопросов: о демократии, диктатуре, роли и форме государства, кооперации, кредите, национализации банков, банкротстве государства и их значении в переходную эпоху.

Оценивая современные достижения синдикалистов этого крыла, т. Финн приходит к заключению, что пока результаты социализации и гильдейского строительства ничтожны". С другой стороны, можно вполне согласиться с т. Финном, который указывает здоровые черты этого движения, хотя несколько ограничив их список и с большой определенностью в критике.

Много можно сказать по поводу последней части книги т. Финна, много вызывает она недоумений, но лучше подождать обещанного—„специальной историко-экономической работы", к которой автор „откладывает детальное рассмотрение волнующих теперь социалистическую мысль основных вопросов".

А пока читателю придется удовлетвориться конспективным изложением экономической системы Маркса. Книга будет иметь интерес только при некотором знании Маркса самим читателем, в противном случае читатель утонет в бесчисленном количестве вопросов, поднятых автором.

Б. Ш.

К библиографии Маркса.

Дело изучения, и притом научного, Маркса и Энгельса требует прежде всего хорошего состояния наших сведений об их произведениях. А между тем у нас в этом отношении дело обстоит очень неважно, даже относительно русской литературы. Мы не имеем подробного описания всех изданий произведений Маркса и Энгельса на русском языке, не говоря уже о библиографии русской литературы по марксизму. И это тем более странно, что даже в советской России продолжают выходить всевозможные подробнейшие описания библиотек Достоевского и других, а до Маркса мы все никак не можем добраться.

Поэтому надо всячески приветствовать попытку т. Б. С. Шнеерсона дать „Опыт библиографии произведений Маркса и Энгельса в русских переводах", помещенный в книге „Памяти Карла Маркса". Сборник статей к сорокалетию со дня его смерти. 1883—1923 г. 14 марта, изд. „Красная Новь" М. 1924 г. стр. 213—243. Само заглавие неверно, т. к. библиография произведений Фр. Энгельса не дана вовсе.

В дальнейшем мы даем несколько замеченных нами при беглом просмотре пропусков, предварительно же стоит сказать несколько слов об общих принципах описания книг. Нам думается, что для научной библиографии надо не ограничиваться одним только описанием титульного листа или обложки, а следует давать более подробное описания содержания книги. Важно установить, чей именно перевод дан при перепечатке или чем данное издание отличается от другого, подробно описывать содержание приложений, а не ограничиваться беглым их указанием и, наконец, давать оценку самых переводов. Затем следует держаться раз установленной схемы описания и выбрать более удачную, а то при указании времени появления той или иной статьи может при принятой расстановке набора получиться впечатление, что указание относится не к последующему материалу, а к предшествующему. Затем не всюду дано название оригинала и часто оно повторяется при разных русских переводах, так имеем и под 1907 и под 1908 гг. немецкое название работы Маркса „К еврейскому вопросу". Кроме того автором совершенно не указаны уже существующие на русском языке библиографические работы о Марксе и марксизме: приложение к русскому переводу Конрада „Очерк основных положений политэкономии". М. 1898 г.—библиографический указатель книг и статей по политэкономии на русском языке 1801—1898 г. раздел X—статьи—1 стр., 72—75 стр.; „Библиографический указатель литературы о Марксе и марксизме на английском, немецком, французском, итальянском и русском языках", составленный Н. Чекеруль Кушем, приложение к „Теории ценности" П. Фишера. Киев 1907 г. изд. Иванова, при чем в начале дается список „Сочинений К. Маркса, переведенных на русский язык", указатель обнимает 30 страниц (с 43 по 72); в сборнике Семковского „Исторический материализм". (1-е издание. СПБ 1908 г.) и в последующих дается „Указатель литературы об историческом материализме". В 1918 г. в связи со столетним юбилеем Маркса появились два обзора русских изданий Маркса, принадлежащие т. Л. С. Цетлину: „К. Маркс по-русски", журнал „Рабочий Мир" 1918 № 4—5, стр. 31—34 и „Читайте Маркса", журнал „Рабочий Интернационал" 1918 г. № 3—4, стр. 115—120; „Сочине-

ния К. Маркса в русской цензуре", архивная справка, „Дела и дни" 1920 г. кн. I, стр. 321—345; в сбор. „Исторический материализм" (изд. Киевского отд. госиздата 1921 г.) дана „Библиография по историческому материализму", составленная Я. Розановым. Энгельсу посвящены два обзора—„Энгельс по-русски" Л. Ц. (Л. Цетлин), „Рабочий Мир" 1918 г. № 7, стр. 56—58 и Логинов, Ив. „Фр. Энгельс. Материалы к библиографии его сочинений". Госиздат, ПБ. 1920 г. 29 стр.

Теперь переходим к дополнениям и исправлениям, следуя хронологическому порядку, принятому т. Шпеерсоном. При чем за немногими исключениями мы указываем на литературу первой революции 1905—1907 гг., т. к. издания 1917 г. и сл. годов—обычно перепечатки прежних изданий.

Статья Маркса о „Свободе Печати" 1842 г. кроме перевода в 1 т. „Литературного наследства" имеется и в отдельном издании (Маркс К.—„О свободе печати", пер. Б. А. Кревер под ред. М. А. Кроля, изд. „К свету" СПБ. 1906 г. 63 стр.)

„Введение к критике философии права Гегеля" в изд. „Буревестник" под ред. не Ю. Адамского, а Ю. Адамовича (В. В. Воровского); кроме того не указано московское издание пер. под ред. Лаврова „Критики философии права Гегеля" М. 1907 г. 19 стр.—Издатель не указан.

„К еврейскому вопросу" изд. Иванова: не указано, что книжка входит в состав „Избранной б-ки" под № 15; не указано, что перевод в изд. „Знания" и „Молота" один и тот же Г. Радомысльского (Г. Зиновьева); не указано, что в изд. „Знания" имеется еще предисловие ред. перевода А Луначарского и, наконец, не указано, что отрывок из „Святого семейства" носит название „Еврейский вопрос № 3", при чем этот отрывок не приведен в указаниях о „Святом семействе".

Совершенно не указано, что „О французском материализме" Маркса есть не что иное, как пункт Г 3-го раздела VI главы „Святого семейства", переведенный в изд. „Освобождение Труда" на стр. 265—273 под названием „Критическое сражение с французским материализмом", в изд. Парус не указано, что перевод дается Плехановым.

Письмо к Анненкову сперва напечатано в изд. „Стасюлевич, М. и его современники в их переписке" под ред. М. Лемке.

„Нищета философии"—в киевском изд. дана только 1-я глава, что не указано. Совсем пропущено первое полное изд., уничтоженное постановлением комитета министров. К. Маркс.—„Нищета философии". Ответ на „Философию нищеты" Прудона. С предисловием Фр. Энгельса, пер. с франц. Т. Пятина и И. Белявского под ред М. М. Филиппова, изд. Зябицкого и Пятина, СПБ. 1902 г. 324 стр. В оглавлении не указано, что на стр. 32 по 45 дан перевод статьи Маркса о Прудоне из „Социал-Демократа" за 1865 (последнее в переводе не указано). К книге дано три приложения: 1)„—Грей, как предшественник Прудона"—отрывок из „К критике" отдел В. Теории денежной меры—конец; 2)—Речь „О свободе торговли" и 3)—„Теория единицы денежной меры"—из „К критике" глава 2, отдел В. В. изд. „Пролетариат" не указано, что дан этот перевод, но без приложений, которые тогда же вышли отдельно. См. К. Маркс—„Грей, как предшественник Прудона". Немецкий перевод „Речи о свободе торговли" дан во 2, а не в 3 издании „Нищеты философии". Затем не указан перевод Пятина и Белявского, данный, (см. выше,) в приложении к „Нищете философии" (изд. 1902 г) и в 1905 г. вышедший отдельно в изд. „Пролетариат." На обложке стоит „Маркс—„Грей, как предшественник Прудона"—Речь помещена на стр. 11—36.

Перечисление статей, вошедших в сборник „Либералы у власти", неполно: не указана ст. 3—„Министерство Ганземана", и неверны ссылки на числа в изд. „Знания": они даны полно, правда, с рядом опечаток, затем перенесенных и в изд. Петербургского совета. Затем следует указать, что переводчик А. Р. есть Г. Зиновьев.

В „Речи перед судом присяжных" изд. „Молот" не указано, что переводчиком даны подстрочные примечания.

„Наемный труд и капитал"—Описать приложения к переводу Дейча надо при первом издании, а во втором оговорить их, кроме того следовало бы указать, что к изд. 1906 г. Дейчем написано специальное предисловие, что не оговорено. Некоторое недоумение вызывает указание на изд. „Пролетарской Мысли" 1906 г. и притом без указания страниц: изд. „Пролетарской Мысли" было в 1917—18 гг., и думается, что здесь какая-то ошибка.

„Классовая борьба" в изд. М. Малых (Б-ка М. Малых 56—60) вышла в 1905 г. и с указанием переводчика Ф. Капелюша полностью, также полностью указан переводчик Капелюш и в изд. „Буревестника".

Не отмечено, что изд. Мертца есть изд. „Молота", только с новой обложкой и новым титульным листом.

Раз „18 брюмера" дано и в сб. Маркса под фантастическим названием „Мысли и взгляды о жизни XX века", являющимся изданием Скирмунта, ради цензуры выпущенном в новой обложке, то следовало бы указать этот сборник и для „Борьбы классов", тем более, что изд. Скирмунта указано. В „18 брюмера" пропущен перевод Р. Асс в изд. „Просвещения"—„Б-ка Просвещения".

„Кельнский процесс коммунистов" в изд. „Всемирного Вестника" и „Популярно-научной б-ки" есть изд. „Молота" только с новыми титульными листами и обложками.

При указании статей 1853—55 гг. (кстати они начинаются в списке под 1851—52 гг.) следовало бы указать, что они взяты из Gesammelte Schriften von. K. Marx und. F. Engels 1852 bis 1862 Herausgegeben von N. Ryasanoff Die Uebersetzungen aus dem Englischen von Luise Kautsky. Stuttgart-Dietz 1917 I—II Bände.

„Кэри и Бастиа" сопровождаются кратким предисловием и примечаниями Каутского.

„К критике" пропущено первое издание Бонч-Бруевича. М. 1896 г., указано второе, которое было издано без перемен. В первом издании 163 стр. во втором же иная верстка и получилось 160 стр. К этим же изданиям приложено предисловие А. А. Мануилова. В издании „Шиповника" не указано предисловие Каутского, предисловие П. Румянцева и указатель авторов. Совсем не указаны след. изд.: „Сотрудничества" ПБ. 1918 г., являющееся фотопечатной копией изд. „Шиповника", только без предисловия Каутского и Румянцева, отчего получается невязка пагинации. „Комуниверситета Зиновьева" ПБ. 1922. 160 стр. и „Московского рабочего" М. 1922 г. 196 стр. Раз даны отрывки из „К критике", к „Нищете философии" пер. Засулич, следовало бы указать их и в пер. Пятина и Белявского, изданные к тому же и отдельно (см. выше).

„Введение" впервые появилось частично на русском языке под заглавием „Маркс об искусстве", очерк Финна-Енотаевского (напечатано вместе с брошюрою „Маркс Кэри и Бастиа" стр. 25—31, здесь из „Введения" даны гл. IV, пункты 5, 6 и 8 и до конца. Затем „Введение" появилось полностью впервые в сб. „Основные проблемы политической экономии" под ред. Ш. Дволайцкого и И. Рубина. Госиздат. М. 1922 г. стр. 3—37, этот же перевод без указания источника, но с теми же опечатками перепечатан в изд. „Зиновьевского Университета", стр. 8—28 и „Московский Рабочий", стр. 9—33.

„Открытое письмо о Прудоне" имеется также в изд. „Нищеты философии" 1902 г., стр. 32—45, а также повторено в изд. того же перевода „Пролетариатом", стр. 22—30.

„Заработная плата, цена и прибыль" была прочитана в Генеральном совете Интернационала, а не в Главном. В изд. 1899 г. не указано, что оно

было приложением к XII кн. „Научного Обозрения“ за 1899 г.; не указано 2-ое изд. Львовича СПБ. 1906 г. 64 стр.

Устав I-го Интернационала был принят в 1866 г. и его надо бы отнести к этому году, а не к 1871 г., что сделано на основании того, что он приложен к изд. Куклина „Гражданской войны“. Устав имеется в следующих переводах: Засулич. „Очерк истории международного товарищества рабочих“. Женева, изд. русского с.-д. союза 1889 г., стр 9—12, затем перепечатано в „Сборнике статей В. Засулич“ т. I стр., 255—258, изд. „Б-ки для всех“ Рутенберг, СПБ. 06 г.; приведено также полностью в книге Шипулинского „Интернационал“ изд. „Практические Знания“. М. 1917 г., стр. 15—18, вместе с английским текстом проекта введен и французским текстом, принятым Женевским конгрессом и подстрочными переводами даны в книге Джемса Гильома „Интернационал“ т. I—II, изд. „Голос Труда“. М.—ПБ. 1922 г., стр. 55—62, параграфы устава даны только по-русски. „Введение“ дано и в книге Стеклова „Интернационал“ ч. I стр. 31 (изд. 1918 г. ПСР и КД), 2-ое изд. Госиздат. М. 1920 г. стр. 47—48. Из старых изданий можно указать на приложение к статье Лаврова (автор раскрыт П. Витязевым) „об Интернационале“ во 2-ой книжке журнала „Вперед“. Цюрих 1874, отд. II, стр. 137—140; перепечатано—Лавров „Очерки по истории Интернационала“ с пред. и примеч. П. Витязева. ПБ. изд. „Колос“ 1919 г., стр. 103—105; приведен также в книге Бехера „Рабочий вопрос“ с примечаниями Ткачева стр. 427—431, СПБ. 1868 г.,—уничтожен цензурой. Мотивировочная часть дана в Замечаниях на прог. герм. раб. партии Маркса, изд. Госиздата М—СПБ. 1923 г., стр. 76—77.

Если приводить изложение „Капитала“ Зибера, то надо указать и его журнальные статьи: „Экономическая теория Маркса“. „Слово“ 1874, 76, 77 и 78 гг.

Следовало бы указать на отсутствие предисловия в первом издании „Капитала“ под ред. Струве.

„Гражданская война во Франции“ в первом изд. „Буревестника“ вышла не полно (без первых двух адресов и с рядом пропусков) и без указания редакции Ленина. Во втором изд. на стр. 15 имеется первое воззвание, а на стр. 19—26 второе воззвание Интернационала по поводу франко-прусской войны. Издание Поюра с пред. Сана и является переизданием этого 2 изд. „Буревестника“, а не „Прибоя“, как сказано в указателе.

Критика готской программы вышла в новом дополненном издании в переводе Н. А. Алексеева. Госиздата М.—ПБ. 1923 г. 98 стр. Дополнения следующие: К. Корш—Введение и приложения: 1—Провозглашение принципов Международной ассоциации рабочих 1864 г. (введение в устав Интернационала); 2—Готская программа и 3—4—Два письма Энгельса Бебелю о готской программе.

Письмо Маркса в ред. „Отечественных Записок“ помещено также и в Письмах Маркса и Энгельса к Ник.-ону СПБ. 1908, стр. 114—117, приведено и в Письмах М-Э. под ред. Адоратского.

Письма Маркса к Кугельману, в переводе М. Ильиной, имеются еще в изд. „Новая Дума“ СПБ. 1907 г. XII—96 стр.

Из переводов „Коммунистического Манифеста“ пропущены следующие: пер. В. Шаха в книге Ш. Андлер „Коммунистический Манифест“. Историческое введение и комментарий к нему. Под ред. и с предисловием П. Берлина, изд. Львовича СПБ. 1906 стр. 11—59. Книга Андлера вышла еще в изд. „Петровской Б-ки“ М. 1906 г. перевод с франц. под ред. А. Кисина, в этом издании дан свой перевод „Коммунистического Манифеста“, причем он разбит на параграфы, которые раздельно приводятся перед каждым параграфом комментария, и, наконец, пер. С. А. Алексеева и Ш. Б. Вольфсона „Рабочая б-ка,“ вып. 20 ПБ. 17 г. 64 стр., изд. ЦК РС-ДРП меньшевиков.

В 1914 г. в приложении к „Современному Миру“ вышло три печатных

листа переписки Маркса и Энгельса под названием „К. Маркс и Фр. Энгельс в их переписке 1844—1882 гг. Авторизованный перевод с введением и примечаниями Рязанова“. (Д. Б. Рязанов прежде подписывался литературным псевдонимом Н. Рязанов.) Затем выдержки из переписки появились в журн. „Просвещение“ за 1913 г. кн. XI и XII, 1914—кн. I, с примечаниями Г. Зиновьева. В 1919—1920 гг. отрывки из переписки печатались в харьковском журн. „Мысль“.

„Итоги 48-го“ года вышли без указания автора и являются статьями из „Новой Рейнской газеты“ от 9, 11, 15 и 29 декабря 1848 г. и вошли в 3-й том „Литературного наследства“ (немецкое изд. стр. 206—229).

Выше уже указано, что под обложкой „Грей, как предшественник Прудона“ скрывается еще „Речь о свободе торговли“ и отрывок из „К критике“, вошедший в томже пер. в изд. 1902 г. „Нищеты философии“. В указателе это не приведено.

„Лассальянизм и профессиональная борьба“—письмо к Швейцеру. Со вступительной статьей и с примечаниями Э. Бернштейна. СПБ., изд. А. Г. 15 стр. имеется еще в переводе Плеханова, появившемся сперва в № 5 „Звезды“ за 1910—1911 гг. и затем вышедшем отдельно в изд. „Единство“, СПБ. 1917 г. 16 стр. под названием: „О профессиональных союзах. Письмо к Швейцеру 13—X—68 г.“, с пред. и прим. Плеханова.

Совершенно зря приписана Марксу „История заговора равных“. Под таким заглавием мы знаем книгу „История заговора равных“, изложено по Девиллю Л. Жбанковым под ред. п-д. Н. А. Рожкова. „Колокол“—Мягкова пер. б-ка. 24 М. 1905 г. 95 стр.

Отдел „Биография К. Маркса и материалы для его характеристики“ также неполон и дает неверные указания, но об этом мы не станем сейчас говорить. Добавим, что мы сознательно не вводили журнального и газетного материала, а также ряда сборников, но и приведенного, думается, вполне достаточно, чтобы показать, как мы далеки даже от собирания материалов о Марксе и марксизме. Но мы полагаем, что время для такой планомерной работы над Марксом настало и должно быть выполнено либо Институтом Маркса и Энгельса, либо каким-либо другим учреждением. Кроме того на очереди дня и вопрос о библиографии марксизма в русской литературе как в прошлом, так и систематически в настоящем. Будем же надеяться, что новые поминки по Марксу принесут выполнение этой задачи.

Ст. Кривцов.

Периодическая пресса о 40-ой годовщине смерти Карла Маркса и к 75-летнему юбилею „Коммунистического манифеста“.

Агитпроп Губкома. — „Коммунистический манифест“ и 1848 год (тезисы) —„Пролетарий“ № 3, ежем. орган Нермского Губкома.

Адоратский В. — К 40-летию со дня смерти К. М.—„Пролетарское студенчество“ № 1 (Москва).

Г. Азатьян. — Карл Маркс — „Советская Армения“ № 51, на армянском языке. (Эривань).

Арсеньев — Карл Маркс в Вене — „Спутник коммуниста“ № 21 (Москва).

Арсеньев — Маркс и профсоюзы — „Спутник коммуниста“ № 21 (Москва).

М. Бочачер. — Карл Маркс и большевики — „Коммунист“ № 56 (Астрахань).

А. Блюменталь. — Памяти Карла Маркса — „Власть труда“ № 58 (Башобком).

Библиография о „Коммунистическом Манифесте“ (на русском языке) — „Коммунистическая мысль“ № 2—3, ежем. Киевского Губкома.

В. — Маркс был большевик — „Правда“ № 56.

— Великий мыслитель — „Современный мир“ № 55 (Вел. Устюг).

А. Галкин. — Знаменательная годовщина — „Заря Востока“ № 57 (Тифлис).
Д. Генштейн. — Карл Маркс (к сорокалетию со дня смерти) — „Бакинский рабочий“ № 57.
М. Герасимов. — Карл Маркс (стихотворен.) — „Красное знамя № 56 (Краснодар).
Н. Г. — Карл Маркс и его жизнь — „Красный пахарь“ № 21 (Ник. Усольск).
Гуркин. — Жизнь и деятельность Карла Маркса — „Красная волна“ № 20 (Осташково).
И. Греков. — К сорока годам смерти Карла Маркса — „Рабоч.-Крестьянская Правда“ № 20 (Мелекес).
А. Д. — Заветы Маркса — „Заря Востока № 57 (Тифлис).
Дж. Г. — Кто такой Маркс и чему он нас учил — „Гызыл Шарг“, № 2 (на тюркском языке).
Дж. Г. — Краткая история жизни и деятельности Карла Маркса — „Гызыл Шарг“, № 2.
А. Жаров. — Карл Маркс (стихотворение) — „Труд“ № 57 (Баку), „Туркестанская Правда“, „Звезда Алтая“, „Оренбургский рабочий“ № 55, „Крестьянская Правда“ № 12 (Самара).
Д. Зинковский. — Сегодня и 75 лет тому назад — „Спец. приложение к Красн. Николаевску“.
„ „ — 25 лет борьбы — там же.
Д. Зинковский. — Карл Маркс — „Маяк Коммуны“ — № 56 (Севастополь).
И. Запорожский. — Жизнь и деятельность Карла Маркса — „Степная Правда“ (Семипалатинский Губком) № 55.
Т. И-ев. — Г. В. Плеханов — „Уральский рабочий“ № 58.
Г. Ильин. — Теория и практика революционного марксизма — „Терек“ № 57.
М. И. — Карл Маркс — „Уральский Гудок“ № 57.
Н. К-ий — Карл Маркс — „Трудовой Батум“ № 57.
А. Канский. — К биографии Маркса — „Заря Востока“ № 57 (Тифлис).
К. — К сорокалетию со дня смерти Карла Маркса — „Рабоч. Правда“ № 4 (Тифлис).
— Карл Маркс (биография) — „Борьба“ № 947 (Прил.) (Царицын).
— Карл Маркс — жизнь, личность и творчество — „Красное знамя“ № 56 (Краснодар).
— Карл Маркс и Фридрих Энгельс — „Голос Труда“ № 26 (Саратов).
— Карл Маркс — „Набат“ № 22 (Елец).
— Карл Маркс — „Светоч“ № 24 (Торопец).
— Карл Маркс и российский пролетариат — „Петровская Коммуна“ № 19.
— Карл Маркс (стихотворение) — „Бежецкая жизнь“ № 29.
— Карл Маркс — „Страда“ № 10 (еженедельник, Пермь).
А. Казакова. — Ходит призрак по Европе, призрак коммунизма — „Наш путь“ № 6—7 (Дальбюро ЦК РКП).
А. Котлов. — Марксу (стихотв.) — „Красный пахарь“ № 28—29 (Майкоп).
Касперский — Карл Маркс — „Юный пролетарий Урала“ № 3.
Н. Копылов — Карл Маркс (к 40 летию со дня смерти) „ — Беднота“ № 1466.
Н. Копылов — Маркс и Энгельс о крестьянстве и земельном вопросе — „Беднота“ № 1466.
Корш. — Сущность марксизма — „Гызыл Шарг“ № 2 (на тюркском языке).
Д. Л. — Карл Маркс и социальная революция — „Корельская Коммуна“ № 42.
А. Л. — К 40-летию со дня смерти Карла Маркса — „Коммунист“ № 3 (22) (Брянск).
Ленин. — Учитель рабочего класса — „Оренбургский рабочий“ № 55; „Известия Астраханского Комитета РКП“.
Об учении К. Маркса. — „Беднота“ № 1465.
— Карл Маркс „Рабочая газета“ № 57 (Москва).
Н. Ленин. — Биография Маркса — „Крестьянская Правда“ № 12 (Самара).
Роза Люксембург. — Памяти Карла Маркса — „Коммунар“, орган Алтайского Губкома РКП.

Н. Л. — Памяти Карла Маркса — „Бежецкая жизнь“ № 29.
Д. Маневич. — Карл Маркс, как вождь и учитель рабочего класса — „Землебор“ № 39 (Бузулук).
— „Унзере Виртшафт“ № 5 (на немецк. языке), орган немцев Поволжья.
К. А. Насиоз — Карл Маркс и пролетарская революция — „Звезда“ № 1 (Дагестан).
Б. И. — Теория Маркса и ее значение — „Звезда“ № 54 (Пермь).
И. Покровский. — 75-летний юбилей „Коммунистического Манифеста“ — „Д.-В. путь“ № 57 (Чита).
— 75-летний юбилей Манифеста Коммунистической партии — „Наш путь“ № 6—7 (орган Дальбюро ЦК РКП).
Петик. — Карл-Генрих Маркс — „Нор. Аревелк“ № 7, на армянском языке (Эривань).
А. П. — Исповедь К. Маркса — „Коммунист“ № 3 (22), орган Брянск. Губкома).
П. П. — Карл Маркс — „Курская Правда“ № 58.
Г. В. Плеханов. — Биография — „Современная правда“ № 56 (Челябинск).
И. Раппопорт. — Коммунистический манифест и 1848 год — „Пролетарий“ № 3 (11) (Пермь).
Г. Ржанов — Карл Маркс (к 40 летию со дня годовщины) — „Звезда“ № 1 (Дагестан).
Я. Розанов. — Памяти „Коммунистического Манифеста“ — „Коммунистическая Мысль“ № 2—3 (Киев).
Родиков. — Карл Маркс и Фридрих Энгельс — „Яистере Сакиция“ № 11.
Д. Рязанов. — Письмо Марксу студента — „Пролетарское Студенчество“ № 1.
Д. Рязанов — Маркс и Р. К. П. — „Правда“ № 56.
Д. Рязанов — Маркс и профсоюзы — „Труд“ 18/IV (Москва).
Д. Рязанов — Что читать из сочинений К. Маркса „ — Рабочая Москва“ № 60.
Д. Рязанов. — Программы первых коммунистов — „Известия Астраханского Комитета РКП“ № 3; „Красный Пахарь“ № 19 (Старорусск); „Бежецкая Жизнь“ № 29; „Горская Правда“ № 57 (Владикавказ); „Луч Коммуны“ № 20 (Бугуруслан); „Серп и Молот“ № 55 (Кузнецкий Уисполком); „Звезда“ № 54 (Пермь); „Уральский Гудок“ № 57; „Крестьянская Правда“ № 12 (Самара); „Известия“ № 25 (Стерлитамак); „Киргизская степь“ (Актюбинск); „Красный Урал“.
— Призрак бродит по Европе — „Бежецкая Жизнь“ № 29.
С. — Карл Маркс — „ “ (Коми) № 39.
С. — Карл Маркс, к сорокалетию его смерти) — „Светлый Путь“ № 38 (Обком Автоном. области Коми).
Сергеев. — Роль Карла Маркса в истории экономической науки — „Известия Енисейского Губкома“ № 3.
В. Сизков. — Великий учитель социализма Карл Маркс — „Вперед“ № 1 (85) (Усольск).
Ю. Стеклов — Год Юбилеев — „Известия ВЦИК'а“ № 56.
Др. Тер-Симонян. К 40 летию со дня смерти Карла Маркса — „Коммунист“ № 1—2 (на армянском языке) (Эривань).
Г. Т. — Коммунистический манифест — „Беднота“ № 1466.
Троцкий. — Карл Маркс — „Рычаг“ (орган Дорпрофсожа) № 42 (Самара).
— Что надо читать о Марксе — „Рабочая Москва“ № 60.
Ф. Энгельс. — Речь на могиле Маркса — „Известия Енисейского Губкома“ № 3
„ Историческое значение Карла Маркса — „Коммунист“ № 3 (22) (Брянск).
Ф. Энгельс — Маркс-Генрих Карл — „Спутник Коммуниста“ № 21 (Москва).
— Энгельс о Марксе — „Рабочая Москва“ № 60.
Ф. Энгельс — Из письма к Зорге „Рабочая Москва“ № 60.

Портреты Маркса и Энгельса в периодической прессе.

(По поводу юбилеев.)

Бакинский рабочий (портрет Маркса—Матвеева).
Борьба № 947 (Царицын).
Беднота № 1466 (Москва).
Вперед (Усольск).
Голос труда (Саратов) № 26.
Голос трудовой Абхазии (Сухум).
25 лет борьбы (Николаевск).
Заря Востока № 57 (Тифлис).
Звезда (Пермь).
Коммунист (Астрахань).
Красная правда (Самара) № 12 (Маркс и Энгельс).
Красное знамя № 56 (Маркс и Энгельс).
Красный Дагестан № 59.
Набат № 32 (Елец).
Nachrichten № 55 (Немкоммуна—Маркс и Энгельс).
Оренб. рабоч. № 55.
Петровская коммуна № 19.
Рабоч.-Крестьянск. правда № 20.
Рабочая Москва № 60 (Москва).
Рабочая газета № 57 (Москва).
Рычаг № 42.
Саратовские известия № 58 (Маркс и Энгельс).
Светоч (Торопец).
Серп и молот № 55 (Кузнецкий уезд).
Труд № 57 (Баку).
Уральский гудок № 57.
Ур. рабочий (Маркс и Энгельс).
„Якстере Сакиция" (Мордовск). Саратов. № 11 (35).
Трудовая правда (Маркс и Энгельс). Немкоммуна № 55.

Б. И. Горев. „Первый русский марксист Г. В. Плеханов". Изд. „Красная Новь" Главполитпросвет, М. 1923 г., стр. 54.

Брошюра тов. Б. Горева вышла как раз ко времени: в наши дни интереса к теоретическим вопросам широких рабочих масс, напомнить о Плеханове—лучшем марксисте теоретике, основоположнике „русской школы" марксизма—и своевременно и чрезвычайно полезно. И если к тому прибавить еще и то, что брошюра написана популярно и издана хорошо, будет совершенно понятно, почему мы без колебания рекомендуем брошюру тов. Горева для широких кругов массового читателя.

Говоря это, мы ни в какой мере не хотели бы, однако, чтобы нас поняли в том смысле, будто в брошюре т. Горева недостатков нет.

Есть, и не малые. На два из них я мимоходом укажу.

Установилось совершенно непонятное шаблонное деление на Плеханова-тактика и Плеханова-теоретика, при чем по этому шаблонному взгляду Плеханов-теоретик совсем хорош, а Плеханов-тактик совсем плох. Эту версию поддерживает в своей книжке т. Горев, и с нашей точки зрения совершенно напрасно. Сам Плеханов восстал бы против такого метафизического взгляда на его деятельность. Не говоря уже о том, что между тактикой и теорией марксизма принципиальной разницы нет—такое деление страдает и фактически: разве Плеханов был плохой тактик, когда написал свою брошюру „Социализм и патриотизм"? а, ведь, это было в разгар его

меньшевизма. И разве до 1903 года его тактика не была глубоко революционна? В свою очередь в области теории не все мы можем считать революционным и последовательно-марксистским; стоит только вспомнить как отразилась на его исторической теории всемирная война.

Формула Плеханов-теоретик, Плеханов-тактик неприемлимая формула, во всяком случае мы не в состоянии хотя бы приблизительно обнять гигантскую фигуру Плеханова - революционера, Плеханова - создателя „русской школы".

Второй вопрос—это вопрос о его просветительстве. Т. Горев, вместе с некоторыми другими, считает Плеханова просветителем. Вот что он пишет: „Для России он был, кроме того, достойным членом и ярким завершителем той блестящей плеяды просветителей (курс. его), которая начинается с Белинского", и далее—„только в отличие от них, сохранявших много черт утопизма и мелко-буржуазного народнического социализма, Плеханов был первым и величайшим просветителем-марксистом, умевшим соединять холодную трезвость и ясность мысли с глубоко революционным миросозерцанием и столь же революционным темпераментом" [1].

Это, в лучшем случае,—недоразумение. Самым большим оскорблением для Плеханова — научного социалиста — название просветитель.

Ибо кого называют просветителем. Сам Плеханов определяет следующими словами: отличительная родовая черта просветительства это — усиленная борьба со старыми понятиями во имя новых идей, считающихся вечными истинами, независимых от каких бы то ни было „случайных" исторических условий. Разум просветителя есть не более как рассудок новатора, закрывающего глаза на исторический ход развития человечества и об'являющего свою природу человеческой природой вообще, а свою философию—единой истинной философией для всех времен и народов [2].

Но разве последователь научного социализма (марксист, диалектический материалист) может быть хотя бы в какой-нибудь мере просветителем.

Конечно, нет. Плеханов посвятил вдохновенные страницы русским просветителям. Почему? Отнюдь не потому, что он сам был последним из их числа, а потому, что они готовили в нашей стране быстрый прием марксизму, потому что они передали марксизму огромную сумму идей. Да и не только наше просветительство: разве французское просветительство не в таких же приблизительно отношениях к марксизму.

Просветитель — это совершенно определенный термин и применять его к последовательному марксисту, сторонникy диалектического материализма, по меньшей мере, небрежно.

Повторяю — недочеты у брошюры несомненно есть, но несмотря на них, мы все же рекомендуем эту популярную книжку: она много поможет приступающему к Плеханову.

З. В.

„I с'езд партии"—„Моск. Рабоч.", М. 1923 г., стр. 66.
„II с'езд партии"—„Моск. Рабоч.", М. 1923 г., стр. 128.
„III с'езд партии"—„Моск. Рабоч.", М. 1923 г., стр. 70.
„IV об'единительный С'езд партии"—„М. Р.", стр. 144.
„V с'езд партии (Лондонский)"—„М. Р.", стр. 210.

Огромное воспитательное значение имеет непосредственное изучение членами партии ее истории; изучение же по документам и памятникам до

[1] Стр. 51.
[2] См. Плеханов „В. Г. Белинский", сб. ст. изд. Госизд., стр. 100.

сих пор остается чрезвычайно затруднительным вследствие отсутствия и недоступности этих документов. С'езды партии происходили за границей и протоколы их издавались за границей же, свободная пресса партии существовала подпольно, либо издавалась вне пределов России—совершенно понятно поэтому, что в России теперь всю эту литературу, одну лишь способную дать подлинную картину развития и роста партии, не сыскать нигде, кроме как в двух-трех крупнейших библиотеках.

Давно уже назрела острая потребность в материале для изучения истории партии, и всякая попытка воспроизвести их будет встречена с большой благодарностью со стороны членов партии.

Одним из наипримечательнейших и важных пунктов развития партии являются с'езды.

О пяти наших с'ездах еще по сей день члены нашей партии знают лишь по рассказам историков и по случайным заметкам участников, не имея под руками ни протоколов, ни хотя бы сколько-нибудь полных монографий о них.

„Московский рабочий" своими изданиями пытается восполнить этот пробел; ему это отчасти удалось, но лишь отчасти.

Конечно, чрезвычайно важно собрать воедино существующие материалы о с'ездах, облегчив таким образом задачу членов партии и с этой точки зрения нельзя не признать за этими изданиями „Моск. Рабоч." значительной пользы.

Но, ведь, кроме этой сравнительно примитивной задачи, можно было попытаться дать нечто большее, — почему это совершенно не использованы протоколы с'ездов? Или, по мнению составителя, в них мало примечательного?

Мы смеем думать, что издание выиграло бы от такого использования в несколько раз и стало бы совершенно исключительной важности пособием. Возьмем для примера „II с'езд". Что дано в нем? Брошюра Ленина—„Шаг вперед, два назад", „Письмо" Красикова, примечание к нему Лепешинского и резолюции.

Это совершенно недостаточно. Брошюра тов. Ленина—прекрасная брошюра, но она остро-полемическая, в ней дан превосходный разбор второго с'езда, но не его история. Почему редакция не привела речь тов. Ленина на II с'езде Лиги рев. соц.-демократов. В этой речи тов. Ленин подробно рассказывает про борьбу на с'езде между ним и Мартовым.

На втором с'езде было произнесено несколько блестящих речей, которые и до наших дней не потеряли своей ценности: речь Плеханова—„Об относительной ценности демократических принципов", об уставе, где он высказывается за строгий централизм и за устав Ленина; речь тов. Ленина об уставе; речь Плеханова о программе; речь Ленина о том же. От этих речей сборник увеличился бы на один лист, зато ценность его была бы очень большая.

В „III с'езде" — речь Зимина (Красина) о работе Орг.-Комитета по созыву III с'езда, где рассказана история созыва с'езда и т. д.

„V с'езд" составлен очень неудовлетворительно. Больше половины его (139 из 210 стр.) заняла брошюра о „Лондонском с'езде", которая сильно устарела и слишком полемична, чтобы быть историей V с'езда.

Сравнительно удачно составлен IV сборник об об'единительном с'езде.

Нужно пересмотреть сборники и ко второму изданию внести соответствующие изменения. Чем больше будет непосредственного материала, тем больше будет и их значение.

При всем тот сборник „Московск. Рабоч." мы не можем не приветствовать, они на много облегчают дело изучения истории нашей партии.

В. В–ян.

Сарабьянов.—„Исторический материализм". Издание третье. Издательство „Московский рабочий".

Третье издание известной книжки тов. Сарабьянова значительно содержательней предыдущих, в которых можно было найти немало промахов и недочетов, исправленных только теперь.

Подготовленный читатель вряд ли особенно заинтересуется настоящей книжкой, так как ничего нового и оригинального в ней не найдет; для начинающего же заниматься теорией исторического материализма она явится весьма недурным пособием. При этом надо заметить, что автор очень удачно подобрал много примеров из живой революционной практики, благодаря чему значительно облегчается понимание сложных и запутанных теоретических проблем. Однако наряду с упомянутыми достоинствами, книжка тов. Сарабьянова имеет один существенный недостаток. Самая важная в методологическом отношении глава, посвященная диалектике, написана крайне неудачно и требует больших исправлений. Начинается указанная глава длинным и утомительным изложением различных естественно-научных теорий. Сначала идет „катастрофическая теория" Кювье (и его предшественников), потом следует „эволюционная теория" Дарвина, и наконец все это кончается несколько неожиданно следующим образом:

„На место теории катаклизмов, катастроф, революции, скачков пришла новая теория—эволюционная, не признающая скачков-катастроф. Марксизм перенял от немецкого философа-идеалиста Гегеля третью точку зрения, которая примиряет и теорию катастроф и теорию эволюции".

Мало искушенный в Гегеле читатель на основании всего сказанного несомненно решит, что Гегель выдумал какую-то естественно-научную теорию, в которой мы имеем синтез Дарвина и Кювье.

Диалектике тов. Сарабьянов придает, по-нашему мнению, слишком механический характер. Приведем несколько цитат: „Наличие противоречащих сил, находящихся в определенном отношении между собой, — это и есть качество.

Если эти противоречащие силы пребывают в другом отношении, — налицо другое качество. Если в одном случае имеются одни силы, а в другом другие, то здесь мы находим два разных качества.

Поскольку мы говорим об обществе, мы должны помнить, что количественные изменения и качественные превращения происходят в нем не только потому, что в нем имеются противоречащие друг другу силы в лице классов, но что в противоречии находятся и общество с природой". (Гл. XII, стр. 88.)

Не знаем хотел ли этого тов. Сарабьянов, но выходит у него, что общество представляет из себя механическое соединение различных противоположных сил, которые, повидимому, уравновешивают друг друга. Противоречие же между обществом и природой заключается в том, что один механизм противопоставляется другому такому же механизму. Правда, в той же самой главе двумя страничками ниже тов. Сарабьянов приводит ряд великолепных цитат из работ Энгельса, Ленина и Плеханова. Здесь мы имеем уже иную диалектику. Например, возьмем цитату из статьи Ленина „Еще раз о профсоюзах". (Гл. XII, стр. 92.)

„Диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии „самодвижении", (как говорит иногда Гегель) изменении..."

По разве в механической системе может быть самодвижение. Различные механические силы по своей сути совершенно однокачественны и поэтому они не противоречат друг другу, а только противополагаются, как простые величины, направленные в противоположные стороны. Механическая сила в условиях своего возникновения отнюдь не имеет условий своего отрицания, поэтому раз возникшая (органическая) механическая система без толчков извне всегда останется одной и той же. В обществе каждая так-на-

зываемая сила развивается не только количественно, но и качественно. Пролетариат в процессе своего развития становится организованней, сознательней, культурней, и это является гораздо более важным фактором в классовой борьбе, чем простое увеличение количества пролетариев. Общественные силы не противополагаются просто друг другу, они явления взаимно обусловленные и вместе с тем разнокачественные и противоречивые. Капиталистический способ производства, порождающий буржуазию, порождает и свое собственное отрицание в лице пролетариата. Ежедневно пролетариат воспроизводит капитал и буржуазию, но вместе с тем воспроизводит и себя, живое отрицание всего им созданного.

Уничтожая капиталистический способ производства, уничтожая буржуазию, пролетариат уничтожает и себя, как класс. В конечном счете задача пролетариата заключается в том, чтобы утвердить себя, как свое отрицание. В этом самоотрицании всего возникшего и заключается истинная диалектика; ее основа—внутренняя противоречивость каждого явления.

Результатом неправильного понимания диалектики является, конечно, извращение марксистской теории взаимодействия базиса и надстроек. Тов. Сарабьянов не удовлетворен „обычными определениями" Меринга, Плеханова, Энгельса и выдвигает новую формулировку.

„Нужна, мне кажется, более точная формула, которую я и заимствую у Гегеля:—количество переходит в качество. Применяя эту формулу к истории развития взаимодействия базиса и надстроек, я утверждаю, что базис переходит от одного качества к другому только в силу своих внутренних противоречий, надстройка же в силу последних может изменяться только в пределах своего качества, т.-е. количественно, и стать новым качеством надстройка может лишь под влиянием нового качественного базиса.

Надстройка, далее, обратно влияет на базис, но лишь в пределах его собственного качества; она изменяет его лишь количественно, не будучи в силах и по собственной природе превратить качество базиса в новое". (Предисловие к 3-му изд. стр. X.)

Хорошо, что тов. Сарабьянов, анализируя в многих местах своей книги нашу революционную практику, предпочитает при этом пользоваться другой теорией „взаимодействия", а то вышел бы большой конфуз. В самом деле, из его „более точной формулы" можно сделать только один вывод, что пролетариату вовсе не надо браться за оружие. Зачем? История сама будет делаться, рабочий класс тут не при чем. Сначала базис сам собой изменится и станет социалистическим (новое качество), потом тем же порядком начнут надстройки меняться. Из такого механического прилаживания надстройки к базису ничего, кроме безжизненной меньшевистской теории, получиться не может [1]. В действительности происходит другое. В революционную эпоху пролетариат, организованный в процессе развития капиталистического общества, захватывает политическую власть для того, чтобы сломать капиталистические производственные отношения и дать полный простор скованным производительным силам. Период революционного переустройства общества является следовательно тем моментом, когда базис переходит от одного качества к другому под влиянием надстроек.

С другой стороны, революционные классовые организации пролетариата создаются в недрах старого капиталистического общества. Таким образом на капиталистическом базисе постепенно воздвигается отрицающая его надстройка.

Неправильное понимание диалектики связано у тов. Сарабьянова с очень поверхностным толкованием Гегеля, которому, вообще, не везет в современной популярной литературе по историческому материализму. В 4-й историко философской главе тов. Сарабьянов сравнивает Гегеля ни более ни менее, как с Бёркли, „в лице Гегеля, самого крупного теоретика об'ективного идеализма, мы возвращаемся к берклианству, поскольку последнее признавало существование бога, творца духовного мира" (Гл. IV, стр. 19). Надо сказать прямо, что между богом Гегеля и Бёркли нет ничего общего. Бог Бёркли это трансцедентная причина активности природы и человека. У Гегеля Бог, Разум, Абсолютное в конечном счете обозначает разумность мира, откуда вытекает возможность познавания его закономерности. При этом надо иметь ввиду, что Бог, Разум, Абсолютное имманентны миру, и человек познает в конечном бесконечное, т.-е., другими словами, путем открытия частных истин он все более и более внедряется в гущу абсолютной истины.

[1] Подробно этот вопрос разобран тов. Бухариным и в книге „Теория исторического материализма" (§ 46) и статье „По скучной дороге" („Красная Новь" 1923 г. книга первая, стр. 288).

В заключение необходимо отметить, что нарочитая отрывочность и бессистемность книжки идет ей не на пользу, а во вред. Некоторые проблемы (производительные силы, производственные отношения, роль идеологии и проч.) затрагиваются и раз'ясняются чуть ли не во всех главах. Получается изрядная путаница и масса ненужных повторений. Несомненно, тов. Сарабьянову надо основательно переделать свою книжку, и тогда она сможет действительно стать хорошим популярным введением в теорию исторического материализма.

М. Л. Ширвин.

В. Засулич. Жан-Жак Руссо. Опыт характеристики его общественных идей. „Новая Москва" 1923 г. 146 стр.

В издании „Новой Москвы" вышла прежняя работа В. Засулич о Ж.-Ж. Руссо. В целях популяризации работы дан перевод французских терминов и цитат. Самая работа принадлежит к научно-популярной литературе в лучшем смысле этого слова; книга написана простым, доступным языком, понятна всякому читателю, имеющему, конечно, представление о XVIII веке; разработана по первоисточникам и необременена полемикой с „инакомыслящими" историками. Автор полемизирует, главным образом, с г.г. Кареевым, Южаковым и В. В. Если в 1923 г. острота спора миновала, то все же соответствующие места книги В. Засулич и теперь могут явиться показателем, как извращались и насиловались взгляды „женевского гражданина", писателями с буржуазной и „интеллигентской", по выражению автора, точки зрения. Как известно, в руках историков и государствоведов XIX века Руссо, по вполне понятным причинам, посчастливилось не более, нежели и его в известном смысле противникам, французским материалистам. Именно выявить истинный характер общественных идей Руссо и ставит себе целью автор. „Наша задача заключается лишь в том, чтобы присмотреться к этим плебейским идеям XVIII века, с той единственной (плебейской тоже) точки зрения XIX века, с которой они не возбуждают неодолимой внутренней потребности отделаться от них так или иначе, извратить или об'явить парадоксальными" (стр. 10).

„Плебейская" точка зрения на эзоповском дореволюционном языке означала точку зрения рабочего класса; вот это-то обстоятельство и марксистский поход автора делает работу не только ценной, но едва-ли не единственной в литературе о Руссо.

Автор удачно обосновывает оригинальность идей Руссо для XVIII века, что, между прочим, является ближайшей задачей работы; перед читателем проходит „историзм" Руссо, внесение им в понимание истории идеи развития, чего не хватало некоторым из его современников-материалистов, скромная роль „законодателя", что опять-таки выделяет Руссо от „просвещенцев" XVIII века, отсутствие восхищения перед „разумом" в толковании

этого понятия эпохой и т. д. Далее, вовсе не приходится возражать автору в его сжатом и метком выводе: „Дуалист в области философии, Руссо является монистом во взглядах на историю и притом... несомненным материалистом в своем об'яснении процесса развития человечества“ (стр. 46). Жаль только, что в работе остаются неподчеркнутыми моменты диалектики у Руссо, указанные, напр., Энгельсом в „Анти-Дюринге“.

Соглашаясь, таким образом, в общем с идеей, аргументацией и выводами В. Засулич, мы все же позволим себе высказать несколько соображений по отдельным положениям автора.

Стремясь, как было сказано, выявить оригинальность мыслей Руссо, автор дает в первой главе изложение „главных черт господствующей доктрины“, под которой он разумеет фактически взгляды всех, кроме Руссо, мыслителей XVIII века. Таким образом, в одну группу (автор, по крайней мере, не проводит ясных демаркационных линий) попадают: Вольтер, физиократы (Кенэ и Мерсье-де-ля-Ривьер), материалисты (Гольбах) и коммунисты-утописты (Морелли и Мабли). Такой прием является, конечно, методологически неправильным. При целом ряде общих для всей эпохи воззрений, общих и для Руссо,—необходимо добавить,—имеется ведь у указанных мыслителей довольно много и существенных разногласий как чисто философских, так и общественно-политических. И если можно говорить об относительной близости к Вольтеру, скажем, де-ля-Ривьера, то того же никак нельзя сказать о Мабли.

Мабли вообще не повезло в руках В. Засулич. Нам не хочется упрекать автора по отношению к этому мыслителю в том свободном обращении, в каком автор упрекает, напр., Д. Морлея по отношению к Руссо, но все же необходимо признать, что облик Мабли недостаточно согласован с Мабли историческим. Автор отказывает этому крайне интересному аббату в названии „последователя Руссо“. „Для этого мнения можно, пожалуй, подыскать кое-какие исторические основания, но, во всяком случае, ни тени теоретических“ (стр. 41). Конечно, Мабли в своем учении о государстве—эклектик (попытка сочетать принципы теории разделения властей Монтескье и неотчуждаемого суверенитета народа Руссо), но на его произведениях именно по вопросу об обществе и государстве лежит печать сильнейшего влияния Руссо. Но ведь не назовем же мы этого последнего эклектиком или выучеником Монтескье только потому, что в главе „О том, что не всякая форма правительства пригодна для всякой страны“ (Du Contrat social) видно сильнейшее влияние автора „Духа законов“. Ряд важных положений Мабли: о невозможности возврата к коммунизму, о полном подчинении исполнительной власти власти законодательной и т. п. совпадают с положениями Руссо. И если пальма первенства принадлежит Руссо, то это и заставляет причислить Мабли к школе „женевского гражданина“. В краткой заметке нет возможности, к сожалению, подробнее мотивировать подобное положение, тем более, что это уже сделано нами в другом месте.

Точно так же лишь бегло приходится возразить автору, когда он выставляет Мабли врагом демократии (стр. 112). Тут просто недоразумение с толкованием этого слова. Когда в XVIII веке говорили „демократия“, то разумели античную демократию, прямое народоправство, как сказали бы мы теперь.

Действительно, Мабли против такой демократии: „Нам не позволено больше подчиняться простым законам природы. Страсти слишком свободны и при деспотизме, и при демократии, и при аристократии. Нужно управление умеренное“ (Doutes...). Что же это за „умеренное управление, gouvernement mixte? Это и есть представительная демократия в понимании уже XIX века! Но ведь в этом смысле и Руссо против демократии: „Если принять термин „демократия“ в строгом смысле слова, то никогда не существовало демократии и никогда не будет существовать“ и далее знаменитое место: „Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлялся бы демократически. Такое совершенное правительство не годится для людей“. (Du contrat Social, liv. III, ch. IV). Симпатии Руссо, как это видно из следующей главы, на стороне „избирательной аристократии“, т.-е. в переводе на язык XIX века той же представительной демократии. Мы не хотим этим стереть всякое различие между Руссо и Мабли хотя бы по данному вопросу (оно есть, но не здесь о нем говорить), хотим лишь указать, что говорить о „вражде к демократии“ у Мабли неверно. Точно так же необоснованным является утверждение о том, что идею коммунистического общества Мабли заимствовал у Морелли. Одной хронологии произведений недостаточно для такого вывода. Вообще о „заимствованиях“ по отношению к XVIII веку говорить приходится очень осторожно, поскольку целый ряд идей вполне оформлялся в обществе раньше, чем успевал запечатлеться на страницах произведений писателей.

Оставляя в стороне некоторые мелкие несогласия наши с автором, мы не можем не остановиться на толковании известного учения Руссо о „всеобщей воле“. „Руссо брал выражение „общая воля“ в его точном буквальном смысле воли всех (или большинства) взрослых граждан данной страны, выраженной на их общем законодательном собрании и всех их одинаково связывающей“. (стр. 93). Здесь налицо смешение двух понятий, которые Руссо тщательно разграничивает: общая воля (volonté générale) и воля всех (volonté de tous). Эти „воли“ иногда могут совпадать, но, как говорит сам Руссо, „существует часто большое различие между волей всех и общей волей, последняя имеет в виду только интересы общие; первая, составляющая лишь сумму воль отдельных людей,—интересы частные“ (Du Con. Soc. liv. II ch. 3). Это разграничение — один из коньков Руссо и без уразумения этого различия остаются непонятными другие стороны его учения.

Таковы главнейшие из тех немногих замечаний, какие мы хотели высказать по поводу ценной книги В. Засулич. Повторяем, задача автора, выдвинуть и оттенить фигуру Ж.-Ж. Руссо на фоне XVIII столетия, вполне разрешена.

И. Луппол.

Проф. В. Рожицын. Первобытный коммунизм. С послесловием Яворского. 72 стр. Главполитпросвет У.С.С.Р. Харьков, 1923 г.

Первобытный коммунизм занимает видное место во всех марксистских конструкциях общественного развития. Однако до сих пор эта проблема остается все еще не достаточно разработанной как в целом, так и в деталях. С тем большим интересом мы приступили к чтению довольно большой брошюры проф. Рожицына, специально посвященной этой теме.

Автор смотрит на свою задачу весьма широко: он не только пытается охарактеризовать явления, относящиеся к первобытному коммунизму, но хочет также определить место последнего в общей истории всего человечества, начиная с момента образования человека и кончая современностью.

Общая концепция автора такова. В своем развитии человечество проходит сначала через период, когда, в сущности, еще нельзя говорить ни о человеческом обществе, ни о человеческом хозяйстве в собственном смысле этих терминов, период, который в свою очередь распадается, по мнению автора, на пять стадий. За это время как хозяйство, так и общество только формируются. Затем следует большой период, который автор и называет периодом первобытного коммунизма, период, начинающийся с образованием „тотемической охотничьей общины—первого общества, какое мы встречаем в истории развития человечества“, и заканчивающийся эпохой возникновения классов и государства, составляющих характерные особенности третьего периода, продолжительность существования которого насчитывает самое большее

семь тысячилетий. Впрочем, первобытный коммунизм продолжает существовать в течение долгого времени и при классовом государстве, окончательно исчезая в эпоху полного расцвета капитализма.

Таким образом, автор пытается дать общий абрис истории человечества. Предприятие, конечно, весьма похвальное, если бы грандиозности задачи хоть в какой-либо мере соответствовали средства и приемы ее выполнения. Между тем в последнем отношении дело обстоит чрезвычайно плачевно. Приемы работы носят типично „рассейский", доморощенно-кустарный характер. Автор ставит ряд весьма сложных и обширных проблем и разрешает их походя, так сказать, в скорострельном порядке. На всякий вопрос у него есть безапелляционный ответ, и в то же время мы на каждом шагу наталкиваемся на крайнюю неопределенность употребляемых им понятий, непоследовательность и запутанность в ходе рассуждений.

Возьмем для примера первый период. Автор, находящийся здесь под влиянием построений Бюхера, выдвигает в общем правильное положение, что общество, хозяйство, труд представляют из себя явления, выступившие не сразу в готовом виде, а медленно и постепенно складывавшиеся в течение долгого времени. Но автор претендует на точное знание этапов этого процесса, превращая отдельные грани, отделяющие человека от его гипотопического животного предка в определенно очерченные стадии, последовательно и в строгом порядке сменяющие друг друга, и договариваясь временами до совершенно чудовищных курьезов.

Первоначально, видите ли человек был ни то, ни се, „не жил ни обществом, ни стадом, ни в одиночку, а так, как было наиболее выгодно, в зависимости от условий приспособления". А приспособляться люди стали к животным и в первую очередь „к собакам, грелись около их шерсти, вместе с ними охотились, вместе с ними кочевали, оборонялись и нападали" (стр 9). „Человек—спутник собаки, своего рода паразит при собачьих стадах, еще стоял на уровне животного, и, может быть, собаки обладали бо́льшим умом, бо́льшим развитием общественных способностей. Но общества не было ни у собак, ни у людей" (там же). Мало того, автор превращает собаку не только в „спутника и друга", но „иногда и хозяина и учителя человека". Таков первый, притом решающий, по мнению автора, шаг в процессе превращения человеческого животного предка в человека. Источник этого фантастического построения, вполне достойного занять почтенное место в „Всемирной истории" Аверченки, ясен: автор, очевидно, знаком с интересными соображениями Эдуарда Гана и В. Вундта относительно симбиоза „Selbstdomestication" собаки, по острожным предположениям этих авторов он придал характер абсолютного утверждения, указав, кроме того, упомянутым выше явлениям твердое хронологическое место в развитии человечества. Следующие стадии не столь чудовищно курьезны, но носят тот же абсолютный, безусловный характер. 2-я стадия характеризуется появлением на сцену орудия (при чем автор доподлинно знает, что первый вид орудия – челюсть зверя), 3-я—знакомство с огнем, 4-я—умением добывать его, 5-я—образованием „первобытной дикарской орды".

Орда эта еще не общество, и борьба ее с природой еще не хозяйство. На этой стадии стояли до своего исчезновения, по мнению автора, тасманийцы. Следующие стадии (6,7,8) приводят нас через посредство тотемизма и табу к коммунистической охотничьей общине (австралийцы). Автор и здесь ограничивается главным образом общими утверждениями. Если бы он более тщательно использовал имеющийся конкретный материал, то он должен был бы притти к заключению, что о полном коммунизме у современных охотников-собирателей говорить не приходится, ибо наблюдаемая у них организация производства и распределения в значительной степени носит индивидуалистический характер, как показывают новейшие свободные работы Малиновского и Клабенчанса об австралийцах. Затем автор переходит уже к земледельческому коммунизму. Но и в характеристике последнего много спорного. Автор

плохо различает старинное ручное (мотыжное) земледелие от характерного для европейского и передне-азиатского круга культуры плугового земледелия. Между тем это различие имеет существенное значение: общественные формы организации труда встречаются, главным образом, в связи с некоторыми развитыми видами мотыжного земледелия, в то время как появление плуга оказывает разлагающее влияние на эти формы.

Более детальный разбор ряда весьма ответственных утверждений автора потребовал бы большой статьи, поэтому ограничимся лишь указанием еще на одно особенно пикантное заявление автора. На стр. 36 проф. Рожицын пускается в филологическое исследование происхождения слова „собственность". „Слово собственность равняется слову „сообщественность", то, чем пользуются сообща". Ну, чем хуже сия глосиология харьковского профессора старых домыслов блаженной памяти Тредьяковского.

Н. Попов.

Изложение учения Сен-Симона (1828—1829). Из библиотеки „Предшественников современного социализма" под общей редакцией В. П. Волгина. Перевод с франц. М. Е. Ландау. С предисловием и примечаниями В. П. Волгина. Гос. Изд. 1923. М. стр. XXIII + 332.

Наконец-то появились в русском переводе эта классическая работа по истории до-марксовского социализма, которая во Франции вышла в свет почти одновременно, с трудом Ф. Буонаротти о Бабефе как бы символизируя этим два полюса и два источника всего новейшего социализма; его народно-пролетарский характер, с идеей бунта и революционной диктатуры во имя равенства,—с одной стороны, и интеллигентскую идею планомерной и иерархической организации,—с другой.

„Изложение учения Сен-Симона" явилось литературной сводкой публичных лекций, которые читались ближайшими учениками Сен-Симона в 1828—1829 г.г. и в которых они, исходя из философии истории Сен-Симона, впервые придавали этому учению о п р е д е л е н н о с о ц и а л и с т и ч е с к и й х а р а к т е р, резко отличающий „сен-симонизм" от взглядов Сен-Симона в собственном смысле слова. Этот типичный интеллигентский мирный социализм, не встретивший почти в свое время отклика в рабочих массах, тем не менее многими частями своей теоретической системы вошел ценным вкладом в дальнейшее развитие социализма, в частности, марксизма, после чего, однако, был основательно забыт.

Наоборот, история „заговора равных" и революционное учение Бабёфа и бабувистов, изложенное соратником Бабёфа — Буонарроти, попав в среду французских рабочих в конце реставрации и начале июльской монархии, сыграло огромную роль в создании революционного, боевого, пролетарского коммунизма, и притом не только во Франции, где под непосредственным влиянием Буонароти создались тайные коммунистические кружки рабочих и вырабатывалось коммунистическое мировоззрение Бланки, но и в Германии — через Вейтлинга—и в Англии, в некоторых группах чартистов. А творческая переработка идей сен-симонизма и бабувизма вошла составной частью и в революционный марксизм.

С этой точки зрения вполне понятно, что вышедшая в русском переводе книга заполняет важный пробел в имеющейся у нас литературе по истории социализма и послужит драгоценным пособием для нашей учащейся молодежи. В семнадцати лекциях „Изложения учения Сен-Симона" (они представляют лишь п е р в у ю, наиболее интересную и жизненную часть французского оригинала), снабженных интересным и содержательным предисловием и примечаниями В. П. Волгина, читатель найдет достаточно полное

представление о сен-симонизме. Книгу же Буонарроти, мы еще не имеем на русском языке в достойном великого утописта виде. А нужда в ней огромная.

Перевод книги вполне удовлетворителен.

Б. Горев.

А. К. Дживелегов. „Революционная армия и ее вожди". Изд. „Книга" Москва, 1923 г., стр. 220.

Под „Великой Французской Революцией" мы понимаем не только национальное событие. Это была социальная революция мирового значения. Центром ее была Франция. „Кто изучил и видел только Францию, тот, скажу смело, писал отец научного исследования Революции, Токвиль, никогда ничего не поймет во Французской Революции". Вот почему мы не можем не согласиться с А. Дживелеговым: „История революционных войн является одной из самых увлекательных и самых значительных страниц мировой истории. Она показывает на какие усилия способен дух народа, одушевленного любовью к свободе, и какие грандиозные результаты могут быть достигнуты национальным подъемом, под которым прочный фундамент счастливо завершенной социальной революции". К сожалению, на русском языке нет работы, посвященной великой эпопее, доступной широким массам. Восьмитомный А. Сорель и старый Зибель недоступны массовому читателю. Краткое изложение А. Сореля, Богдановича, скучно и, несмотря на рекоменданцию книги Кареевым, малоценно. В общих руководствах и исследованиях о Французской Революции, марксистских или полумарксистских, европейской истории Революции уделено лишь частичное внимание. При этом многотомный Ж. Жорес (на французском языке), как и Кунов—книги лишь для хорошо подготовленной аудитории. Мы не говорим уже о специально военной истории Революции.

А. Дживелегов пытается удовлетворить потребность в популярной книге, при том в весьма художественной форме. Поэтому его книга, как опыт, интересна и подлежит внимательному разбору.

Автор не предполагает дать систематический очерк истории революционных войн, он хочет лишь дать очерк „процесса создания народной армии". Ее судьба, как и судьба ее вождей, вот что интересует А. Дживелегова. Но вместе с тем, автор не предполагает дать специально-военного исследования, его намерения шире. „Роль армии в истории Французской Революции,— пишет А. Дживелегов,—огромна. Без армии, без ее оборонительной и наступательной мощи, революция осталась бы чисто местным, исключительно французским, явлением. Армия дала ей мировой размах"... Итак, армия покрывает все остальное, она определяет мировое значение Революции. Но армия создана была ее вождями. Правда, „сила Французской революционной армии была результатом внутреннего процесса, процесса освобождения крестьянства и наделение его землею... она вытекала из необходимости защищать приобретения революции". Дживелегов считает это само собою разумеющимся, но именно поэтому он этому фактору уделяет очень мало внимания и в результате „аксиома" становится „теоремой". Он в ходе изложения превращает армию в механизм, развивающийся по внутренним, ему присущим, законам, а вожди ее для него — гении, воля которых определяет судьбу общественного процесса. Нам кажется, что причина ошибок автора в неправильной постановке самого вопроса. Конечно, армия революционной Франции объект захватывающего интереса для самостоятельного научного исследования, но при условии не расширять задачи и под „армией" не понимать всей революции в ее мировом значении. При этом не забудем, что А. Дживелегов

совсем не уделяет внимания внутреннему состоянию тех стран (даже их армиям), которые шли походом на Францию. Таковы основные, если угодно, методологические ошибки работы. Мы, конечно, не могли у буржуазного ученого найти более правильной постановки вопроса. Но поражает одно: особая „беспристрастность" историка. На шестом году существования революционной России „историк" умудрился написать книгу о титанической армии Франции на рубеже XIX в. и не упомянуть ни с л о в о м о геройской Красной армии. При такой „объективности" работа А. Дживелегова становится особенно интересной, тем более, что автор, как мы это увидим в дальнейшем, не отказывается от политических советов.

Прежде всего, как создавалась революционная армия? Она сложилась из линейных войск и отрядов волонтеров. Первый тезис автора: „в общем даже перед революцией французская армия едва ли уступала двум старым своим соперницам—австрийской и прусской".

Это не верно. По Сорелю, распад французской армии, начавшийся еще в связи с семилетней войной, не приостановился и при Людовике XVI, несмотря на некоторые явно организационные реформы. Вот почему так быстро распалась эта армия с революцией. Революционная армия строилась помимо и благодаря разрушению линейных войск. Это утверждает и такой специалист, как Дельбрук. Он пишет: „От военного авторитета после семилетней войны ничего не осталось... Разложился и офицерский корпус". Революция на место наемной армии создала народную армию. А. Дживелегов отрицает это, вот почему так тенденциозно он изображает деятельность якобинцев в армии. Они „разлагали армию",—пишет Дживелегов. Эти утверждения нам знакомы. Но странно тогда почему во вновь созданной революционной армии именно линейные части были наиболее трусливы и наболее нестойки пред опасностью. На стр. 30 мы читаем: „Кто был более подвержен панике—волонтеры или регулярные полки?... В конце-концов, повидимому, главная вина падает на кавалерийские части, т.-е. на линейную конницу"... Но столь же неосновательно и второе утверждение А. Дживелегова: армия побеждала и была сильна тогда, когда она была изолирована от политики. Когда армия стала орудием политики, она создала диктатуру Бонапарта. Слову „политика" автор придает специфически-обывательский смысл. Французская армия побеждала своих многочисленных врагов силою своего революционного энтузиазма, но моменты, когда энтузиазм достигал своего кульминационного пункта совпадали всегда с особой, усугубленной „политичностью" армии. В сентябре и ноябре 1792 г., когда в битве при Вальми и Жемаппе, по словам Гёте, началась новая эра в истории человечества, волонтеры побеждали „с политикой" или „без политики?". Не забудем, что победы при Вальми и Жемаппе были после „сентябрьских дней" и до казни короля (21 января 1793 г.). Вся эпопея революционных войн до измены Дюмурье протекала исключительно под знаменем политики. Борьба между жирондистской и монтаньярской программой войны вовлекала армию в политику. И, когда генерал Кюстин в воззвании к жителям Вормса писал: „мир хижинам, война дворцам", он формулировал программу революционной политики. Жирондисты тоже мечтали сделать армию орудием своей политики, но только против революции. Надо ли много говорить о политике революционной армии в 1793 и 1794 г.г. А. Дживелегов сам довольно живо рассказывает нам о значении якобинской агитации в армии, о роли газет Марата и Эберта. Армия революционной Франции была частью страны, то был вооруженный народ. Но до тех пор пока внутри Франции развертывающаяся классовая борьба еще не разрешила и не закрепила завоеваний революции, до тех пор, пока события шли „по восходящей линии" армия была в подчинении и зависимости от страны, при „нисходящей линии" Революции, армия стала решающей силой. Но так же, как Дживелегов, благодаря своей буржуазной ограниченности, не может понять необходимости распада старой армии

для строительства новой, так же он не понимает и причин, почему в эпоху Директории „война стала бесконечной. Солдаты превратились в профессионалов". Он готов даже объяснить это тем, что „термидорианцы и в Конвенте и в Директории были карьеристами и собственные интересы ставили выше родины". А. Дживелегов пытается также понять, почему так часто сменялась победа поражениями в эпоху Революции, но и здесь он беспомощен. Правда, он знает, что победы 1794 г.—результат заинтересованности крестьян в аграрной реформе Конвента, но почему весной 1793 г. армия вынуждена была отдать врагу, плоды своих славных побед? Измена Дюмурье — вот причина, —отвечает автор. Но это значит не учесть ни изменения внутри европейских народов, побежденных армией, ни недовольства французского народа тем, что Конвент до 31 мая—2 июня, как и раньше Законодательное Собрание, хочет сохранить выгоды революции лишь для собственников [1]).

Перейдем теперь к разбору второй части книги, где автор дает характеристики и биографии вождей, где он рисует армию, этого гиганта истории. Безусловно, характеристики эти достаточно ярки и художественны. К сожалению, жизнь армии в целом занимает гораздо меньшее место в книге, чем жизнь и судьба ее вождей. Карно, Гош, Дезе, Журдан, Клебер, Моро, Бонапарт — одно имя блестящее другого. Они все выходцы из народа, они поднялись на вершину славы благодаря революции. „При старом порядке Гош никогда не перешел бы чина сержанта, а Массена навсегда остался бы капралом. Не удивительно, что все эти люди любили революцию и любовь к революции донесли те, которые дожили до седых волос". Но чарующе прекрасна жизнь этих генералов, людей народа, потому что в каждом из них частица могучей воли революционного коллектива. Это не всегда понимает А. Дживелегов. Он часто дает весьма вульгарное объяснение роли „личности в истории". Автор характеризует личность Карно, „организатора побед", он пишет: „Карно создал те 14 армий, которые отбили врага повсюду... Когда он начинал—отсутствие дисциплины, дезертирство, плохое снабжение, недостатки организаций постоянно ощущали ряды войск. Когда он кончил, армия представляла крепко спаянное целое, сильное организацией и непобедимое по духу патриотизма"... Гений Карно, бесспорно, велик и, вряд ли, все огромное дело создания рев. армии следует приписать исключительно ему одному. Но мы готовы признать здесь и самостоятельное значение гения Карно. Однако, Дживелегов этим не удовлетворяется. Он пишет далее: „Сидя в своем кабинете, Карно задумал и провел реформу всего военного дела, всего старого военного искусства... Он нашел и настоящую тактику и новую стратегию". Мы не можем здесь подробно остановиться на вопросе о происхождении новой революционной тактики. Приписывать ее Карно ил и „темпераменту" французов, как автор это делает в другом месте набсурдно Не говоря уже о роли Гоша и других генералов в формулировке принципов новой тактики, само их происхождение, как отмечает Дельбрук и другие, вытекало из непосредственного опыта революционных битв. Новая тактика стала применяться на поле сражений прежде чем Карно „в своем кабинете" „нашел" ее.

Столь же обоснованно и серьезно А. Дживелегов устанавливает причины возвышения Бонапарта и роль армии в перевороте 18-го брюмера. После работ А. Сореля и А. Ванделя можно было и в этом вопросе от историка ожидать чего-либо более ценного.

Книга А. Дживелегова—единственная на русском языке научно-популярная работа о революционных войнах Франции. Уже по одному этому она заслуживает внимания. Но буржуазный историк, не желающий ни одним словом вспомнить Красную армию, конечно, довольно поверхностно анализирует и судьбы революционных армий Франции. Мощная эпопея на грани XIX века ждет своего историка, но он выйдет из марксистских рядов. Только на опыте нашей Красной армии этот историк сможет уяснить себе судьбы ее предшественницы.

Ц. Фридленд.

[1]) Необходимо отметить и некоторые фактические неточности в книге (стр. 159): восстания в жерминале и прериале 1795 г. отнесены почему то к эпохе Директории, а не Конвента.

С. Т. Конобеевский. „Строение вещества". Гос. Изд. 1922 г., 204 стр.

Книга С. Т. Конобеевского представляет вполне популярное, но вместе с тем достаточно строгое изложение возникшего за последние годы учения о строении материи. Несмотря на свою молодость, этот новый отдел физики, благодаря ряду блестящих исследований последнего времени, превратился в весьма обширную и стройную теорию.

Влияние этой теоря распространилось далеко за пределы физики, захватив в первую очередь химию, для которой впервые появилась возможность об'яснения хмических свойств материи. В книге С. Т. Конобеевского мы имеем попытку систематического изложения этого учения, начиная с физико-химических основ его и кончая строением атомного ядра.

Для этого автору пришлось начать с изложения основных химических законов и периодической системы элементов Менделеева. Изложив затем основы молекулярной кинетической теории материи, автор знакомит читателя с атомным строением электричества и той замечательной связью между электричеством и материей, открытие которой, при изучении электрического разряда в разреженных горах и радиактивности, явилось предвестником электрической теории материи.

На этом фундаменте автор излагаст в дальнейшем шаг за шагом развитие теории строения атома, начиная с внешних электронных орбит, определяющих химические свойства и оптический спектр вещества, и оканчивая строением ядра, открывающимся перед исследователем в превращениях радиоактивных элементов. Соединить при изложении столь сложного вопроса популярность с научной строгостью является делом весьма трудным. Не удивительно поэтому, что в книге, несмотря на все ее достоинства, есть и некоторые недостатки. К таким слабым местам относятся, например, определение массы (стр. 6), атомного веса (стр. 12), уразумение которого без закона Авогадро-Жерара, в книге отсутствующего, вряд ли возможно.

Странное впечатление производит также упоминание имени Эренгафта (доказывающего, как известно, существование субэлектронов), а не Милликэна — при описании опытов, служащих для непосредственного измерения заряда электрона.

Издана книга в общем удовлетворительно, за исключением некоторых досадных опечаток, вроде—уменьшенной в тысячу раз против истины скорости электронов в катодных трубках и в β-лучах радия.

Несмотря, однако, на упомянутые недостатки, книга, по богатству и исчерпывающей полноте обработанного автором материала и полной доступности изложения, является весьма ценным вкладом в нашу популярно-научную литературу.

К. Теодорчик.

Издатель—К-вто „*Материалист*". Отв. редактор *В. Тэр.*